

Елена Сергеевна Соколова



НАЧАЛО ЖИЗНИ

Москва 1955

"Начало жизни" — первая книга трилогии "Маша Лоза". Формирование характера советской женщины — детство, юность, зрелость главной героини Маши Лозы — такова сюжетная канва трилогии. Двадцатые, тридцатые годы, годы Великой Отечественной войны — таков хронологический охват ее. Дружба, любовь, семья, чувства интернациональной солидарности советского человека, борьба с фашизмом — это далеко не все проблемы, которые затрагивает Е. П. Серебровская в своем произведении.

- [Елена Павловна Серебровская](#)
 - - [Часть первая](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)

- [Глава шестнадцатая](#)
- [Глава семнадцатая](#)
- [Глава восемнадцатая](#)
- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)
- [Глава двадцать вторая](#)

- [notes](#)
 - [1](#)
-

Елена Павловна Серебровская

Начало жизни

*Счастли́в, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...*

Ф. Тютчев

*...Ты знаешь меня, знаешь, как я жизнь люблю, и что всегда-всегда
в сердце моем столько любви, что вечно мне слышна как бы музыка
полей и леса, и неба голубого...*

Феликс Дзержинский, письмо к сестре.

Младенец... Первый поток воздуха, наполнившего крошечные легкие, первый глоток сладкого материнского молока даются ему не легко. Но пусть привыкает, он — человек, и вся жизнь его будет состоять из усилий, из напряжений мышц и нервов — усилий, вознаграждающих сладкой усталостью, спокойным сознанием не зря проживаемой жизни.

Вот он лежит, крошечный, на сильных руках отца, лежит и еще не знает, что бледное, нежное лицо, вдавленное в подушку постели, — это лицо его матери. Мукам подверг он, появляясь на свет, самое дорогое, первое близкое ему существо — мать, но нет на ее лице ни обиды, ни горечи. Есть гордость, есть неисчерпаемая нежность, есть готовность вынести всё, чтобы только жил он, новый побег на стволе могучего раскидистого дерева — рода людского.

Двое взрослых людей смотрят на маленького незнакомца, изучая его добрыми родительскими глазами. Не чудо ли это?

Младенец молчит, но и молча он отвечает на этот вопрос. Это маленькое бессловесное существо, лежащее на руках отца, — женщина, будущая мать других детей. Вот оно потянуло вверх свои крошечные, почти не управляемые руки. Придет время — и руки эти сомкнутся на загорелой крепкой шее веселого сильного парня, и природа вознаградит их за смелость, за нежность и силу.

В родильном приюте легко перепутать сына кухарки и домовладелицы. Но в первых же бумагах, выписанных новому человеку, будет черным по белому обозначено то, что поначалу определит разные жизненные пути одинаковых с виду малышей: родители, сословие...

А дальше?

На просторном, заросшем бурьяном дворе бегают дети. Что знают они о широких шагах истории! А она сейчас в стремительном движении, она — на марше, только пыль от тяжелых сапог, только дробь барабана, да на рассвете — отрочески-звонкая трель трубача, выводящего зорю!

Мимо деревянного забора, за которым играет гурьба детей, идут солдаты. Сегодня одни, с красными флагами, на которых написано «Владыкой мира будет труд», а завтра — другие. Их невозможно понять, они говорят на непонятном, каркающем языке, и дети с испугом рассматривают их сквозь щели старого забора.

Проходит срок — и тою же улицей опять топают другие солдаты. Их ведут лощеные офицеры в новеньких мундирах с какими-то овальными бляхами на высоко вздернутых передках фуражек. Но вот и от них уже нет следа!

Пронесются конники в запыленных буденновках, похожие в своих суконных шлемах на былинных богатырей, и снова идут солдаты. Те, что пели когда-то песни и несли над головами красные кумачовые платки. «Дай, девчина, напиток!» — и босоногая маленькая девчонка пулей летит домой, чтобы сейчас же вынести на крыльцо большую медную кружку воды, — ох, и тяжелая кружка, наверно, с полведра! А солдат выпивает ее одним залпом, оттирает губы рукой и бежит догонять товарищей.

Плохо ты смотришь, девочка! Не запомнила ни одного лица, — а ведь это прошли герои. Ты будешь по книжкам изучать их жизнь. Один из них станет управлять городом, в котором ты живешь. Военная слава другого прогремит от Черного моря до Балтики, и портреты его вывешат во всех рабочих клубах. А третий... Третий начнет свою мирную жизнь чекистом, а кончит поэтом, и ты будешь листать его книги, повторяя волнующие душу слова.

А пока — гремят песни, над маленьким городом рвутся снаряды, у соседей убило отца, чей-то мальчик попал под поезд, сестренка умерла от тифа... Не в стороне, не мимо шагает история,

она задевает твою жизнь, пересекая ее во всех направлениях, управляя ею. Она лепит из тебя человека, как ты сама лепишь из комка, серой глины гусей-лебедей. Не мало пинков и шлепков получит рыхлая глина, пока станет тем, чем ей положено стать. Как же ты, жизнь, интересна и хороша! Как сладко и радостно становиться из несмысленныша человеком, узнавать, узнавать, узнавать и, наконец, творить, строить вот этими, своими руками!

Глава первая

Всё начиналось где-то на руках у мамы, в мягком белом шерстяном платке. Хорошо сидеть на этой сильной руке, крепко обхватив маму за шею. Лицом уткнуться в мамину грудь, такую добрую, теплую, свою. Ножки обернуты шерстяным платком. Там, где-то далеко внизу, на земле — мокрые весенние лужи. Люди должны ходить по этим холодным лужам, промачивать ноги. А Маше, то ли дело, хорошо у мамы, и ножки сухие, и тепло. Думать о том, что за нее по холодным лужам ступает мама, девочка еще не умеет. Пока она чувствует только свои беды и радости, как маленький зверек. Мамины руки и теплый платок — больше ей ничего не надо. Пройдет время, мир станет больше, и она научится беспокоиться о других.

В огромной, комнате живет Маша. Посадят тебя на пол — и даже страшновато делается. Видно далеко-далеко, и под папин стол, и под самодельный диван и ящиков и досок. Сверху с дивана свешивается зеленое плюшевое покрывало, а внизу — как в темном лесу: глубоко и загадочно. А вдруг оттуда выскочит волк?

На чисто вымытом красном полу становится особенно уютно, когда няня ставит на пол чугунок с картофелем. Сначала она где-то в кухне сцеживает горячую воду, потом дает чугунку немного остыть, обтирает его тряпкой, чтобы не пачкал, и ставит на пол. А рядом на полу ставится деревянная резная солонка и пустая миска для козуры.

Картофель в мундире! Что может быть слаще и вкуснее горячего картофеля в мундире? Маша сидит на полу, раскинув ножки, а посреди стоит чугунок. Против Маши сидит сестричка Ниночка. Она еще совсем глупенькая и кожуру с картофеля снимать не умеет. Это делает няня, которая то присядет на минуту рядом, то подымет и торопливо пойдет на кухню посмотреть, не сбежало ли молоко.

Маша двигает чугунок поближе к себе, и ее ножки в заштопанных чулках крепко обнимают его теплые бока. Она берет картофелину, осторожно отдирает шкурку там, где мундир лопнул, обнажив сахарно-белую трещину. Не сразу научишься снимать эти мундиры. Ниночка пробует, но в ее руках белая крахмальная масса так и разваливается. Маша справляется, может, это уже сотая картошка в ее жизни. Потом макает снежно-белую картофелину в солонку и откусывает. Нет, в жизни не мало разных удовольствий, и картошка в мундире — не из последних.

— Ты опять перемазала чулки сажей, вцепилась в чугунок руками и ногами. Ты уже большая, — сердито говорит няня.

В комнате стоит буфет. Это не буфет, а целый дом — Маша могла бы войти в него, не нагибаясь, если бы позволили. Это красивый дубовый буфет с гроздьями деревянной дичи на вырезных верхних дверцах. Буфету тесно в этой комнате, он почти упирается в потолок. Он недотрога, мама не разрешает близко подходить к нему, опасаясь, что дети отломают деревянные украшения. Буфет не видит вокруг подходящего для себя общества: в комнате такая плохая, простенькая, а то и самодельная мебель. Дубовой дичи на дверцах буфета сама судьба предназначила переглядываться с настоящей жареной, остро пахнущей дичью на круглом богатом столе. Вместо этого деревянные утки и рябчики видят на маленьком столике, накрытом зеленой клетчатой клеенкой, борщ, картофель в разных видах да котлеты, в которых больше хлеба, чем мяса. А по воскресеньям — оладьи, жаренные на постном масле.

Мама бережет этот дурацкий буфет неизвестно почему. «Вот вернется Магдалина Осиповна, спросит свою вещь» — объясняет она иногда, но понять ее невозможно. Чтобы отомстить буфету за все запреты и укоры, Маша отломала, наконец, кусок деревянного листика с дверцы — мама не знает об этом: листик был хорошо виден только снизу, а мама высокая.

Что же дальше, за комнатой? Две двери, почти рядом, ведут одна в кухню, другая в темную каморку. Из каморки сделана прекрасная спальня: там стоит большая кровать, покрытая пикейным одеялом, сундук с пожитками и комод. На комод — зеркало, всегда чисто вытертое. Правда, смотреться в него днем невозможно, окно каморки выходит на темную галерею, — надо ждать вечера, когда мама зажжет керосиновую лампу.

Если днем войдешь в эту спальню, непривычный глаз сразу; останавливается на странном темном предмете, висящем над постелью. Постоишь немного, привыкнешь к темноте и рассмотришь: это подкова, через отверстия которой протянута розовая ленточка. Она висит для счастья, как объяснили Маше. Как подкова приносит счастье — никто не сказал. Они сами не знают этого, взрослые!

На кухне спит няня. Из кухни можно выйти, в маленькую застекленную галерейку — переднюю. Здесь стоят какие-то пыльные корзины, раскладная постель для гостей, у стены прислонилось деревянное корыто. А в углу поставлены папины удочки, целая охапка удочек с разноцветными поплавками. С удочками рядом стоит сачок, — им папа ловит для своих студентов водяных жуков, головастиков и других тварей.

На подоконнике — папины стеклянные банки, которые нельзя трогать. Удочки тоже нельзя трогать, потому. Что можно пойматься на крючок вместо рыбы.

Из галерейки можно выйти во двор. И если выйдешь, то увидишь по стене пять таких же точно дверей, крашенных в желтую краску. Маша сначала даже путала: побежит со двора домой, а попадет к соседям. Потом ее научили смотреть вверх, где на двери белой краской был написан номер два.

Двор... Но разве легко рассказать о дворе! Мало сказать — он был велик. Он был сказочен: он менял свой облик очень часто, и никто не мог объяснить Маше, отчего происходят эти перемены.

Сначала во дворе был палисадник с розами и дорожками, посыпанными песком. Владелец дома, занимавший весь второй этаж, знал чем привлечь жильцов. Жильцы выпускали детей в садик, и детям не хотелось уходить оттуда. Кстати, ворота на улицу всегда были закрыты, а на калитке была такая тяжелая щеколда, что не всякий мог ее поднять. Кусты роз и сирени заслоняли заднюю часть двора: дровяные сарайчики и отхожие места, хозяйский большой сарай, загроможденный хламом.

Среди роз и кустарников росло одно дерево: райская яблоня — китайка. Когда хозяин тряс ее осенью, с дерева падали маленькие, словно игрушечные, золотистые яблочки. Они сыпались дождем, и хозяйской прислуге то и дело попадало то по спине, то по голове, пока она собирала яблоки в корзины. А кругом стояли ребятишки со всего двора и пускали слюну. Тронуть никто ничего не смел: сам хозяин сидел рядом на лавочке, наблюдая за сбором яблок. Когда все до единого яблочки были струшены с дерева и собраны в корзины, хозяин отбирал десятка два самых битых и раздавал их детям.

На другой год во дворе всё было иначе. Хозяин почему-то перестал следить за садиком, не поливал розы, и они посохли. Но яблочки уродились хорошо. Однако сбор урожая прошел совсем иначе, чем прежде. Когда к дереву подошел хозяин, его окружили женщины из соседних квартир и из флигеля, стоявшего в глубине двора. Они что-то кричали, спорили с ним, а он не успевал отвечать, криво усмехался в короткую бородку и вдруг предложил:

— Пропади ты пропадом! Делите на всё общество, коли так!

И тогда женщины стали трясти яблоню, а потом разделили яблочки на десять одинаковых куч, и прислуга хозяина забрала на его долю одну неполную корзинку. Машина няня тоже вынесла свою кошёлку, и женщины сыпали ей, сколько полагалось. Когда вечером мама спросила, откуда яблоки, няня ответила ей попросту:

— Теперь власть не ихняя. На всех разделили. Не одному Семену Трофимовичу варенье из райских яблок варить.

— Как-то не совсем удобно. Мы интеллигентные люди...

— Ничего. Интеллигентным тоже надо. Яблочки спелые.

На другой день утром Маша вышла во двор и обомлела: яблони не было. Торчал из земли пенек со свежим белым срезом, да ветер разносил по палисаднику зеленые яблоневого листья. Возле пенька стояла соседка и чуть не плакала, повторяя:

— Буржуй проклятый...

В хозяйской поленнице торчали свежие яблоневые чурбашки.

И вдруг в городе появились конники в высоких барашковых шапках, снова по ночам слышались стрельба, крики.

А со двором стало еще хуже. Хозяин словно возненавидел зеленый палисадник с двумя деревянными лавочками посреди. Однажды во двор пригнали огромное стадо быков. Маша смотрела на них сквозь окна галерейки — выйти было страшно. Она никогда не видела так много огромных животных. Большие, как слоны, быки заполнили весь двор, они перемяли клумбы, сломали кусты сирени и одну скамейку. Желтый песок смешался с навозом, весь двор был вскопан десятками крепких копыт. Хозяин, уподобляясь своим быкам, злобно растоптал сорванный им с ворот красный флаг. А потом он повеселел, видно, заключил какую-то выгодную сделку: вечером во двор пришли двое военных, посидели у хозяина на квартире, рассчитались и вышли, пошатываясь и хохоча. С верха их серых каракулевых шапок свисали красные суконные треугольные колпаки.

Хозяин угодливо посмеивался, уминая пачки денег в кармане. Потом открыл ворота. Стадо погнали со двора на бойню. Хозяин закрыл ворота и оглянулся на свой двор: от палисадника ничего не осталось, только среди навоза и грязи торчала одна уцелевшая лавочка. Теперь ничто не закрывало серые некрашенные дверцы сараев и отхожих мест. Двор стал огромным, голым и неудобным.

Маша смотрела на хозяина, приоткрыв дверь, и не видела на его красном лице огорчения. Напротив, он был доволен. Почему?

Нет, многое всё-таки непонятно и даже страшно. То ли дело дома, в теплой чистой комнате, в родной семье!

Мама пришла домой, мама! Молодая, веселая, красивая. У Маши есть книжка, которую старшие иногда читают ей, сказка «Василиса прекрасная». На обложке нарисована необыкновенная женщина: темные косы вьются, синие глаза светятся, она взмахивает рукой, а из просторного шелкового рукава вылетают птицы гуси-лебеди, целая стая.

На кого же она похожа? Маша спросила однажды мать напрямик: «Мама, ты — Василиса прекрасная?» Мама рассмеялась и стала целовать Машу в коротенький нос, и в виски, и в щеки. Потом сказала: «Нет, я не Василиса, я Анна Васильевна, обыкновенная учительница городской школы». Маша как будто поверила, но когда за новогодним обедом был подан жареный гусь, Маша зорко присматривалась, куда мама положит косточки, не в рукав ли? Хотелось не упустить тот миг, когда она выйдет во двор, взмахнет руками и выпустит из рукава в небо стаю больших белых птиц.

Мама пришла с высших женских курсов, няня срочно разогревает ей обед. Дома всё благополучно, девочки набегались, поужинали и легли. Нина уже спит, а Маша рассматривает

маму. Мама долго еще не будет отдыхать, некогда ей. Стучит швейная машинка, голубой ситчик скользит по черной глади, открывая золотые буквы «Зингер», съезжая вниз из-под прыгающей иглы.

Быстрая мама, всё успевает, со всем справляется. Неужели она никогда не устает? Шьет себе, молчит. Что-нибудь, наверно, думает. Ну, пусть себе думает...

Маша поворачивается на правый бок и смежает ресницы. Ей снится берег речки и на нем мама — Василиса прекрасная. Из ее рукавов вылетают белые птицы, хлопая сильными крыльями по синим волнам воздушного моря.

Машинка стучит, а дом засыпает.

Всё! Наконец-то и этой двадцатипятилетней женщине можно расстегнуть все крючки и пуговицы, сбросить одежды, забраться под теплое одеяло и блаженно потянуться, — ох, и находилась за день! Он еще за столом, милый молодой муж, никак не расстанется с книгой. Нескладный, долговязый, с крупным носом и маленькими стриженными усиками, с косым пробором в густых волосах. Всегда он опускает крупную прядь на лоб — прячет родинку. Он и весь в родинках. И губы у него крупные, добрые, ну ничего нет такого, что обещало бы в нем будущего ученого. В наружности нет, зато есть в уме, в наклонностях. Она-то это знает, его жена, недаром полюбила его. Она поверила в него сразу, и за это ли, или за что иное привязался он к ней необыкновенно. «Анечка, Анюта, Галочка, Нюсенька» — как только не называет он ее.

Вот он, наконец, оторвался от книги и улегся спать. Сейчас расскажет ей о своем профессоре, о новой коллекции растений, о том, что вычитал у Дарвина. А она расскажет о митинге, на который попала перед началом занятий на курсах.

На улице слышатся выстрелы. Но это не под окном, а в стороне, наверно, в переулке.

— Революция... — говорит он ей в темноте. — Мечтали мы все о ней. Теперь у нас парламент будет, как у европейцев.

— Нет, питерский оратор на митинге говорил — не кончилась революция. Теперь главный враг — капитал... Он говорил, что рано еще радоваться и успокаиваться.

— Питерский оратор... Анечка, а задумывалась ты, какое у него образование? Наверное, приходскую школу окончил, в лучшем случае — реальное. Что может он знать о судьбах России!

— Мысли у него ясные были и простые.

— Вырасти сначала надо, темноту нашу вековую преодолеть, грамоте обучить народ. Парламент и дает такие возможности. Ты думаешь, буржуазные свободы — пустяк? Нет, они стоят кое-чего. Вчера я прочитал в газете «Пролетарий» объявление: «Товарищей, могущих обслужить партию в качестве агитаторов и пропагандистов, просят собраться в медицинский корпус, Сумская, 41». Могущих обслужить... Смотря, как обслуживать. Что пропагандировать-то будут? Нет у них образованных людей, вот что!

— А почему бы честным образованным людям не пойти к ним? В пятом году ты же бросил Московский университет, когда твоего профессора уволили? За ним следом поехал доучиваться в провинцию.

— Я не агитатор по призванию, у меня склад исследователя, научного работника. Да и не согласен я с анархией. Вот стреляют: кто? в кого? Перестреляют друг друга в темноте-то. Ты знаешь, я охотник: птицу и зверя бью, и рука не дрожит. Но человека не убил бы, тут я толстовец. Все меры хороши, но не террор, не убийство. А они, эти ораторы, гранатами увешаны, пистолеты на боку.

— Так ведь жизнь заставила... Ты чего-то важного не понимаешь, Боря: не убил бы... А если б сейчас на нас, на девочек наших бандиты напали с оружием... И ты не убил бы их? Не выстрелил?

— Ну перестань, Аня, ты устала и тебе мерещатся кошмары. Спи, фантазерка.

И он нежно целует ее в затылок, щекоча своими коротенькими усами. А ей обидно: добряк нашелся! Неужели все люди, которых она недавно видела на митинге, все — глупее его? Может, он станет ученым, — конечно, станет! — но в вопросах политики он наивен, как первоклассник. Почему? По добродушию своему безмерному? Или родители так наставляли?

Разобраться в этом не легко, особенно к концу суток, когда голова устала и глаза закрываются сами собой. И не успев ни в чем убедить мужа, Анна Васильевна засыпает, согревая его теплым дыханием.

Глава вторая

Отчего так хочется есть?

В углу двора, куда прежде никто не заходил, теперь собрались ребята. Этот угол порос бурьяном, но он уютней бывшего сада, вытоптанного быками.

— А бывают сладкие корни, — говорит Славка, показывая розоватый корень болотного растения. Он откусывает кусочек корня, потом дает куснуть другим.

— Еще можно есть калачики! — восклицает маленькая Валька. Все устремляются к забору, под которым растут «калачики», обрывают круглые зеленые семена и едят.

— Ребята, пошли причащаться? — говорит вдруг Славка, вспомнив что-то.

— Куда?

— А в церковь. Там маленько булки дают и попить.

Босоногая орава встает. Церковь отсюда недалеко, дойти недолго.

В церкви прохладно и темновато. Ноги ступают по холодному камню. Батюшка что-то поет, потом к нему на сцену подымается тетка с мальчиком. Батюшка тихо бормочет и дает мальчику кусочек просвирки и глоток питья. Тетка уводит мальчика.

Мигнув ребятам, Славка первый подходит к батюшке. Батюшка спрашивает имя, дает ему булки и питья, и Славка, довольный, уходит, утирая губы. За ним идет Валька, потом еще двое малышей, потом Маша. Она слышит, как батюшка приглашает ее отведать тела и крови Христа, и ей делается страшно: почему тела и крови? Разве она людоедка? Но батюшка только пригрозился, он дает кусочек пресной булочки и глоток кислого питья.

Ребята вышли из церкви. Они довольны.

— Не худо, только маловато, — говорит Славка. — Причаститься еще разок, что ли?

Все опять направляются к батюшке, Славка становится в хвост ожидающих. Очередь снова доходит до него.

— Имя? — спрашивает батюшка. Славка повторяет свое имя, батюшка смотрит на него пристально и начинает говорить нечто вразумляющее.

В церкви возникает беспокойство. Какой-то пономарь подходит к ораве ребят:

— Марш отсюда, — говорит он шёпотом, — ишь, безобразники...

Гурьба бегом удирает от возмездия. Славка нагоняет всех.

— Пожалел дать, жадина, — говорит он. — Ну, ладно, завтра я всё равно приду причащаться. Пусть попробует не причастить.

Дети возвращаются на родной двор. Скучно здесь. И есть хочется. Пойти попрошайничать? Стыдно. А вот когда бродячие артисты по дворам ходят, они просят, и это ничего, не стыдно. Потому что они представляют спектакль и просят за свою работу.

— Будем представлять, — говорит Маша. — Будто свадьба. Я буду невеста, а Славка жених. Только надо две конфорки от самоваров.

— Зачем? — спрашивает Славка.

— Их на головы кладут, вместо корон, я видела.

— Я женихом не хочу.

Женихом назначается трехлетний Ленька, который безответен и на всё согласен. Кто-то приносит конфорки, Маша прикрепляет свой белый передничек вместо фаты. Она берет жениха за руку, и они начинают обходить все квартиры по очереди. Славка изображает священника и размахивает маленькой бутылкой на веревочке, словно кадилом, приговаривая:

— Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

В первой квартире никто на стук не выходит — жильцы куда-то уехали еще вчера. Вторую Маша благоразумно минует, — это ее квартира... И третью обходят, — там живет «жених», и его бабушка может рассердиться за такую игру. Зато в четвертой квартире им открывает добродушная жиличка в пестрой косынке на голове. Она смеется, глядя на представление, потом быстро забегает в комнату и дает по леденцу каждому из артистов.

Подбодренные артисты сосут леденцы и не торопятся. Потом они поправляют свои «короны» и идут дальше.

В хозяйскую дверь Маша стучится, предвкушая удовольствие. Хозяин — самый богатый в доме, он непременно даст что-нибудь.

У хозяина есть дочка Тамарка. Все платья у нее в оборочках, на голове повязан розовый шелковый бант. Тамарка всегда выходит во двор с куском в руках, обычно — с куском сдобной булки, из которой торчат рыжие изюмины. Мать не велит ей делиться, и Тамарка часами таскает повсюду замусоленный кусок булки, вызывая зависть дворовой детворы.

— Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! — начинает Славка.

На пороге — хозяйская мамаша, вздорная старуха, которая преследует ребят повсюду. Но Маша ее не боится, она смело входит в коридор, ведя за руку оробевшего «жениха». За столом сидят хозяин и Тамарка. Жена хозяина собирает к чаю, носит какие-то вазочки и чашки из комнаты на застекленную веранду.

— Мы представляем, — говорит Маша, улыбаясь.

Хозяин снисходительно посмеивается, но не двигается с места. Наверно, он не догадывается. Маша проходит перед ним раз и другой. Славка ждет в стороне. Но рука хозяина не тянется к сахарнице, чтобы дать детям что-нибудь.

— Мы уходим, — говорит Маша, теряя последнюю надежду.

— Всего хорошего, — отвечает им хозяин.

Под лестницей Маша снимает с головы конфорку. Ей почему-то стало жарко и неудобно в этом уборе.

— Незачем к такому ходить, — говорит Славка. — Разве ты не знаешь? Он буржуй. А буржуи даром ничего не дают. У них отнимать надо.

Как можно отнять что-нибудь у такого взрослого дядьки, Маша не знает. Но она тоже чувствует, что хозяин — хуже всех, живущих в доме.

Над желтыми дверьми с номерами, во втором этаже — застекленная галерея, в которой летом хозяин любит пить чай. Вот и сейчас семейка перешла туда. Хозяин, краснолицый и потный, его жена — похожая на румяный калач женщина в розовой прозрачной косынке на плечах, с высокой прической на голове и перстнями на пухлых пальцах, и Тамарка. Застекленные рамы вынуты, ветерок продувает, и всё-таки хозяевам жарко. На никак не может отдышаться круглый серебряный самовар. У них всё круглое, пузатое — и чашки, и сахарница, и чайник.

На головы детей вдруг падают тоненькие желтые корочки с лакированным красным краешком. Маша первая подымает с земли одну корочку. Сыр вкусно пахнет. Девочка нерешительно берет корочку в рот. Ее примеру следуют Ниночка и Ленька.

— Зачем ты кинул в о двор? — слышится ленивый голос хозяйской жены. — Только мусоришь.

— Интеллигенция подберет, хе-хе! — отвечает хозяин, посмотрев с балкона вниз.

Что такое интеллигенция? Маша впервые слышит это слово. «Интеллигенция подберет», а подобрала она, Маша, значит это она и есть? Надо будет спросить папу.

Ленька, подняв красную корочку, рассматривает ее сначала, а потом спрашивает Машу:

— Это что?

— Это сыр, я знаю, можно кушать, — отвечает Маша.

Скоро ни одной корочки не остается на земле. Дети всё съели.

Мамы целые дни нет дома, она работает в трех школах, дает частные уроки, а к концу месяца приносит пайки — мешочки с крупой и мукой. Сахар к чаю бывает очень редко. Что такое делается с едой, непонятно!

В воскресенье мама открыла сундук и стала доставать из него разную одежду, откладывая часть вещей в сторону. Потом няня сложила эти вещи в крепкий мешок.

— Плохого они не любят, — сказала она. — Слышно, за кукол хорошо дают.

Маша принесла из своего угла куклу Катю. Это была крупная, с грудного младенца, тряпичная кукла с хорошенькой фарфоровой головкой. Маша редко играла с ней — на такую куклу нужны были большие лоскуты для платьев, не то что на маленьких! Чаще Маша играла с маленькой затасканной куколкой, на которую можно было сшить платье из любого обрезка материи.

— Сменяй мне на булочку, — сказала она няне, отдавая куклу.

Мама заколебалась. Она знала, что за такую куклу можно получить не одну булочку. В то же время было жаль дочки. Но девочка отдала куклу добровольно, и мать не стала вмешиваться.

Няня вернулась через два дня. Она принесла мешок муки, большую бутылку постного масла и несколько печеных хлебцев. Для Маши и Нины прихватила десяток морковок.

— Твоя Катя нас неделю кормить будет, — сказала она Маше.

Маша и не знала, что у нее такая кукла, которая, словно взрослый человек, может кормить их целую неделю. Стало неможно стыдно, когда Маша вспомнила, с какой легкостью она отдала такую особенную куклу. «Каково ей там у новых хозяев?» — подумала она, а у няни спросила:

— Теперь моя кукла у кого?

— Теперь она у девочки чуть тебя помладше, на годик. Живет эта девочка в пятистенной избе, стоит у них чей-то горемычный рояль — играть-то не умеют, бренчат только. Стоит граммофон, тоже выменяли. Утром эта девочка пьет молочко и кушает пшеничный хлеб с медом и салом. У ее отца одних коров с десяток, чего ж не жить.

Маша задумалась. На минуту ей стало жаль куклы, но она поела пшеничного хлебца, вышла гулять во двор и забыла о Кате.

Невдалеке от дома, где живет Маша, стоит мост. Это мост через железную дорогу, по которой то и дело проезжают поезда. Разные бывают составы. Иногда из красных грузовых вагонов видны люди в серых шинелях. Один стоит, опершись о косяк широкой, до потолка, двери и дымит цыгаркой. Другой сидит возле на полу и ест что-то из манерки. Третий, рядом, спит на сене.

С железнодорожным мостом связано одно страшное воспоминание.

Вечерами, укладывая Машу спать, мать говорила: «Никуда не ходи, сиди во дворе. Сейчас всюду стреляют, опасно!» Маша засыпала, а утром забывала наказания матери и снова бежала к мосту над железнодорожной линией.

Она увидела людей, которые стреляют. Пошла к железной дороге вместе с Ленькой и

Славкой. По обе стороны моста стояли солдаты в серо-зеленых шинелях, в стальных касках, с винтовками в руках. Они внимательно рассматривали каждого проходящего.

Дети прошли мост и остановились: вчера шел дождь и на краю дороги, выходявшей уже за черту города, вылезли беловато-сиреневые головки грибов. Это были хорошие грибы, Маша знала их: когда-то она уже приносила грибы отсюда, и мама называла их шампиньонами.

— Грибы, смотрите! Давайте собирать, это хорошие! — сказала Маша мальчикам. Но они с сомнением качали головами.

— Поганки, — оказал Славка.

— Хорошие, у них только название трудное, — уверяла Маша, срывая грибы и складывая себе в подол платица. Грубый окрик заставил ее остановиться и поднять голову.

Кричал солдат. Он кричал ей на своем непонятном языке и махал рукой. Маша стояла, не понимая. Славка быстро взял ее за руку:

— Пошли отсюда!

Прежде чем Маша двинулась, солдат скинул винтовку с плеча. Он хотел показать бестолковым детям, что если они не уйдут подальше от моста, он будет стрелять.

Славка метнулся в сторону и махнул рукой Маше: бежим! И тогда все трое заковыляли мимо солдата через мост. Маша старалась покрепче держать в руке кончик подола своего платица, чтобы не растерять добычу. И так из-за этого солдата не пришлось собрать все грибы! Когда она проходила мост, один грибок выпал и покатился. Маша подняла его, забыв об угрозе, и только тогда пошла дальше. Грибы она отдала няне, а про солдат не рассказывала.

— Это немцы, — объяснил Маше Славка. — Иностранцы! — И он прибавил неприличную рифму.

Теперь всё чаще во двор долетали звуки стрельбы со стороны моста, и Маша знала: стреляют немцы. Может, убили человека.

Во дворе и на улице Маша часто видела драки мальчишек. Как молодые петушки, они наскakивали друг на друга, тузили кулаками, валили друг друга в дорожную пыль. Но и здесь были свои правила: заступаться всем за одного было можно, нападать на одного оравой — нельзя.

Маша вышла на улицу искать фантики: может, попадется хорошенькая бумажка от конфеты с разноцветной картинкой, с золотым ободком. Она ходила, разглядывая кирпичную выщербленную панель. Фантиков не попадалось.

Из-за поворота улицы раздался свист и крики: рыжеволосый кудрявый мальчик бежал, закрывая локтем лицо. Вслед ему летели камни.

— Жидёнок! — орали мальчишки, догонявшие рыженького. Впереди всех бежал племянник хозяина дома, где жила Маша, Виктор. Он был постарше других, в целых, не рваных штанах и рубахе, в сандалиях — все остальные были босые. Он предводительствовал погоней.

Маша поняла одно: их много, а рыженький совсем один, и ему страшно. Она побежала наперерез ораве и закричала:

— И не стыдно, напали все на одного! Не стыдно?! Не смейте, раклы!

Раклами няня называла жуликов и бандитов. Хуже этого слова Маша не знала.

Маленький круглый булыжник просвистел над Машиным ухом. Ее не сразу заметили.

— Уходи, дура такая! — закричал Виктор.

— Не стыдно, не стыдно! — кричала Маша. Слезы начали капать у нее из глаз от обиды, что мальчишки не хотят ее слушать.

Тем временем рыженький убежал далеко. «Выйди только на нашу улицу!» — кричал ему вдогонку Виктор, Грозь кулаком. Потом гикнул, и орава скрылась в переулке.

Дома всё было рассказано за обедом.

— Так им и надо, какие цены дерут за булку, за мыло! — сказала сердито няня.

— Детей булочницы Розы никогда не бьют, — возразила Маша.

— Чему вы учите ребенка, Татьяна Дмитриевна! — рассердилась мама. Дочке же объяснила: — Никогда не говори «жид», это обидное, ругательное слово. Надо говорить — еврей.

— А евреи хорошие или плохие?

— Разные бывают. Русские тоже со всячинкой: есть хорошие, а попадаются и подлецы.

— Вроде хозяина нашего дома, — добавил папа.

— А немцы хорошие?

Отец задумался:

— Иноземная армия, которая пришла завоевывать другую страну, не может быть хорошей. А немцы тоже разные. Говорят, и у них заваривается...

— Те немцы, которые домой бегут, те — хорошие, пожалуй, — это мама сказала уже не Маше, а отцу. — Вообще, народов плохих нет, есть плохие люди. Всех под одну гребенку стричь не годится. Хорошие люди, значит, честные.

— Хороший тот, кто честный и кто трудится, работает, — сказал отец. — Дармоеды все плохие.

Плохие, хорошие... Разберись, попробуй. Нет, хороших немцев Маша еще не видела. Она видела виселицы за железнодорожным мостом: высокие, в виде ворот, и на каждой висело по два человека. «Почему они не спрыгнут вниз? — спросила она няню. «Они уже никогда не спрыгнут» — ответила няня и повела ее подальше от этого места. Позднее Маше пришлось однажды играть в игру под названием «виселица». На бумажке было написано длинное слово, в котором пропускались все буквы, кроме первой и последней. Надо было угадывать пропущенные буквы. За каждую ошибку рисовалась черта для виселицы. Кто не угадывал буквы правильно, того «вешали» на этой виселице. Когда однажды «повесили» Машу, она взглянула на кривого нарисованного человечка, изображавшего ее, и вдруг закричала: «Не хочу, не смейте!» Этой игры она стала избегать.

Вечером отец рассказывал детям сказки. Особенно любила Маша сказку про змея и цыгана. Страшного огромного змея маленький хитрый цыган мог обдурить запросто. Как хорошо он отвечал на угрозу змея «я тебя съем»: — «Не съешь, подавишься!» И дети со смехом повторяли эти слова: «Не съешь, подавишься!»

Эта сказка вселяла веру в лучшие времена. И Маша, ложась спать, повторяла, грозясь кому-то неизвестному:

— Не съешь, подавишься!

Маша продолжала ходить к железнодорожному мосту. Она часами сидела на зеленом откосе, провожая глазами проезжающие поезда.

Иногда в вагонах виднелись худые изможденные женщины с полумертвыми детьми на руках. Проезжая мост, женщины зывали к людям, которые попадались на пути: «Дайте ж хоть что-нибудь, хоть шматочек хлебца, або макухи! От Каледина бежали! Добрые люди, подайте голодающим».

Маша со страхом поглядывала на этих несчастных. Иногда поезда останавливались, люди выходили. Не раз видела Маша, как они догоняли тронувшийся состав и на ходу, с трудом, старались влезть в красные товарные вагоны. Им протягивали навстречу руки. Подножек не было.

Маша слышала названия станций: Лозовая, Конотоп, Чугуев, город Изюм.

Воображая город Изюм, Маша видела улицы, где на каждом углу стояли лотки со свежим

хлебом. Здесь каждому давали по хлебцу бесплатно. Хлеб, конечно, был пеклеванный, с изюмом. В таком городе у каждой подворотни стояли столы, и девушки в белых фартуках большой поварёшкой наливали каждому густой бор с чесноком и салом. Город носил такое имя потому, что в нем не было голодных, в нем каждого кормили досыта.

Она так поверила в выдуманный ею город, что однажды, когда няня жаловалась, что не из чего варить обед, Маша сказала ей просто:

— А ты бы съездила в город Изюм и привезла чего-нибудь.

Мама всегда учила Машу быть доброй и делиться с другими. Маша легко уступала Ниночке лучший кусочек, — Ниночка же была маленькая. Маша уступала его легко и почти весело, потому что так делала мама, отдавая всё лучшее детям. Маша становилась похожей на маму и вырастала в собственных глазах. Иногда мама давала Ниночке какое-нибудь крошечное печенье и, перехватив ожидающий взгляд Маши, говорила, улыбаясь:

— Ты у меня большая, ты мышку поймаешь.

Как-то к ним зашла мамина старшая сестра, тетя Наташа. Уходя, она погладила Машу по голове и сказала:

— Помнишь, Машенька, где я живу, не забыла? Так приходи ко мне сегодня вечером, у меня будет пирог с капустой.

Целый день Маша думала о пироге. Когда наступил вечер, она вышла на улицу. Под окнами гуляла девочка из соседнего дома, Оля, годом постарше Маши.

— Пойдем к моей тете, у нее сегодня пирог с капустой, — сказала Маша Оле.

Оля стеснялась идти. Но устоять против такого приглашения девочке, которой всегда хотелось есть, было трудно. Они пошли, и спустя пять минут Маша уже дергала деревянную ручку звонка.

Тетя Наташа открыла. Увидев двух девочек вместо одной, она поморщилась.

— Это Оля, мы вместе играем, — объяснила Маша.

Тетя Наташа, обычно болтливая и веселая, замолчала. Молча вынула она из духовки коричневый поджаристый пирог из ржаной муки. Пряный, чуть хмельной запах печеного ржаного теста бил в ноздри.

Тетя сняла пирог с противня, переложила на чистое суровое полотенце, чтоб он остыл, и ушла в другую комнату. Девочки сидели молча, разглядывая фотографий и открытки на стене. Вдруг тетя позвала Машу:

— Маша, зайди сюда на минуточку.

Маша вышла за дверь.

— В другой раз, когда я тебя зову, не приводи с собой всяких уличных девчонок, — сказала тетя шёпотом. — У меня на своих-то не хватает, а тут еще чужих угощать.

— Она не уличная, — робко ответила Маша. — Потом, мама велит делиться.

— Всех не накормишь. Раньше надо о своей семье думать. Каждый за себя стоит. Вот теперь я разделю твой кусок на двоих.

Теткин шёпот казался каким-то гусиным шипением. Наконец, тетка умолкла, открыла дверь, и они прошли на кухню.

Оля сидела, глядя на пол и ничего не говоря. Тетка Наташа отрезала от пирога длинную полосу, потом разделила ножом пополам. Этот кусок она разрешила еще на две части и дала Маше и Оле.

— Спасибо, — сказала Маша и встала со стула. Оля тоже сказала спасибо, облегченно вздохнула и откусила кусок горячего пирога. Они вышли на улицу, кусая пирог и бережно собирая в ладонь кусочки капустной начинки.

Виляя хвостом, у ворот Машиного дома их встретила Жучка, приبلудная дворовая собака.

Ее никто не кормил, но она, тем не менее, исправно несла свою службу.

— Дадим ей по кусочку корочки, а? Мы ведь не жадные, — твердо сказала Маша подруге. Обе отломили по маленькому кусочку корочки и кинули Жучке. Та в один миг сжевала угощение и благодарно помахала хвостом, глядя детям в глаза.

Маша положила в рот последний кусочек пирога. Она жевала его медленно, со вкусом.

«А мы твоим пирогом не только с Олей, даже с Жучкой поделились», — думала она, вспоминая тетку. И хотя пирог вовсе не утолил голод и можно было бы спокойно съесть еще два таких куса, Маша всё же чувствовала некоторое торжество. Тетка рассуждала нехорошо. Почему она говорила за дверью и шёпотом? Если б это было хорошее, она сказала бы громко, при Оле.

Глава третья

Тетя Зоя — сестра тети Наташи, но тетя Зоя лучше. Она совсем молоденькая, очень громко и весело смеется и часто играет с детьми, — Маша за это любит ее. Она добрая и, наверно, не рассердилась бы, если б ей пришлось дать кому-нибудь лишний кусок пирога. У нее длинные темные косы, а вокруг лба волосы завиваются во все стороны маленькими пружинками.

Тетя Зоя никогда не заходит одна, а всегда с поклонниками, — так называет мама молодых мужчин. Почему так называет — неизвестно, кланяются они не больше, чем все остальные люди. Мама даже сказала однажды, что если бы всех Зоиных поклонников выстроить в один ряд, шеренга растянулась бы от Сумской до Молочной улицы.

Тетя Зоя учится на каких-то курсах с трудным названием «фребелевские» и отлично умеет делать бумажные цветы и елочные игрушки — картонажи, бомбоньерки, домики с цветными слюдяными стёклами.

— Мама, когда придет тетя Зоя?

Мама стоит у стола с поварёшкой в руке и разливает по тарелкам пшенный кулеш. Все дома, все собрались обедать.

— Зоя сегодня, наверно, зайдет. Не вертись на стуле и не клади локти на стол.

Папа снисходительно улыбается, глядя на получившую замечание дочку. Уж так заведено: мама запрещает, папа разрешает. Мама строгости наводит, а папа всё обращает в шутку. Вон вчера Маша вылизала тарелку после вареников с кислым молоком — не каждый день на тарелку попадает кислое молоко. Мама сделала замечание, а папа скорчил страшную гримасу и стал своим длинным языком тоже вылизывать тарелку... Все долго смеялись, и мама тоже. И в самом деле смешно: дядя с усами облизывает тарелку из-под вареников!

— Беда, беда стряслась! Ужас какой!

Это няня в дверях, глаза заплаканные. Только что вышла зачем-то на улицу, и вот — вернулась в слезах.

— Что такое, Татьяна Дмитриевна?

— Пропала Зоинька наша, потащили немцы Зоиньку в комендатуру... — и уже не в силах сдержать рыдания, няня отворачивается к двери. Плечи ее трясутся.

— Почему схватили? Возьмите себя в руки, — говорит папа, — расскажите толком. Вы сами видели?

— Сама! Знаете, возле железнодорожного моста столбь поставлены, провода натянуты? Ну, она баловалась с каким-то молодым человеком, он ее посадил — и срезала ножницами один провод. В это время солдаты... Часовые там есть, отходили куда-то, а тут набежали. Руки ей скрутили, орут по-своему. А поклонник-то вместо того, чтоб выручать, дёру дал. Она немцам объясняет про фребелевские курсы, что для игрушек ей надо проволоку, да они разве стали

слушать! Потащили в комендатуру. Пропала Зоечка наша, не посмотрят, что жизнь молодая.

— Надо что-то делать, — говорит мама. — И быстро.

— Я пойду в комендатуру, — говорит отец, отодвигая тарелку с недоеденным кулешом. — Я объясню, что это недоразумение. В крайнем случае, внесем за нее штраф.

— Ты назовешь себя профессором университета, Борис. Так будет для них сильнее, — твердо говорит мама.

— Но ведь, Анечка, это неправда... И в удостоверении написано — доцент.

— Только держись решительно, тычь им в лицо удостоверение, не раскрывая, да требуй. От этого Зоина жизнь зависит.

Мама прикусывает губы, стараясь не заплакать.

Папа идет переодеваться. Из сундука вынут парадный костюм, лучший галстук. Мама щеткой снимает пушинки с пиджака. Галстук закалывает булавкой с синим камешком. Брызгает духами.

— Зачем, Анечка... — говорит папа, но она даже не отвечает. Жаль, что пальто у мужа не совсем профессорское, но другого нет.

— Извозчика возьми. Так солиднее. Говори с ними по-немецки.

— Но ведь я неважно говорю...

— Не хуже, чем они по-русски. И ради всего святого, будь решительнее и настойчивее, держись важно. Ведь от этого зависит...

Много лет спустя, уже взрослой, Маша вспоминала этот день, уход отца... Дома часто рассказывали об этом случае, и Маша ясно представляла себе настроение отца и его мысли.

Отец целует мать, уходя. Он преобразился не только внешне: мама передала ему в эти короткие минуты что-то от себя самой, от своего мужественного характера. Губы его твердо сжаты, они стали тоньше и жестче.

— Извозчик!

Извозчик останавливается, Отец садится в экипаж и едет.

Давно не ездил он днем по городу... На улицах то и дело попадаются солдаты и офицеры в зеленых мундирах — оккупанты. Видел он случайно из окна университета, как входили они в Харьков. Молча, бесстрастно шли строем солдаты, сбоку на конях ехали офицеры. Зеркальные козырьки высоких фуражек блестели на солнце, словно металлические. Больно было смотреть на иноземцев и чувствовать свою беспомощность, незащитность.

А они только вошли, как на завтра уже приказ: сдать имеющееся огнестрельное и холодное оружие, в противном случае расстрел.

У отца была старинная гетманская шашка; над диванчиком висела на стенке. Снял ее, погрустил и снес в комендатуру.

Он едет и читает вывески: завод сельскохозяйственных машин Мельгозе, чугунолитейный завод Трепке, табачная фабрика Кальфа, завод фон Дитмара, машиностроительный завод Гельферих-Саде... И тут оккупанты. Но ведь это не новые заводы, не сейчас появились их владельцы, — они тут уже старожилы... Иностранный капитал. А терпит свой брат, исконный хозяин этих мест.

Становится тоскливо. Конечно, темнота всему причиной. У самих-то культуры нехватает, вот и звали варягов. Интересно, сколько лет потребовалось бы большевикам, чтобы всему народу дать, ну, хотя бы начальное образование? Чтобы покончить с этой подлой отсталостью страны, технической и культурной? Полвека потребовалось бы, не меньше... А то и век.

Стоп, приехали.

Вот она, немецкая комендатура. Высокая темная дверь, в которую люди входят под конвоем и, обычно, больше не возвращаются. Их выводят вечером со двора небольшими партиями, гонят

на Холодную гору и там расстреливают или вешают. Кто не читал приказов, расклеенных на стенах домов: «За каждого убитого или раненого германского солдата будут немедленно расстреляны первые попавшиеся десять русских солдат или жителей...»

Где-то там, за этой мрачной дверью сидит Зоя. Маленькая, веселая Зоя, которая на его свадьбе была в гимназической форме и в передничке. Она и в двадцать лет выглядит девочкой, благодаря своим наивным пухлым губкам и курносому носику.

У двери комендатуры двое часовых. Отец высоко поднимает голову, сердце его колотится. Приняв властную осанку, он обращается к часовым по-немецки:

— Господин комендант у себя?

— Так точно, — отвечает солдат, мельком оглядев сердитого русского господина.

Отец входит в чисто вымытый коридор. На скамейке у стены сидят, сутулясь, несколько горожан, — две пожилые женщины, господин в котелке и хорошо одетый известный адвокат еврей. За столом — младший офицерский чин, вероятно, секретарь.

— Будьте любезны, доложите господину коменданту, что профессор Харьковского университета Лоза просит принять его по срочному делу, — говорит отец по-немецки, стараясь, чтоб в голосе звучал металл.

— Я доложу.

Спустя несколько минут из кабинета коменданта выходит женщина. На ней черная шляпа с крепом, глаза распухли от слёз. Она не смотрит ни на кого и быстро уходит спотыкающейся, неверной походкой. Младший офицерский чин заходит в кабинет.

— Сегодня господин комендант никого принимать не будет, — говорит он, возвратясь. Сидящие на скамейке вздыхают, поднимаются и уходят.

Отец ошеломлен: а как же Зоя? Что будет с нею? Много несчастий может произойти за сутки.

Он возвращается домой подавленный. Как разочарованно смотрит на него жена! Что же делать?

Назавтра он едет в комендатуру с утра, снова надев свой лучший костюм и взяв извозчика. В коридоре толпа. Люди чувствуют себя здесь бесправными, несчастными, но всё-таки не могут расстаться с крохотной надеждой — спасти своих близких.

— Доложите, пожалуйста, господину коменданту, — повторяет отец слово в слово затверженную по-немецки фразу.

В кабинет коменданта входят какие-то офицеры с бумагами. Наконец, секретарь идет докладывать о просителях.

— Зайдите, господин профессор, — говорит он, снова появляясь в дверях.

— Господин комендант, я пришел принести извинения за свою племянницу, — начинает отец. Он долго вспоминал, как будет по-немецки «свояченица», но не вспомнил и решил, что сойдет и «племянница». — Она очень резвая девочка, но иногда позволяет себе шалости, которые в наше военное время недопустимы.

Комендант спокойно рассматривает посетителя.

— А вы молоды для профессора... Ну, да в России это бывает. Любопытная страна, фантастическая! Половина русских интеллигентов — фантасты, скажу без преувеличения. У вас так много природных богатств, что если бы вы не были фантастами... Наш долг, долг друзей, я вижу в том, чтобы помочь вам распорядиться этими богатствами.

Отец терпеливо слушает. Комендант хочет, видимо, показать свои ум и наблюдательность.

Но вот комендант уже выговорился, помянув и варягов и «русскую национальную традицию» — привлекать иностранцев для управления страной. Он возвращается к причине, которая привела сюда «господина профессора». И отец снова приступает к делу:

— Моя племянница увлеклась изготовлением картонажей и искусственных цветов. Для этого занятия ей понадобилась проволока. Скверная девчонка, которая доставила мне уже немало забот, ничего лучше не придумала, как отрезать кусок проволоки от телефонной сети... Я приношу извинения и обещаю наказать ее, как она того заслуживает.

— Это похвально, что вы занимаетесь воспитанием племянницы... А собственные дети есть у вас?

— Двое... Но они еще малы, господин комендант.

— Прекрасно. Почему же вы обратились ко мне?

Отец напрягает всю свою волю, чтобы скрыть волнение:

— Это совершенно натурально — я должен был обратиться именно к вам. Девочка сейчас в комендатуре, — (он говорит, а сам боится взглянуть: а вдруг ее этой ночью уже расстреляли или повесили?), — не могли же солдаты смотреть спокойно, как кто-то режет провода. Они правы по-своему, откуда они знают, кто она и почему позволяет, себе такие странные поступки.

Комендант улыбается:

— Дело значительно хуже, чем вам кажется, господин профессор... К сожалению, в вашей дружественной стране не все относятся к армии кайзера дружелюбно. К сожалению, известны факты, когда отдельные бандиты нападают на наш транспорт, обрывают связь... Вы, вероятно, слышали о таких фактах?

— То, что я слышал сейчас от вас, для меня — новость и неожиданность.

Комендант, видимо, растерялся от этого признания. Отцу даже показалось, что комендант пожалел о сказанном, испугался, как бы не стать самому источником невыгодных слухов. Ведь в газетах украинских националистов поддерживалась фикция самостоятельного, дружественного Германии государства, а оккупация изображалась в виде длительного визита друзей.

Комендант решил исправить свою ошибку:

— Я доволен вами, господин профессор. Я нарочно спросил вас таким образом. Вижу, что вы совершенно лояльны к армии кайзера. Так в чем ваша просьба?

— Я прошу разрешить мне забрать домой глупую девчонку и обещаю наказать ее. Отец ее умер давно, и нам, родственникам, приходится нести всю ответственность.

Комендант звонит и приказывает привести арестованную.

Зоя появляется довольно быстро. Лицо ее осунулось, под глазами темные круги. Увидев Бориса Петровича в парадном костюме, она удивленно раскрывает рот, но во-время спохватывается.

— Сколько лет вам, барышня? — спрашивает комендант. Во взгляде его удивление: какая же это девчонка? Вполне развитые формы и всё прочее.

Зоя мгновенно соображает: зачем ему ее возраст? Наверно, Боря объяснил ее поступок детской глупостью или чем-нибудь в этом роде?

— Шестнадцать, господин комендант, — отвечает она по-немецки, делая книксен.

— Зачем вы резали проволоку?

— Я больше никогда не буду, господин комендант. Лучше я попрошу проволоки у брата моей подруги... Бумажные цветы, господин комендант. Без проволоки ни маки, ни гвоздики не получаются.

— В этой сказочной стране всё созревает рано: и вишни, и девушки, — размышляет вслух комендант, разглядывая Зою. — Вас спасают ваши манеры, фрейлейн... И притом, просит за вас вполне почтенный человек...

Задремавший извозчик удивленно смотрит на своего пассажира, выходящего из комендатуры об руку с хорошенькой девушкой. Извозчик взмахивает кнутом, и пролетка трогается.

— Боря, спасибо вам, Боренька, милый, — говорит Зоя, стиснув его руку. — Вы мне жизнь спасли...

Отец молчит с минуту, не глядя на девушку. Потом спрашивает, не оборачиваясь к ней:

— Хорош у тебя поклонник, Зоя: как увидел опасность, сразу удрал! Срам какой.

— Это не поклонник, Боря. Он должен был удрать, не осуждайте его.

— Почему? — возмущается отец.

— Ну, потому что... Ну, Боренька, я не имею права, не сердитесь. Вы ушли с головой в свою науку и не знаете даже, что люди... не мирятся с этими издевательствами, с угнетением. Я человек маленький, Боря, я еще ничего такого не успела сделать для революции... С первых шагов такой промах...

— Имей в виду, Зоя, я пообещал этому немцу, что впредь ты будешь умнее. Если ты и дальше будешь так служить революции, — схватят всех нас, и меня, и Аню.

— Я буду умнее, Боренька, родной! Буду умнее! Вы правильно обещали ему! — говорит Зоя, и в глазах ее загораются веселые искорки.

Глава четвертая

Что такое правда, а что такое ложь?

Было воскресенье. Мама готовила обед и дала Маше розовую морковку. Маша съела ее вместе с зеленым маленьким стебельком. Морковка вкусно хрустывала на зубах, но она была такая коротенькая!

В дверь постучали. Мама пошла открывать и по ее вежливым восклицаниям Маша поняла, что приехала Магдалина Осиповна, та самая, чей буфет. Вероятно, она не была храброй женщиной: уехала из города, испугавшись каких-то бандитов, а вещи раздала на хранение знакомым. «Как же она буфет забирать будет, — подумала Маша, — ведь ей не унести его?»

Гости прошли в комнату и сели на диван. Мама вернулась на кухню, велела няне сварить кофе, а потом позвали Машу:

— Сходи в булочную к Розе и купи французскую булочку. Вот тебе деньги, сдачи не будет.

Булочная Розы была недалеко, всего один квартал. Маша всегда завидовала булочнице Розе: «Было б это мое, всё бы съела!» — мечтала она, разглядывая сквозь стекло сдобные калачи и пшеничные хлебцы с изюмом.

И вот она в булочной. Она протягивает Розе зеленую бумажку — двести пятьдесят рублей, с двуглавым орлом без короны. Роза дает ей маленькую французскую булочку, треснувшую посерединке, с порозовевшим гребешком. Вдоль всей булочки сверху положена узенькая кругленькая колбаска из румяного теста — украшение. Эта тоненькая тестяная палочка вкусней самой булки: как она хрустит! Давно не было в доме булки.

Интересно: в одних булочных кладут такую полосочку, в других нет. Без нее тоже булка выглядит не плохо. Что, если отломать кусочек этого украшения? Маша отламывает и с наслаждением кладет в рот. Вкусно! Можно отломать и с другого края, чтоб одинаково было.

А не лучше ли снять это украшение вовсе? Может, его совсем не было? Булка и так хороша... На зубах снова хруст.

Пока проходишь этот квартал, можно съесть и не одну булку. Маша не ест, она только отламывает поджаристые корочки-занозки то с одного, то с другого конца. Подумаешь, и совсем немного. Мама не жадная, она всё равно ничего одна не ест, всё делит.

— Вот, я купила.

На мамином лице ужас:

— Что ты принесла? Разве я могу этим угощать гостей? Зачем ты обгрызла?

— Мне такую дали, — говорит Маша, свято веря в свои слова.

— Если дали, так пойди и обменяй, — говорит мама, краснея, Она всегда краснеет, когда подозревает кого-нибудь во лжи.

Маша идет снова к Розе. Но Роза смеется и не меняет. «Кто же у меня такую возьмет?» — спрашивает она со смехом.

Маша возвращается с позором. А в комнате сидит Магдалина Осиповна, и кофе уже заварен...

Маша кладет булку на стол и убегает во двор, пока мама не вышла на кухню.

Тетю Зою спасли, это очень хорошо. Но мама сама учила отца сказать неправду, будто бы он профессор... Мама, которая всегда учила: лгать нехорошо, надо говорить правду.

Как же разобраться в этом? Спрашивать взрослых бесполезно, — ведь это именно они поступают вопреки своим собственным правилам. Маша стала наблюдать за взрослыми и заметила, что они часто отклоняются от правды. Папа сказал про одного Зонного поклонника, что он черноглазый, а когда Маша присмотрелась, то обнаружила: глаза коричневые. Черных глаз не бывает, только зрачок черный, но это у всех. Про Машу говорят, — что глаза у нее синие, а они только с голубенькими крапинками. Синих, как синька, глаз у людей тоже не бывает. Как же быть с правдой?

— Ты слишком всё буквально понимаешь, — заметил папа, когда Маша отважилась спросить, почему взрослые говорят неправду. — Приблизительно это верно. Глаза называют синими и черными условно, поэтому тут нет лжи.

«Приблизительная, условная правда» была непостижима для Машиного ума. В глубине души она очень мучилась, узнав, что взрослые врут, и никак не хотела простить им этого. «Это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно» — говорили взрослые, и им полагалось верить.

Однажды в день своего рождения Маша получила в подарок от родителей маленький мячик, раскрашенный в синий и красный цвет. И тут же спросила:

— А это обязательно — дарить новорожденным подарки? Такое правило?

— Обязательно, моя хорошая! — беспечно ответила мама, поцеловала дочку в лоб и ушла.

«Хорошее правило, — подумала Маша. — Теперь пойду к знакомым через улицу и скажу, что у меня день рождения».

У знакомых никого не было дома, кроме бабушки, которая мыла, на кухне кастрюли. Маша поздоровалась с ней, кокетливо прижимая к груди мячик:

— У меня день рождения. Это мне мама и папа подарили, — объяснила она.

— Хороший мячик! — похвалила бабушка, обмакнув тряпку в золу и оттирая ею закопченное дно кастрюли.

Маша подождала немного. Потом повторила снова:

— А я сегодня новорожденная.

— Поздравляю тебя, — сказала бабушка, даже не обернувшись, видно торопилась закончить работу.

Маша загрустила. Бедная старушка! Она не знает правила и не собирается ничего дать Маше.

Девочка стала растерянно бродить вокруг застекленной веранды. Ну как, как помочь этой бабушке, чтоб она поступала хорошо, по правилам? Может, ей нечего подарить и она очень мучается от этого?

В траве лежал медный пятак с царским орлом. Маша вытерла его о песок и он заблестел. Маша знала, что в лавках такие пятаки не берут. Но всё-таки это вещь, кругленькая, хорошенькая.

— Я возьму его? — спросила она бабушку нерешительно.

— Возьми, возьми, он всё равно никому не нужен.

Маша вздохнула с облегчением и пошла домой. Хорошо она выручила старушку! Теперь бабушка не будет страдать из-за того, что неправильно поступила.

* * *

В углу двора, в бурьяне, сидят ребята.

— Куда бы податься? — спрашивает Славка.

— Идем к сумасшедшей барыне? — предлагает Маша. — Она что-нибудь расскажет.

— Айда!

Сумасшедшая графиня живет во флигеле, в самой дальней комнате. Собственно, их две барыни: бабушка и внучка. Только бабушка в здравом уме, а внучка со странностями. Зато она очень общительная, а так как к ней никто не ходит, она довольна приходом детей.

— Я родилась в богатой семье, — рассказывает она охотно. — У нас в гербе — хлыст и дубовая ветка. Мои предки были любителями охоты и собак, у нас тоже было шестьдесят собак.

— Врет, наверно, — шёпотом говорит Славка Маше.

— Когда я выросла, мне купили парту и наняли учителей. И я занималась.

— Купили парту... она и в школе-то никогда не была. Кто же парты покупает? — возмущенно шепчет Славка на ухо Маше.

— Молчи, — отвечает Маша.

— Я была большая озорница... Я вообще оригинальный человек, — заявляет сумасшедшая барыня. — Раз мы стали играть в индейцев. Я разрисовала себе лицо тушью так, что целый месяц не отмывалось. Меня даже гостям не показывали. А брата маленького я всего вымазала йодом, чтобы он был краснокожий. Он даже заболел от крика.

Машино сердце замирает в ужасе. Вымазать йодом маленького брата! Вот сумасшедшая! Но ведь она и в самом деле такая.

— А когда я выросла, мне захотелось узнать, как это человек тонет. И я привязала одного деревенского мальчишку за пояс веревкой и говорю ему: «иди на середину реки». А лед был тоненький. А он не идет. Такой трус! Я бы ему не дала утонуть, я бы вытащила его за веревку.

— И чем кончилось? — спрашивает Славка, затаив дыхание.

— Так и не пошел, болван.

— А вы бы сами попробовали, как тонуть. А он бы вас за веревку держал, — говорит Славка, не моргнув глазом.

— Какой ты хитрый! — смеется графиня. — А если б я утонула, тогда что?

Барыня меняется в лице. В ее глазах загораются злые огоньки:

— Это я сейчас нищая, а у меня всё было, всё! Дом на Молочной, трехэтажный, дача в Тернах, собак шестьдесят штук! А какая оранжерея!

— А теперь кто там живет?

— Нищие живут. Ничего, их еще разгонят!

Маша первая выбегает на свежий воздух. С сумасшедшей и интересно и страшно. А ну, как она и над тобой захочет произвести какой-нибудь опыт? Славка вступится, ребят много, а всё же страшно — сумасшедшая.

Славка никогда бы не ходил слушать рассказы сумасшедшей барыни, но у нее можно достать спички. Она дает их детям всегда с необыкновенной готовностью и даже просит:

— Подпалите что-нибудь, я так люблю смотреть на огонь!

Взяв спички, Славка устраивает в дальнем уголке двора, у бурьяна, маленький костер. Вырывает ямку, кладет туда сухие палочки, щепки и зажигает. Все толпятся вокруг и смотрят. Вверх подымается тоненький оранжевый язычок огня с голубым кончиком.

— Хозяйская бабка идет! — вскакивает Ленька.

Славка бросает на костер ржавую жестянку и как ни в чем не бывало присаживается на нее.

— Дом поджечь хотите, ироды? — кричит бабка и грозно машет на детей палкой. — Где у вас огонь? Я по запаху слышу. Откуда дым идет?

— Мы почему знаем... — говорит Славка. Он обманывает бабку, но она такая вредная, что Маше не стыдно за Славкину ложь. Его явно уже припекло, но он еще не встал, хотя уже приподымается над жестянкой.

Бабка обходит ребят, нюхая воздух. Славка не выдерживает — сколько можно сидеть вроде как на горячей сковородке! Он вскакивает и сразу из-под жестянки начинает пробиваться тоненькая струйка дыма.

— Разбойники, раклы вы, — кричит бабка, — кто только вам спички дает! Будьте вы прокляты!

Ребята уже далеко, — они перебежали в другой конец двора и толпятся там, не зная, чем заняться.

Хозяйская бабка — это не иностранный солдат, убить она не может. Но Маша всё равно причислила ее к плохим. Она всем делает плохое. Сама не работает, а на работника и прислугу то и дело кричит: то постирала плохо, то слишком много съели — всё не так. Папа же говорил, что плохие — это кто не работает.

Сам папа работал и в будни и в праздники.

По воскресеньям он водил за город экскурсии студентов. Оттуда возвращался к вечеру с полными руками всякого добра. Однажды отец взял с собой Машу.

Трамвай довез их до конечной остановки, они вышли и двинулись к веселой роще. Там, в просветах между деревьями, виднелась красная черепица крыши двухэтажного здания. На веранду вышла женщина и поздоровалась с папой.

— Студенты на берегу у пруда, — сказала она. — А Машенька пусть погуляет здесь, возле веранды, тут песочек.

Папа ушел. Маша гуляла, рассматривала неизвестные ей растения — цветы, деревья. Женщина на веранде занималась хозяйством. Был жаркий день, солнце пекло голову.

— Идем, доченька, я уже свободен, — послышался голос отца. Он подошел к веранде, высокий, с маленькими колючими усами, в широкополой соломенной шляпе. Его окружала толпа студентов, многие несли сачки, пучки веток, букеты трав и цветов, банки с водой, в которых плавали водяные насекомые. Одна большая банка была доверху наполнена живыми лягушками и завязана сверху белой марлей.

Студенты попрощались и ушли. Маша пошла с отцом в парк к пруду. Отец достал перочинный ножик и нарезал целый ворох ивовых прутьев:

— Теперь я искупаюсь, а ты счидай с прутьев кору. Не со всех, половину зелеными оставь.

Маша занялась работой. Ей впервые доверили перочинный нож, предмет, о котором мечтали все мальчишки. Снимать кору было легко, перед девочкой росла горка белых гладеньких прутьев, терпко пахнувших свежим ивовым соком.

— Умница! — сказал отец, подходя к ней. Волосы у него были мокрые, он был бос, в одних парусиновых брюках. — Теперь смотри, как надо корзинки плести.

И вот из тоненьких, никчемных прутьев стала вырастать какая-то огромная, плетенка, поначалу даже не похожая на корзинку. Папа плел и плел, а узорные, зеленые с белым стенки странной корзины возвышались всё выше, как башня, и вот уже в корзинку могла бы

поместиться сама Маша. Тогда отец остановился, сплел крышку — продолжение одной из стенок, и сказал:

— А теперь тебе сплетем. Маленькую.

Его пальцы двигались бесшумно и ловко, прутики сами загибались, куда нужно, а концы прятались где-то внутри. Папа работал, как фокусник.

— Кто тебя научил? — спросила Маша, восхищенно глядя на корзины.

— Твой дед научил. Ты его не знаешь, он умер.

— А кто он был?

— Фантазер, мечтатель. Всё придумывал такое, чего еще нет на свете... Твой дед садовник был, понимаешь? Цветы разводил, деревья. Только не ценили его, с дураками ему жить пришлось... Тебе не понять, ты еще маленькая. А корзины он плел еще не так! Его всякий прутик слушался.

Отец замолчал.

Старые ивы рассыпали над рекой свою мелкую серебряную листву. На вершинах могучих седых деревьев Маша заметила какие-то зеленые гроздья. Она видела в книжке такие ветки с яркими зелеными и красными палочками — там они росли в море и назывались кораллы.

— Папа, это кораллы? — спросила она неуверенно, показав на вершины деревьев, облепленные яркозелеными гроздьями.

— Кораллы в воде растут, в океане, а это просто паразиты, они сок тянут из деревьев, — ответил отец.

— Паразиты? А что это? Ягоды?

— Паразиты — это всё то, что живет за счет другого существа, питается чужой силой. Это вроде болячек на живом дереве, понимаешь? Они мерзкие, липкие, их противно трогать. А надо бы всех посбивать с дерева, тяжело ему.

Он помолчал.

— Паразиты — это дармоеды, понимаешь?

Маша посмотрела с ненавистью на зеленые гроздья.

— Сиди на берегу, сейчас я буду раков ловить.

Маша следила не без страха, как отец вытаскивал из-под береговых круч черных страшных раков с растопыренными клешнями. Он смеялся, позволял им схватить его за палец и учил Машу не бояться. Раков он кидал в высокую корзину. Они ворочались там, зловеще похрустывая своими твердыми глазами, но выбраться не могли.

Когда корзина была наполнена, отец заложил туда немного моху, закрыл крышкой и закрепил ее. Потом подцепил корзину ремнем, перекинул за спину, и они пошли домой.

Не доезжая одной остановки до дому, сошли. Здесь шумел базар.

Они смешались с разноголосой толпой, отец остановился и открыл корзину. Он ничего никому не сказал, Но люди подошли сразу — не так-то много съестного было в те дни на базаре.

С ним не торговались, и вскоре на дне корзинки остался последний десяток.

— А это себе оставим, — сказал отец, складывая в карман пачку бумажных денег и увязывая корзину.

За его спиной заговорили. Отец слышал, но не оборачивался.

— Доцент университета, как простой рыбак! Боже мой! Вот чего ваши самостийники добились:

Уходя, отец оглянулся на Машу. Она слышала. Она силилась понять.

— Никакой работы стыдиться не надо, — сказал он ей несколько виновато. К счастью, дочка молчала и ничего не спрашивала.

Снова весна, и снова — красные флаги! За окном — капёль, солнце сияет в небе, снег тает, всё радуется — в Харькове снова советская власть!

Маша сидит на подоконнике. Перед нею — глиняная мисочка с поджаренными тыквенными семечками. Няня только что вынула их из духовки и они поют, как остывающие уголья. Стоит только прислушаться, нагнуться к мисочке — и сразу услышишь: поют!

За окном на улице появляются люди — манифестация. Несут красные флаги, весело кричат, поют песни.

Тыквенные семечки вмиг забыты:

— Можно мне на улицу?

— Сама ж башмаки промочила, еще не высохли. Сиди дома.

А хочется туда, вместе со всеми бы сейчас идти. И какое-нибудь маленькое красное знамя нести в руках. А впрочем — красная ленточка есть...

Она берет красную ленточку, встает на подоконник, открывает форточку. Ленту, она наполовину высовывает из окна, — это привет им всем. Какие-то две девушки заметили, помахали ей рукой... Хорошо! Будто и она вместе со всеми.

Хозяин не радуется советской власти, это все заметили. Славка объяснил: хозяин боится охраны труда. Вот придет охрана труда, увидит, что у хозяина прислуга и работник, — и придется платить много денег.

— А какая это охрана труда? — спрашивает Маша.

— Какая... Вот придет и увидишь, какая. Обыкновенная, — смущенно отвечает Славка.

В один из дней дети, играя во дворе, замечают, что у хозяев переполох. Хозяйка мечется, хозяин басит о чем-то, двери раскрыты. И вдруг Славка говорит:

— Смотрите все на чердак! Видите, юбка синяя с цветами мелькает? Это ихняя прислуга прячется от охраны труда. Хозяин ей приказал.

Все смеются: и верно! Прислуга забралась на чердак, из слухового окна ее видно.

А во двор входит мелкими шажками стриженная девушка в красном платочке. Лицо строгое, в руке тетрадочка. Так вот она какая, Охрана Труда! Наконец-то увидели. Не страшная совсем.

А хозяин боится, рассыпается мелким бесом перед девушкой в красном платочке. Ведет ее к себе, на второй этаж.

— Ох, и врать он ей будет! — говорит Славка.

Хозяин пробует извлечь выгоду из прихода советской власти. Вот надо лед скалывать на улице перед домом — прежде за это работнику платил, а теперь иное. Хозяин теперь — за артельный труд: все жильцы выходят в воскресенье в девять утра со своими лопатами и скалывают лед. И он выйдет. Даже не один, с братом вдвоем, — к нему в гости брат приехал.

Утром перед окнами дома выстраивается человек десять жильцов с лопатами. Работать сообща не тяжело. Никому и в голову не приходит, что хозяин — домовладелец, что квартирная плата идет ему лично и жильцы не обязаны работать на него. Вместе, так вместе!

Хозяин потихоньку долбит лед — лопату он держать умеет. Сам выбился в домовладельцы из крепких мужиков. Поначалу скотом торговал, потом каменный коммерческий дом построил.

А вот брат его выглядит смешно. Толстый, совсем без шеи, голова еле поворачивается. Круглое брюшко мешает ему действовать лопатой, и он топчется на одном месте. Он моложе хозяина, но жирнее, неповоротливей.

— Вот так советская власть! Всех буржуев работать заставила. Смотрите, боров, и тот лопату взял!

Все оборачиваются в сторону говорящего. Это подвыпивший приятель отца Славки

Никулочкина, живущего по соседству с Лозами, рабочий с паровозостроительного, притом не один. Идут навестить друга в воскресный день. Смешно им, неумоготу: никогда не видели буржуя с трудовым инструментом в руках!

Брат хозяина медленно поворачивается к обидчику. Розовое лицо его становится красным, потом фиолетовым. Взмешенный, он подымает лопату и ударяет рабочего по голове. Тот валится на тротуар, покрытый еще не сколотым льдом. Лед становится красным.

Маша с ужасом смотрит, стиснув зубы: неужели убил? Поднимается суматоха. Хозяин суетится больше всех. С помощью кого-то из жильцов он торопливо уносит пострадавшего к себе домой. Рабочий жив, у него только рассечена щека.

— Как нехорошо вышло-то! — бормочет хозяйка, стараясь сколоть лопатой окровавленный лед. — Грех-то какой, а! Шурин мой характерный очень. И то, хорошим делом занялся, а тут — смеяться...

Жильцы обсуждают событие, продолжая скалывать лед. Маша бежит к хозяйской двери, посмотреть, нет ли чего нового.

И она видит новое. Раненый рабочий со щекой, перевязанной чистым белым бинтом, выходит, пошатываясь. Хозяйка, не принимая в расчет стоящую у дверей Машу, сует ему в карман какие-то деньги.

— Да ты возьми, возьми, — настаивает она, — а его прости, согрешил он, виноват. Бог велел прощать недругам своим. Не сердись на нас, милый человек.

Раненый рабочий слаб, его держит под руку Славкин отец. Увидев деньги, Славкин отец выхватывает их из кармана своего подвыпившего товарища и швыряет хозяйке. Коричневые и зеленые кредитки разлетаются, медленно падая на крыльцо.

— Забери свои деньги. Рабочего человека не купишь, — говорит хозяйке Славкин отец. — Кому положено отвечать, тот и ответит.

В дверях хозяйской квартиры показывается «боров» — иначе его теперь никто во дворе не называет. Он обтирает платком красное потное лицо, смотрит вслед ушедшим и бормочет:

— Погоди, вернется и наша власть... Я тебе вспомню буржуя, оборванец чёртов! Я тебя докончу — и слова не пикнешь.

Маша с любопытством рассматривает «борова»: «шепчи, шепчи, громко сказать побоишься. Советской власти боишься».

Подошел первомайский праздник. Мама сказала няне, чтобы она отдохнула, пошла посидеть к приятельницам.

— А вечером иллюзион будут на городской площади показывать бесплатно, — добавила она. — Я с детьми посижу, а вы сходите, посмотрите.

— И меня пусти с нянечкой! — попросила Маша.

Няня ушла отдыхать к знакомым, к вечеру вернулась пообедать, а потом оделась и прихватила с собой Машу. Они шли долго, улицы были полны праздничным народом, люди прогуливались не только на панелях, но и по мостовой.

На площадь вышли, когда совсем стемнело. В глубине на высокой дощатой раме было натянуто белое полотно. Маша стала с няней в самой гуще толпы и приготовилась смотреть иллюзион.

— А какой этот иллюзион? — спрашивала она няню.

— Смотри туда на простынку, тогда и узнаешь, какой! — строго сказала няня.

Маша смотрела-смотрела, но увидеть ничего не удавалось. Вдруг откуда-то сверху, из-за спин зрителей вырвался светящийся луч и толкнулся в экран. Маша оглянулась: аппарат стоял в окне второго этажа высокого дома. Невидимый с площади механик управлял этим чудом.

Пучок лучей и теней, выпущенных из аппарата, образовал на экране живую фотографию:

шла манифестация, какой-то дяденька произносил речь, потом его сменил другой. Их голосов не было слышно, а размахивали руками они очень быстро, резко, словно торопились куда-то. Маша ничего не понимала, хотя слышала, как после появления каждого нового оратора в толпе перекатывались называемые вслух имена, незнакомые Маше, но хорошо знакомые собравшемуся на площади народу.

А потом началась комедия, и тут всё стало понятно. Няня сказала: «Смотри, это Макс Линдер». Маша смотрела и восхищалась. Макс Линдер убегал от погони, спускался с верхнего этажа по водосточной трубе, прятался под зонтиком и проделывал множество забавных штук. Няня смеялась, и Маша смеялась с ней вместе, а когда пришли домой и мама спросила дочку, про что была эта фильма, — Маша не смогла рассказать.

— Про смешное. Как он прыгал, как он лез по трубе, — сказала она и сама смутилась. Смотреть было смешно, а рассказывать нечего.

Но в памяти прочно осталось черное теплое небо, обрамленное красными кирпичными домами, и белый квадрат на высокой подставке, куда из открытого окна высокого дома с жужжаньем и треском летел пучок лучей и теней, чтобы превратиться в живые человеческие фигуры.

* * *

На уцелевшей лавочке сидело несколько жильцов. Хозяин расположился рядом на собственном, вынесенном из квартиры стуле. Шло собрание квартирантов.

Хозяин пытался повернуть себе на пользу новые обстоятельства. Он туманно рассказывал, как всё сейчас дорого, сколько стоит позвать водопроводчика посмотреть трубы, сколько с него самого берут в городские организации за водоснабжение.

— Придется платить за воду каждому. Вот общие расходы, — он назвал сумму, — а теперь, разложим на всех, сколько кто ведер в день тратит.

— Мы больше ведра в день не расходует, — сказала бабушка-графиня.

— Коли вы ведро тратите, то нам за глаза достанет двух ведер в день, — поспешил сказать о себе хозяин.

Жильцы не хотели платить лишнего и нарочно уменьшали количество потребной воды.

Борис Петрович слушал эти споры, горько улыбаясь.

— Ну что ж, — сказал он, — я, признаюсь, чистоту люблю, в день умываюсь не один раз, и детям велю руки мыть почаще. Сочувствую вам, — обратился он к хозяину, улыбаясь. — Не пришлось бы вам немытому ходить из экономии... На меня запишите пять ведер.

Хозяин был доволен. «Интеллигенция» попала на его удочку, а от иронических замечаний царепин, как известно, не остается. Расход был расписан на всех жильцов.

Когда собрание разошлось, к Борису Петровичу подошел Никулочкин. Посмотрел на него молча, усмехнулся:

— Зря вы, Борис Петрович, беретесь покрывать расходы этого буржуя. Сыграл он на образованности вашей.

— Потребление воды свидетельствует об уровне культуры человека, — ответил ему отец и пошел к себе. Маша слышала, как рабочий, уходя в свою квартиру, бормотал с досадой:

— Благодетели нашлись... и кому! Чистоплюи.

Никулочкин очень нравился Маше. В воскресенье он всегда вместе со старшим сыном Славкой затевал во дворе какое-нибудь дело: выносил на двор доски, пилу, молоток, рубанок, мастерил табуретки, полку для книг. Однажды он развел песок с известью, замесил его, сделал

цемент и устроил вокруг своего крыльца твердую площадочку. Он месил сырой песок босыми ногами, закатав штаны по колено. Сильные ноги его двигались в лад, ритмично вымешивая каменное тесто, пока еще мягкое и податливое.

Маша стояла в стороне и смотрела. Славкин отец встряхивал головой, откидывая назад русский чуб, бросал в сторону шуточки и присловья, а ноги его продолжали свою работу. Не видно было, что он устает, только белая в голубую полоску ситцевая рубашка становилась ярче от проступавшего пота. Рукава были закатаны. На левой руке на кожаном ремешке сверкали часы.

— У вас часы! — сказала как-то Маша. В ее голосе звучало удивление и даже сомнение. Она знала, что часы вещь дорогая, они не у всех есть. У папы были часы, но ведь папа учил студентов в университете.

Никулочкин уловил в голосе девочки все эти нотки. Он посмотрел на неё с Досадой и бросил вслух неизвестно кому:

— Эх, интеллигенция!

Снова «интеллигенция»... Больше откладывать нельзя, надо спросить у папы. Выбрав минуту, Маша вечером обратилась к отцу:

— Что такое «интеллигенция»?

— Почему ты спрашиваешь, доченька? Тебе это трудно понять.

— Все говорят это слово. Расскажи, что это.

— Ты еще маленькая. Интеллигенция — это образованные люди.

— А сумасшедшая барыня кто?

Отец рассмеялся:

— Она не интеллигенция. Она бывшая буржуйка, как теперь говорят. Невежда. Вот твои отец и мать — это интеллигенция.

Объяснение было ясным, но оно не помогало понять всех тех оттенков, с которыми это слово произносили хозяин, Славкин отец и другие, не похожие друг на друга люди.

Папа был интеллигенция, но он плел на продажу корзины, ловил и продавал рыбу и раков. В день получки папа вынимал из портфеля большие листы денег — керенок. На каждом листе было напечатано штук двадцать одинаковых маленьких денежек по двадцать или сорок рублей. Полный портфель денег! Но эти листы никто не разрезал. Иногда Маше перепал целый такой лист — на ириски.

Глава шестая

«Боров» оказался прав: власть снова перешла к врагам Советов. Снова меняли флаги, а хороших людей расстреливали на Холодной горе. И даже ничего не зная Маша замечала, что с лица ее матери и отца не сходит выражение тревоги, настороженности, опасения.

В квартире, где жила Маша, взрослым всегда было тесно. Когда кто-нибудь приходил в гости, детей посылали погулять во дворе.

Сегодня после обеда к папе зашел его сослуживец по университету Леонард Антоныч. Но в открытые окна слышался стук дождя о железный подоконник, и Маша осталась дома.

Леонарда Антоныча Маша не любила, хотя он был очень добрый: всегда приносил ей и Ниночке по конфете в бумажках, называл их «деточки» и гладил по голове. Маша всегда увертывалась от его руки, а он снисходительно посмеивался, говоря: «ах ты, дичок!»

Наверно, Маша невзлюбила его потому, что и мама тоже его недолюбливала. При нем она никогда не разговаривала подолгу. Подаст чай и скажет: «ну, у меня тетрадки!». Сядет с краю за папин письменный стол и читает свои тетрадки, а на гостя не смотрит.

Конечно, Маша не могла понять, о чем беседует Леонард Антоныч с папой. Видно было,

что пришел он в отличном настроении, полный надежд, пришел и старался передать свое настроение папе. А папа отшучивался, не соглашался в чем-то и словно дразнил гостя.

— Петлюра просто бандит, улучшенный тип бандита, — торопливо говорил гость. — И притом — немецкий наймит, это же все знают. А генерал Деникин — истинно русский человек, идейный, а полководец, полководец какой! Он эти безобразия живо прекратил: украинские книги — вон, портрет Шевченко из городской управы — вон, пусть имеют в виду: здесь Россия, а не провинция немецкая.

— Русский... А мундиры на офицерах английские, а винтовки американские, — лениво, словно нехотя, возражал отец.

— Ну и что ж? Все средства хороши. Во имя высокого идеала...

— Идеал... Людей надо бы сбивать воедино, а их разрознили: русские, украинцы... Я русский и люблю свое, но мне ясно одно: национальная принадлежность еще не гарантия, что человек хороший.

Леонард Антоныч, гладко выбритый, с мягкими широкими щеками, с маленьким черным галстуком «бабочка», то и дело разводил руками, увещевал папу, говорил быстро-быстро, словно машинка, какими-то коротенькими словами, которые он нанизывал, как бублики на веревочку:

— Вот, вот, видите сами! Все врозь, разброд, анархия! А у него идея: единая, единая Россия. Крепкая власть, анархистов изгнать, стереть! Выдумали украинский язык — не было такого, не знаю! Испорченный русский.

Он трещал и трещал, а папа терпеливо слушал. Ниночку уже уложили. Маша пошла в кухню умываться перед сном, и только тогда Леонард Антоныч ушел.

— Зачем ты тратишь на него время! — возмутилась мама. — Что у тебя с ним общего?

— Ты, Анюта, диктатор. А я демократ: пусть говорит, надо все мнения знать... В спорах рождается истина.

— Это — грязный человек, я не хочу его больше видеть. Он скоро начнет тебе описывать красоты добровольческой армии.

— Но это не заставит меня вступить в нее. Мне монархические идеалы чужды, я мужик по рождению. Они — мои противники, если хочешь. И потом не забывай: армия их — добровольческая. По доброй воле. Так чего же ты боишься?

Она не знала, чего боится. Но боялась. В городе ходили слухи о том, что деникинцы, набрав достаточно добровольцев, насильно мобилизуют молодых мужчин. Никулочкин давно уже исчез из дому и жена на вопрос хозяина — где он? — отвечала: «А я знаю, где его чёрт носит?». Скрывался еще один сосед, опасаясь мобилизации.

Все это понимали, а вот Борис Петрович уперся на своем: нельзя быть необъективным, нельзя так чернить противника и верить слухам. Сказано — добровольческая, значит, так и есть. Он даже прямо говорил: «это красные приучают всех видеть в своих противниках негодяев и подлецов. Вот Петр Первый не такой был: шведов разбил и тут же пригласил их выпить вместе...»

Лили дожди. В воскресенье папа ездил на рыбалку. Вернулся домой совсем мокрый: на веревочке болтались продетые за жабры три окуня, щуренок и два подлещика. Папа кашлял. Он покорно улегся в постель, выпил чаю с малиной и заснул.

Назавтра он стал кашлять еще громче, температура у него поднялась. На доктора денег нехватало, мама надеялась вылечить домашними средствами.

Маша заглянула на улицу: из водосточных труб бежали потоки воды, из потоков получались ручьи. Маша сделала из бумаги маленький кораблик и пустила в ручей. Кораблик помчался среди бурунов и рифов, потом перевернулся на ходу, но продолжал свое буйное движение. Маша бежала за ним.

— Заходи к нам! — позвала ее Тамарка из открытой двери.

Дождь продолжал хлестать. Маша бросила кораблик и забежала в открытую дверь. Тамарка скучала одна. Ей хотелось похвалиться новой куклой с настоящими волосами. С настоящими? Маша никогда не видела таких кукол.

В квартире хозяина было много комнат. В первой, через которую они прошли, хозяин с двумя гостями закусывал за столом, заставленным вкусной едой. Маша посмотрела на гостей и подумала: не они ли недавно покупали у хозяина быков, и быки вытоптали сад? Нет, те мясники были в каракулевых шапках с красным дном, а здесь на столике в прихожей лежат две высоких фуражки с кокардами.

— Я их тогда продал по двадцати лимонов, — говорил хозяин, — а теперь каждый стоит не меньше тридцати лимончиков.

Маша про себя удивилась такой странной торговле: продал что-то не за деньги, а за фрукты. Ей было невдомек, что хозяин называл лимоном миллион, — деньги с каждым днем теряли цену.

Девочки прошли в соседнюю комнату, где в тумбочке хранились Тамаркины игрушки. Кукла с волосами была действительно хороша, ее можно было причесывать, заплетать ей косы.

Застольная беседа в соседней комнате между тем продолжалась, становилась всё громче. Хозяин часто подливал гостям из графинчика, внутри которого на дне торчал красный стеклянный петушок.

Выкрики и восклицания долетали до Машиных ушей, ей казалось, что вот сейчас гости подерутся с хозяином. Трудно было понять, чего они так спорят, чего хотят. Через открытую дверь видны были красные вспотевшие лица и заставленный стол, над которым медленно плыл папиросный дым.

— Ты харроший челаэк, Семен Трофимыч, — говорил хозяину один из гостей, затягиваясь папирсой. — Отчего бы тебе не пойти в нашу армию, а?

Он подталкивал в бок своего приятеля и оба разражались заливистым смехом.

— Староват уже... — отвечал не без робости хозяин. — Был бы моложе, пошел бы.

— Ты стар? Господь с тобою, Семен Трофимыч! Такие вот люди нам и нужны. Вот тогда мы Россию многострадальную из праха подыдем. Совсем не стар!

Хозяин старался перевести разговор на другие темы, сообщал гостям разные сведения о базарных ценах, об оптовых закупках.

— Мясо я вам какое поставил? — спрашивал хозяин, подкладывая гостям по ломтю бело-розовой ветчины. — И не дорого, и упитанность хорошая.

— Это верно: хоть ты и жулик, а мясо продал добротное, — говорил гость, который был постарше, поглаживая круглую, как кегельный шар, бритую голову. — Дак ведь кому продал? Освободителям России! — он икнул, налил себе рюмку из графинчика с красным петушком и выпил, не закусывая. — А сейчас мы к тебе наведались не за мясом. Хотя, как сказать...

Второй угодливо хихикнул, но сразу притих.

— Ты, Семен Трофимыч, человек умный, знаешь, что ружья сами не стреляют, если солдат нет. Одежку, да ружьишки дал нам дядя Сам, а солдатиков, говорит, добывай сам... Офицеры у нас отличные, такую школу прошли, что любо-дорого. А солдат маловато. Плохо откликаются ваши граждане.

Офицер помолчал.

— Да-а... Дак вот: ты отвечаешь за то, чтоб из твоего дома тоже был доброволец. Прячешь народ? Разве б они сами спрятались, если б ты не помогал?

— Помилуйте, господин ротмистр... Доискивался я, спрашивал: никто не знает, куда подевались.

— А нам дела нет: чтоб был доброволец. Иначе разговор короткий: вызовут в контрразведку, вьюном завьешься. Саботажники красные!

Голоса хозяина не было слышно так долго, что Маша подумала: а не умер ли он от страха? Но он не умер, и разговор вскоре снова продолжился в том же духе. Маше стало скучно и противно, и она убежала домой.

Несколько дней спустя няня вернулась с базара, взволнованная и растерянная:

— Вчера на Змиевской деникинцы обходили дом, мобилизацию проводили. Один отказался, он на телеграфе служил, такой обходительный, а офицер его тут же из нагана. Застрелил на месте, при маленьких детях. Жены не было дома, ходила на водокачку за водой. Ужас какой!

— Бросьте, Татьяна Дмитриевна, сплетни собирать, — раздался слабый голос отца. Он лежал уже пятый день, задыхаясь от кашля.

— Да если б это сплетни были, Борис Петрович! Наша хозяйка мне сегодня тоже рассказывала: расстреляли двоих за отказ идти добровольцами. Говорит, к Семену Трофимовичу подбираются...

— Семен Трофимыч им тут нужен. За него можете не беспокоиться, — ответил Борис Петрович, натягивая одеяло под подбородок.

К вечеру его стало знобить, температура поднялась до тридцати девяти.

Досыта набегавшись за день по дождевым лужам, Маша заснула мгновенно, пригревшись под теплым одеялом.

Кто-то стал тормошить ее, расталкивать, приподымая одеяло. Она не сразу поняла, что это была няня. Вытирая слёзы, няня говорила:

— Иди, попрощайся с папочкой.

— Зачем?

— Кто знает, увидишься ли когда.

В длинной ночной рубашонке, босиком, Маша подошла к постели отца: он не лежал, а сидел, одетый и обутый. Маша дотронулась до его рук — они были очень горячими.

— Куда ты, папа? Ты же больной... — сказала Маша, ничего не понимая. Возле стола стояли двое незнакомых людей. Нет, знакомых, — Маша узнала их: они были в гостях у хозяина, когда Тамарка показывала куклу с волосами.

— Я скоро вернусь, доченька, — сказал папа и попробовал встать. Но он был очень слаб.

— У нас носилочки... Носилочки с собой имеются. Машина же лазаретная, скорая помощь. И не опомнитесь, как мы вас на ноги поставим, — говорил офицер с узенькими бачками.

— Недоразумение это... — бормотал отец.

— Это у вас от болезни, нерешительность и прочее. Вылечим, и сомнения пройдут. Ну, прощайтесь, господа, не вы одни...

— Испечь ничего не успели на дорогу, боже мой, — бормотала няня.

За окном загудела санитарная машина, кто-то крикнул, и всё стихло. Через минуту в комнату возвратилась с улицы мама. Она вся была мокрая от дождя. Но лицо ее не высохло и в комнате — мама плакала, не стесняясь детей и няни. Она села на отцову кровать, притянула к себе ревущую Машу и стала тихо гладить ее по голове.

И тогда, прижавшись к матери, Маша впервые заметила, что живот у мамы стал необычайно круглый и крепкий.

Отныне в доме поселилась тревога. Известий от папы не было. Знали, что был он положен в вагон-лазарет и что поезд пошел на юг. Знали, что по обе стороны фронта вспыхнула эпидемия тифа.

Мама приходила поздно к вечеру. Она работала не только в школе, но и в детдоме,

сбивалась с ног, и всё же никак не могла обеспечить семью. Жили впроголодь. Выручала няня: она вязала из веревок туфли и продавала их на рынке, собирала у железнодорожной станции осыпь угля, приносила домой, — другого топлива не было. Анна Васильевна аккуратно выдавала ей жалованье, но няня расходовала его на общие нужды. «Пройдут лихие времена, тогда и сведем счеты», — говорила она.

Однажды вечером маму заждались, а она всё не шла. Няня уложила детей, скрывая тревогу, как вдруг постучали. Но это была не мама, — в дверях стояла старушка в куцой жакетке, из-под которой торчал белый больничный халат.

— Сын родился у вашей хозяйки, просила сообщить, что всё благополучно. Мальчик весит двенадцать фунтов. Принесите ей завтра хлебца, а то в больнице плохо кормят. Она туда прямо с урока попала, из школы.

— Братик у вас родился, дай бог здоровья ему и маме, — сказала няня Маше и Ниночке и перекрестилась. Они ничего не поняли.

— А где мама?

— В больнице.

— Она заболела?

— Я же говорю, братик родился.

Трудно понять этих взрослых...

Мама вернулась домой спустя несколько дней. Она принесла завернутого в одеяльце ребеночка. Его раскрыли, стали перепеленывать. Маша с изумлением уставилась на незнакомого малыша.

— Это наш мальчик, — говорила мама, — твой родной брат. Его зовут Сева. Папа давно хотел сыночка, — вот я и принесла вам...

При упоминании о папе она вытерла слёзы.

Братика положили в широкую плетеную корзинку, и он лежал там, спеленутый, на самом дне. Днем мама, прибежала домой. Она скидывала пальто, и на блузке внезапно возникали два мокрых пятнышка. Мама кормила мальчика и снова убегала, тоненькая, похудевшая, быстрая.

— Пропали бы мы все, если б не мама, — часто говорила няня, принося с маминой службы мешочки с мукой и пшеном.

Ниночка стала сильно кашлять, ее уложили в постель. Следовало вызвать врача, но денег было в обрез. Дешевле было сходить к доктору домой. В одно из воскресений мама натянула Ниночке шерстяные чулки, надела ей шубку, закутала, завернула в одеяло и понесла к врачу. Ниночка была еле видна из теплых тряпок, — она напоминала только что вылупившегося из яйца, еще сырого цыпленка, сунутого в вату.

Когда вернулись от врача, Ниночка кашляла сильнее прежнего. У нее оказалось воспаление легких. Доктор дал горькое лекарство, и Ниночка плакала, не желая глотать его.

Мама насыпала горький порошок внутрь вынутой из варенья сливы и подала ее больной на чайной ложке.

— Не хочу, горько, — плакала Ниночка, а мама жалобно просила:

— Ну, девочка, ну, милая, проглоти...

Ниночка крепко сжимала рот, ложка стучала о ее маленькие зубки, а мама упрашивала:

— Ну один только раз... Ну проглоти, сокровище ты мое родное. Ну мама тебя просит.

Маша смотрела и сердилась на больную сестру: неужели ей так трудно проглотить лекарство? Только маму расстраивает.

Это было вечером. На следующее утро Ниночка не капризничала. Она позволила сунуть себе в рот ложку со сливой, в которой было спрятано горькое лекарство. Запила водой и вытянулась на своей бамбуковой кровати.

Долго она лежала так с широко открытыми глазами.

— Позабавь сестренку, покажи ей театр, — сказала мама Маше.

Маша расправила одеяло на груди у Ниночки и аккуратно поставила там свои картонные коробки.

— Это Красная Шапочка, это лес... — начала Маша. И замолчала. Ниночка не следила глазами за театром, но и не закрывала их. Она недвижно уставилась куда-то вперед.

Стало тихо. Няня вышла из кухни, посмотрела на Ниночку и сняла картонный театр с одеяла. Подошла и мама. Все стали около кровати и молча смотрели на притихшего ребенка.

Девочка лежала неподвижно, верхняя вздернутая губка чуть-чуть запеклась. Маша не смела никого спросить, но понимала: происходит что-то необыкновенное.

Мама стала на колени перед Кроватью, положила голову на одеяло возле белых Ниночкиных рук и заплакала. Маша мучительно озиралась, ища объяснений.

— Умерла твоя сестричка, — тихо сказала ей няня и увела на кухню, чтобы мама могла поплакать одна.

Маше всё объяснили: Ниночка больше не встанет. Завтра ее закопают в землю. Нину взял боженька.

— Как — взял, его же в комнате не было? — спрашивала Маша, а няня повторяла свое:

— Боженька взял. Вон он в углу, на иконе, видишь? Теперь Ниночка будет ангелочком.

Ночью Маше приснилось, что за иконой дверца, Ниночка открыла ее и весело зовет Машу:

— Идем со мной вместе к боженьке?

Маша пробует пролезть в икону, но ей тесно, дверца мала. И она удивляется: как же Нина пролезла? Тут, пожалуй, только братику впору.

На кладбище Машу не взяли, чтобы не простудилась, — шел проливной дождь. Няня тоже осталась дома, она стряпала на кухне, что-то пекла, наварила перловой каши, — где только крупы достала!

Потом все вернулись с кладбища и сели кушать, и свои, и родственники, и знакомые. Мама отозвала Машу в темную комнату и попросила:

— Пожалуйста, Маша, не проси ничего за столом. Что можно, то тебе дадут. А просить неприлично.

Маша не просила. Она съела положенные ей на тарелку четыре картошки, чайную ложку вареной перловки и кусочек ржаной перепечки и молча сидела голодная. Просить неприлично. Просто разговаривать и задавать вопросы — можно.

Маша посмотрела на тетю Наташу, которая кушала кашу с большой тарелки, и спросила:

— А вкусно?

Тетя Наташа покраснела и ответила:

— Вкусно... Разве ты не ела?

— Ела, — печально ответила Маша.

Она не понимала: зачем мама назвала столько гостей, когда ничего веселого нет? Ниночку похоронили, а все сидят и чавкают, будто обрадовались.

Когда гости ушли, Маша хотела расспросить маму обо всем, но мама взяла на руки Севочку и так задумалась, что ее невозможно было побеспокоить. Маша прикорнула рядом, и они уснули на маминой постели все трое.

Глава седьмая

Для Маши тетя Зоя была всего лишь веселой молоденькой теткой, умевшей хорошо клеить елочные игрушки. Для Машиных мамы и папы. Зоя была хорошенькой, не очень осторожной

девушкой, любившей испытывать терпение своих поклонников. И Зоя несколько не торопилась переубедить в этом своих родных.

Но на самом деле жизнь тети Зои была интереснее и сложнее.

Страшный мир грохотал за окном, рассыпался выстрелами по сонным улицам, тревожил криками жертв, уводимых по ночам в контрразведку.

Деникинская контрразведка помещалась в огромной гостинице «Палас» возле Благовещенского базара. В нижних этажах разместились кабинеты следователей и прокурора, канцелярия, а также квартиры некоторых офицеров контрразведки. Арестованных держали в пустых комнатах пятого этажа, откуда вызывали на допрос. Самые непокорные, не желавшие отвечать на допросах, отправлялись под конвоем в украшенном зеркалами лифте на чердак, в комнаты пыток.

Арестованных не кормили, и люди питались только передачами родственников, делились друг с другом. Дорога отсюда вела либо в тюрьму, либо в подвалы гостиницы. Окна этих подвалов, завешанные белыми полотняными шторками, были хорошо видны из окон пятого этажа с противоположной стороны двора. Ночью на белых шторках, освещенных изнутри светом керосиновых ламп, мелькали несуразные тени. Слышались приглушенные хлопки выстрелов, а потом во двор «Паласа» въезжала карета «Скорой помощи», в которую складывали трупы расстрелянных.

Подвалы контрразведки, забрызганные человеческой кровью, вселяли страх в обывателей. В жестокости деникинцы превзошли германских оккупантов. И всё же коммунисты продолжали борьбу, собирали силы, помогали народу узнавать о положении дел на фронтах, о героических буднях Советской России.

Тетя Зоя стала работать в Красном Кресте. Собирала деньги в помощь заключенным, посещала с другими женщинами тюрьмы. Чаще всего ей приходилось бывать в тюрьме на Холодной горе, — волею обстоятельств эта тюрьма была знакома ей с детства.

После событий пятого года, когда Зоя была маленькой, соседка по дому Настасья Ильинична часто обращалась к Зоиной маме: «Позвольте, я возьму ее с собой на прогулку». Ей, конечно, позволяли, не подозревая, куда пойдет соседка гулять. Дома Настасья Ильинична проверяла, хорошо ли надеты у Зои носочки и туфельки, а потом ехала с ней на Холодную гору.

Свиданья с заключенными не были разрешены взрослым, но маленьких детей пропускали в пристройку у самых ворот тюрьмы, где находилась комната свиданий. Зоя была общительным, не пугливым ребенком. Войдя в первый раз за железную дверь, она с любопытством огляделась вокруг: она не знала, к кому привел ее надзиратель. Соседка сказала — «к дяде», но дядей тут было несколько.

«Дядя» нашел ее сам. Он был черноусый, молодой и, наверно, веселый. Он подошел к ней, взял ее за маленькие ручки и сказал: «Вот ко мне Зоинька пришла. Умница маленькая!» Потом взял ее на руки и сел с ней на деревянную скамейку.

— А теперь мы посмотрим, не жмут ли нашей Зоиньке туфельки, — сказал он и быстро расстегнул пуговку на левой туфле. Потом сдернул полосатенький носочек, быстро вынул оттуда записку, спрятал в карман и надел носочек и туфельку снова.

— Посмотри, Зочка, какие у нас ложки! — сказал дядя, сунув ей чисто вымытую деревянную ложку. Пока Зоя рассматривала ложку, красивую, разрисованную цветочками, — дядя черкнул несколько строк на бумажке от конфеты.

— А теперь посмотрим, не жмет ли правый башмачок, — сказал он и незаметно сунул записку в носочек. Зоя это, конечно, заметила, но она подумала, что это такая игра. Она была довольна, и когда дядя проводил ее к двери и сказал «до свиданья», она ответила «до свиданья, дядечка!» и поцеловала его в колючую щеку.

На улице ее встретила соседка, поспешно возвратилась с ней домой и торопливо переобула Зою, отыскав записку с ответом.

Если бы Зоя была постарше, она задумалась бы: кого навешает соседка в тюрьме, если муж ее, рабочий пивоваренного завода, дома, а других родных у нее нет? Но Зоя была мала, и эти неудобные вопросы не лезли ей в голову. Понемногу девочка заслужила любовь соседки. Она росла, училась в гимназии и продолжала бывать у Настасьи Ильиничны, подолгу беседуя с ней вечерами.

От Настасьи Ильиничны она узнала имя черноусого дяди, развлекавшего ее в тюрьме деревянной ложкой. Его называли Артем. Он был ученик Ленина, организатор первой большевистской группы в Харькове.

Уже взрослою девушкой Зоя часто навещалась вечерами к Настасье Ильиничне. Много услышала она об Артеме. В горячем девятьсот пятом году Настасья Ильинична была с мужем в Народном доме, на лекции томского профессора Кузьмина «О положении рабочих в Америке». Лекцию организовал Артем. Пришло до двух тысяч рабочих. Полицию вывели из зала, Артем выступил с речью, и начался сбор средств на вооруженное восстание.

— Большого ума товарищ, — рассказывала об Артеме Настасья Ильинична. — Как он жандармов обдуривал! На Сабуровой даче, в психиатрической лечебнице склад оружия устроил. За его голову или хотя бы за указание его адреса жандармы назначили полторы тысячи рублей — это в мирное время! Деньги! А не помогло им. То он у буйных в больнице прячется, то поваром переоденется, уйдет. Один раз в гробу вынесли из Сабуровой дачи... Я там судомойкой работала, очень его люди любили, уборщицы, и санитары, все.

Сидел и в тюрьмах, был и в сибирской ссылке. С пятью рублями в кармане, без паспорта, бежал из-под Иркутска. Но не на запад — там беглых на пути ловили, а на восток. Тысячи верст по тайге прошел пешком, побывал в Китае, в Японии, в Австралии. А после Февральской революции вернулся на родину. Ленин его в Питер вызывал накануне Октября, считал надёжным человеком.

— Необыкновенный человек он! — восклицает Зоя. — Не всякому это дано.

— Вот и не так. Он сам воспитал в себе эти качества: сознание — раз, и дисциплину — два. Знаешь, как Артем рассуждает? У нас одного товарища посылали на трудный участок, а он давай торговаться, где бы полегче. Артем и скажи ему: «С партией торговаться нечего. Если завтра пошлют меня волостным инструктором в самый глухой уезд, я торговаться не буду. Поеду и с обычной энергией возьмусь за работу. На этом наша партия держится. А на дисциплине да на организованности нашей партии держится наша революция». Вот он какой.

— Как-то он сейчас?

— Ничего не знаю. При отступлении от Харькова на Ворожбу заболел тифом. Сейчас всюду тиф. Слышала я, будто в Москву его отправили больного. Жив ли, нет — не знаю.

У Настасьи Ильиничны Зоя читала подпольные большевистские газеты. Зайдя однажды к старшей сестре, Зоя принесла отпечатанный на небольшом листке номер большевистской газеты «Дело революции», взятый у соседки.

На письменном столе горела керосиновая лампа под стеклянным зеленым абажуром. Стопка ученических тетрадок лежала справа, а слева — две пары рыжих детских чулок и моточек ниток.

Анна Васильевна читала «Дело революции», Зоя посматривала на сестру, размышляла.

— Насколько я понимаю, наши ударили из Воронежа на Ростов, — сказала Анна Васильевна. — Еще немного, и будем ждать их в Харькове.

— А Деникин уже рассыпается: наши его лупят, и Махно, — сказала Зоя. — Скорей бы раздавить его. Не могу забыть подружку свою Надю: они не позволили даже похоронить ее по-

человечески. Еще бы: большевичка. Я в отчаянии была: арестовывают весь состав ревкома. Мы избираем новый ревком — его снова хватают. Мы избираем третий состав ревкома — и этот арестовывают. Кто-то продает, кто-то из своих, но кто? Такие все славные товарищи с виду... Кому верить? Но у нас не все молокососы, вроде меня, есть и стреляные воробьи. Нашли провокатора, выследили — он с деникинскими контрразведчиками на одной частной квартире встречался, дали ему выйти оттуда, а потом отвезли в надежное место. Признался, гадюка: завербован провокатором, всё равно, мол, воздушные замки строим, а люди мучаются. И ты понимаешь, с виду-то, с виду он вполне симпатичный. Красивенький, в украинской вышитой рубашке, ну, как узнаешь? Вот какие люди есть.

— А те... а члены ревкома, что? Живы, или...

— Они все расстреляны, Аня, — ответила Зоя, хмуря лоб и задерживая подступавшие к горлу слёзы. — Нету их больше. Будем их помнить. Люди были, не то, что эта падаль в вышитой рубашечке. За нас погибли, за народ.

Она умолкла. В комнате стало тихо. Тишина длилась несколько минут. Потом Зоя спросила:

— От Бориса у тебя есть что-нибудь?

— Борис жив. Больше ничего не знаю о нем. Понимаешь, странная история: вчера к Татьяне Дмитриевне на базаре подошел какой-то оборванный тип и спросил: «Вы у Лозы живете, кажется?» Она говорит — «да». Тогда он и сказал ей: «Хозяин ваш жив, два тифа перенес, послал со мною письмо, но я его вместе с другими письмами должен был выбросить, в такой переплет попал».

— И больше ничего?

— Больше ничего. Он сразу ушел, не дал слова опросить. Может из части бежал?

Зоя задумалась.

— Какие же он письма нес, что пришлось выбросить? Тут же кругом белые. Значит, опасные с точки зрения белых? Значит...

— Зоя, — Анна Васильевна взяла младшую сестренку за руки и заглянула ей в глаза, — Зоя, я так мучаюсь... И поговорить не с кем. Что, если он... Что, если они его уломали? Ведь это гибель, Зоя! Нравственная гибель. Но не может быть! Он ведь очень честен, правда, мягок чересчур, но честен. Неужто они сумели обмануть его, втянуть в свое вонючее болото!

— Не знаю, — сказала Зоя. — Борис честен, но сейчас мало быть совестливым. Среди белых есть и убежденные, — да разве это их оправдает когда-нибудь? На революцию руку подняли. А главное, ты пойми, — они наемники: их заграница содержит.

— Зоя, мне бывает минутами так страшно, я сама себя терзаю. Я спрашиваю себя: а что, если у тебя был бы один выбор — или он жив, но пошел с белыми, или он погиб, но не пошел за ними? Что скажу я детям? Нет, не мог он пойти с ними! Хоть бы узнать что-нибудь!

Зое жаль сестру. Двое детей, кругом ужасы, голод, расстрелы. И муж — такой недотёпа. Предупреждали его во-время, — размазня, кисель! Спрятался бы за городом где-нибудь, переждал бы опасность.

Зоя вспоминает: Борис спас ее от немцев. Борис отдаст последнее, если надо выручить кого-нибудь. И он же, этот самый Борис, не понимает железного закона революции: нет места между двух стульев, кто не с нами, тот против нас. А он ищет места где-то над всеми, над белыми и красными...

— Будем надеяться, Анечка, — говорит Зоя, не находя других подходящих слов, — Еще я хотела серьезно поговорить с тобой. К тебе есть просьба...

— Какая, Зочка?

— Аня, я тебе чрезвычайно доверяю. И не я одна. Хотя ты и написала тогда в анкете в графе

о политических взглядах «аполитична», но держишь ты себя определенно. Ты думаешь, — власть белых, так и замерло всё? И тут, в Харькове, кипит борьба. Всё зачтено будет. Но рассказывать я тебе ничего не стану. К тебе просьба есть, и она означает, что тебе доверяют...

— В чем просьба-то?

— Может, это и не потребуется. Но если придется... Завтра или послезавтра вечером к тебе постучат и скажут — от Зои Васильевны. Впусти, ничего не спрашивай, дай человеку переждать ночь у вас. Это очень хороший человек, Аня. Его будут искать, но к вам не зайдут — ведь твой муж доброволец, белый...

Анна Васильевна горько насупилась.

— Ты не обижайся, речь о деле идет. Ты сможешь?

— Сделаю, как надо, — отвечает Анна Васильевна, разглядывая сестренку. И когда она успела стать такой? Кто бы подумал!

А Зоя встает, набрасывает старенькое пальто, перешитое из маминого, целует сестру в губы и уходит тихо-тихо, даже не скрипнув дверью.

Назавтра вечером Анна Васильевна долго не ложится спать, ждет стука. Но никто не стучит в дверь. Вот уже полночь, первый час. Наконец, Анна Васильевна засыпает.

Следующий вечер тоже проходит тревожно. Дети давно уснули. Десять часов, одиннадцать...

Кажется, Анна Васильевна начинает понимать: наверно, это ее просто испытывали. Не Зоя одна, а ее товарищи. Хотели узнать, что она ответит. Ну что же, она ответила, как сердце подсказало.

Одиннадцать тридцать. Анна Васильевна пододвигает лампу поближе к краю стола, чтобы почитать, лежа в кровати. Расстегивает пуговицы домашнего халата.

В дверь негромко стучат.

Анна Васильевна быстро поправляет одежду и идет открыть. «От Зои Васильевны» — говорят за дверью. Ключ поворачивается в замке, входит человек в брезентовом плаще. Плащ сухой — дождя сегодня нет. Черные глаза, черные подстриженные усы.

Гость проходит кухню, где крепко спит няня, входит в комнату. Анна Васильевна, ничего не говоря, начинает стелить ему на самодельном диванчике.

— Ничего не надо, спасибо, — говорит незнакомец. — Я лягу на полу у двери. Нет, подушки не надо. Ничего не стелите.

Анна Васильевна удивлена, но выражать свое удивление не решается. Гость садится на полу спиной к ее постели, перебирая что-то в карманах.

Севочка начинает вертеться в своей корзинке, — Анна Васильевна меняет ему пеленки, кормит грудью и кладет обратно. Потом прикручивает лампу и прямо в халате ложится спать.

Заснуть ей так и не удастся. В квартире Никулочкина, за стеной, начинает кричать годовалый ребенок. Вслед за его плачем раздаются громкие мужские голоса, — кто бы это мог быть, ведь самого Никулочкина нет дома вот уже второй месяц?

Анна Васильевна прислушивается. Лампа погашена, но в темноте всё же видно, что и гость настороже, не спит. Шум не стихает. Тогда Анна Васильевна сует ноги в шлепанцы и тихо проходит на галерею, к наружной двери.

Во дворе — громкие голоса. Хозяин водит каких-то людей по всем квартирам.

— Пятая, четвертая, третья... — отмечает чей-то незнакомый голос. — Теперь идемте во вторую.

— Во второй свои, — говорит хозяин. — Добровольца семья. — Хозяину важно подчеркнуть, что из его дома кто-то пошел в добровольческую армию.

Но человек с незнакомым голосом уже постучал. Замирая от страха, Анна Васильевна

подходит поближе к двери.

— Кто тут?

— Не бойтесь, госпожа Лоза, откройте. Это для порядка, тут красного ищут, — слышится голос хозяина.

«Боже мой, хотя бы тот человек сообразил спрятаться в темную комнату», — в отчаянии думает женщина. Но вслед за чувством ужаса откуда-то приходит решимость. Она поворачивает ключ.

— Что случилось? Такой крик, чуть ребенка не разбудили, — сердито говорит она хозяину, будто не замечая двух офицеров с кокардами на фуражках и сопровождающих их солдат.

— Извиняемся, Анна Васильевна, — для порядка. Никого нет у вас?

— Я мужа отдала — разве мало? А сын пока еще грудной, — говорит она заносчиво, глядя прямо в глаза офицеру.

— Извините, мадам... Дело военное. Идемте в первую, — говорит офицер остальным.

— Я ж говорил, — тут интеллигентные люди живут, свои, — бормочет хозяин.

Анне Васильевне становится жарко, точно она окунула лицо в ведро с горячей водой. Эта сволочь говорит о ней: «свои!». А она молчит, будто бы согласна, будто так и надо...

Дверь заперта на два поворота ключа. Незнакомый гость стоит в темной комнате у окна.

— Они пошли в соседнюю квартиру. Спите, сюда уже не придут, — говорит Анна Васильевна.

Он молча ложится на пол, не раздеваясь, не подстлав ничего. В пять часов утра он встает и говорит ей вполголоса:

— Ухожу, спасибо вам. Закройте за мной.

Ключ громко щелкает в ночной тишине. Человек уходит, но направляется не к воротам. Он приглядел себе другой путь, когда шел сюда. Ловко и бесшумно взбирается он на забор рядом с дровяным сараем, легко прыгает на ту сторону. Сквозь стекла галерейки Анна Васильевна смотрит ему вслед: кто он, этот человек, которого она спрятала от белых?

Но спросить пока некого.

Глава восьмая

— Ты уже большая, Маша, пора тебе учиться читать.

— А я читаю!

Маша берет детскую книжку с широкими страницами — «Крокодил» Чуковского — и начинает на память: «Жил да был крокодил, он по Невскому ходил...»

— Ты выучила, это хорошо, но надо читать. Слова состоят из буквочек, их надо запомнить. Вот «ж-и-л д-а б-ы-л». Ж похоже на жука, и — на забор, эл — на крышу...

Интересная новая игра! Маша с любопытством растягивает слова заученной сказки, как бы разделяя их на буквы. А вон еще ж — старая знакомая! А вон — л, и еще л! А эта кругленькая — о!

Оказывается, учиться читать легко. Правда, незнакомую книжку читать много труднее, там надо вспоминать, что какая буквица значит. Но запомнить все буквы не так-то уж трудно. А главное — интересно: можно никого не просить, самому взять и прочесть любую книгу.

— А теперь сама напиши... нарисуй эти буквы. Вот смотри: «мама!» А если заменить одну букву, будет «Маша». А вот «папа», «брат», «няня».

Мама дает ей карандаш и Маша срисовывает на листке слова, написанные мамой. И всё получается! Правда, у мамы карандаш рисует всё стройненько, пряменько. Буквы — словно отутюженные. А Машу карандаш не слушается: одно м выходит высокое, горбатое, а другое м —

коротышка. У буквы и ноги разъехались в разные стороны. Но всё-таки, понять можно. Это же волшебство: не видя человека, написать ему, а он посмотрит на бумажку и узнает твои мысли...

— Я писать научилась!

Маше невтерпёж — хочется похвастаться. Она вынесла листок с карандашом во двор. Малыши смотрят на листок с изумлением.

— Ну и каракатицы твои буквы!

Это подошел Виктор:

— Дай-ка мне карандаш, я подправлю.

Виктор пририсовывает буквам кривые ноги, руки с растопыренными пальцами, головы в виде кружочка на палочке. Буквы стали маленькими чёртиками, уродцами.

— Отдай карандаш! — кричит Маша Виктору. — Отдай, дурак!

Но он дразнит девочку, подымает листок высоко, заставляет ее подпрыгивать и ловить. Он хохочет, раздувая ноздри, щуря от смеха свои и без того маленькие глаза.

Виктор очень любит дразнить Машу — и что она ему сделала! То отнимет фантики — конфетные бумажки, то дернет ее за белокурый хохолок, то ущипнет. К другим малышам он не пристаёт, а Машу мучает то и дело.

Из Машиной грамоты Виктор сделал себе новое развлечение: он брал кусочек мела, писал на заборе крупными прописными буквами разные непристойные слова и просил ее прочесть. Она догадывалась, что здесь кроется подвох, и вслух не читала. Чтобы не попасть впросак, она бегала на кухню к няне и спрашивала, что означает такое-то и такое-то слово. Няня приходила в ужас, бранила Машу и запрещала произносить эти нехорошие слова.

Иногда Виктор выходил во двор в необычайном виде. Надевал клетчатую рубаху и повязывал зеленый галстук. В таком виде он называл себя бойскаутом, задирал повыше свой подбородок, а «пузатую мелочь» презирал. Что такое «бойскаут» Маша не знала. Она была довольна уже тем, что Виктор не дразнил ее и не мучил.

С грамотой Маше открылся огромный новый мир, всё переменилось. Лето и осень, зиму и весну она запоминала по тому, какие книжки прочла, что нового успела узнать. Мать научила ее читать, но руководить чтением ребенка ей было некогда. Детские книжки были прочитаны по многу раз, но они только раздражали интерес. В ответ на настойчивые Машины просьбы мама указала ей: «Вот с этой полки книги можно брать, с этих нельзя». Полка, с которой разрешалось брать книги, была тоже не малым богатством: здесь были рассказы о природе, стихи Жуковского, повести Пушкина, серия тоненьких книжек-очерков с общим названием: «Младшие братья в семье народов». На обложках этих книжек были нарисованы папуасы, австралийцы, индейцы.

Очень понравились повести Пушкина: интересные случаи бывают на свете! Дочитав до конца «Барышню-крестьянку», Маша пришла в восторг: ну, наконец-то всё выяснилось, разобрались теперь, кто кого любит! Последняя сцена, когда Лиза читает письмо Алексея, а он входит в комнату, особенно понравилась Маше. Перечитав ее дважды, Маша побежала к няне на кухню.

Няня готовила свеклу к борщу. Она очистила кожуру и на деревянной доске резала свеклу на тонкие красные палочки. Рядом на табуретке сидела соседка, бабушка из седьмого номера. Они говорили о ценах и о том, что торговки на базаре сходят с ума.

— Няня, послушай, как хорошо написано! — сказала Маша, доверчиво подойдя к Татьяне Дмитриевне. — Вот я тебе почитаю...

Няня и бабушка из седьмого номера слушали, подымая брови всё выше, и переглядывались. При словах «Акулина, друг мой, Акулина!» — бабушка из седьмого номера покачала головой. Когда Маша кончила и подняла глаза к взрослым женщинам, они насупились, а бабушка из

седьмого сказала няне:

— Вы бы присматривали за ней получше... Конечно, матери некогда, а улица — это улица. Маша была уязвлена. Морща лоб, она смотрела выжидающе на няню: что она скажет?

Няня хмурилась. Теперь ей нельзя было отстать от соседки.

— Лучше брата позабавь, чем всякие глупости читать, — сказала она сердито.

В сердце Маши закралась тоска: ну почему, почему они смотрели так осуждающе, эти две пожилые тетки? Ведь хорошо написано, и про хорошее: путаница разъяснилась, люди счастливы, — за них хочется порадоваться... Это глупости? А что же не глупости?

— Ты бы «Новый завет» почитала, — сказала ей как-то няня и сунула книжонку, опечатанную на дешевой сероватой бумаге. Книжка была с картинками. В ней рассказывались разные истории про Марию, про Иисуса Христа. Маша прочитала ее всю, от начала до конца, и не увидела, чем же она лучше «Барышни-крестьянки». В ней тоже было написано про любовь, только похуже.

Среди Машиных драгоценностей хранился удивительный красно-синий карандаш, подаренный папой. Этим карандашом Маша раскрашивала всё; что попадалось под руки. «Новый завет» особенно нуждался в этом — картинки в нем были серые. Маша принялась украшать книгу. Христа выкрасила в синий цвет, осла в красный, волхвов тоже в красный. Она с упоением раскрашивала, пока карандаш не затупился с обеих сторон. Но стоило попросить у няни ножик, чтобы заточить карандаш, как на Машу посыпались упреки. Няня выхватила «Новый завет», сунула его себе под подушку, и долго бранила Машу неизвестно за что, потому что книга от раскраски стала лучше, нарядней.

Теперь, когда девочка хватала с полки всё подряд и читала, подчас не понимая, у нее стали зарождаться один за другим мучительные вопросы: как? почему? откуда?

— Няня, откуда всё взялось? — спрашивала она десятый раз об одном и том же.

— Отстань, я занята, — отвечала няня.

— Откуда всё взялось? — спросила Маша вечером маму, когда она вернулась из своего детдома.

— Ты еще мала, тебе рано об этом знать, не поймешь, — ответила мама и занялась своими делами.

Но разве этот вопрос выйдет из головы! Утром Маша снова пристала к няне?

— Откуда всё взялось, — ну, люди, земля, небо? Скажи, откуда?

— Есть книга, где всё это сказано, — ответила няня. — Но ее для баловства не читают. Это священная книга. В ней про всё говорится.

— Дай, нянечка, я почитаю!

Няня измерила ее глазами. Перед ней стояла худенькая девочка в ситцевом платье, из которого уже выросла, с беленькими растрепанными волосами. И чего ей надо? Другие играют себе в куклы и никакого беспокойства от них нет, а этой то скажи, другое скажи...

Няня открыла свой сундук. Там лежали таинственные старинные вещи: золотого цвета шелковая нижняя юбка, которая шуршала и коробилась, как тонкая жесть; вышедшая из моды соломенная шляпка со страусовым пером; старое лиловое шелковое платье немыслимой длины. Эти вещи няне подарили у прежних хозяев, фабрикантов Больц, где она жила до того, как пришла к Анне Васильевне.

Среди старых вещей мелькнула крупная фотография девушки.

— А это доченька моя, Маргариточка, — сказала няня, стоя возле сундука на коленях и проводя рукой по фотографии, словно смахивала пыль. Она взяла портрет в обе руки и долго смотрела на него, пока на фотографию не упала крупная слеза:

— Умерла Маргариточка. А она способная была. Угодила я Больцам, жалели меня, и мою

Маргариту в гимназию определили. Бывало, задачи решать — так их дочка сидит-сидит, ничего решить не может. Зовут Маргариту мою: она вмиг. Она ихней дочери помогала учиться. Известно: способности у человека не от достатка, они от природы, от бога. Если б меня учили маленькую, я б давно доктором была.

— А почему тебя не учили?

— А я сирота была, деревенская... Всё по чужим людям, в няньках. Потом выросла. И увез меня брат Христиана Ивановича Больца, Маргариточкин папа... Он лесничий был. Красивый, образованный, — она вся в него, портрет. Потом...

Няня опасливо смотрит на Машу — не задаст ли она какого-нибудь щекотливого вопроса? Ведь не венчался с ней брат Христиана Ивановича. Увез к себе на месяц, а потом жена Христиана Ивановича в прислуги ее взяла.

— А потом родилась Маргариточка... И служила я у Больцов. Счастье выпало мне, выросла дочка умницей, да вот — простудилась... А болеть ей дома не разрешила хозяйка. Взяла я извозчика, отвезла в больницу, а больница плохая, сестры невнимательные. Сквозняки устраивали, застудили. Умерла Маргариточка. И с тех пор я от Больцов ушла.

Няня говорит, а сама всматривается в карточку так напряженно, будто верит: вот так впейся взглядом в фотографию, — и оживет она, улыбнется или хоть мигнет разок. Всё бы легче.

— Вот эта книга. Библия.

Няня достает с самого дна сундучка толстую книгу. Она без картинок, ну да неважно: зато в ней сказано, откуда что взялось.

— Почитаешь и отдашь мне. Руки вымой прежде.

И вот Маша открывает первую страницу: «Вначале было слово и слово было к богу...

И в первый день сказал бог: да будет свет. И стал свет.

И создал бог твердь и сушу...»

«Создал... А из чего создал? Как? — думает Маша. — Но может, это сказано дальше?»

«И сотворил бог моря и реки...»

— Няня, здесь ничего не объясняется, — говорит Маша, прочитав первые главы библии. — Написано: создал. А откуда он взял ее — неизвестно.

— Верить надо, а не допытываться, — говорит недовольно няня.

Но Маша разочарована. Она знать хочет, знать, а не верить.

Няня прячет библию обратно в сундук. Маша соображает: может, она не нашла того места, где всё объясняется? Ответа нет.

Ничего: вот вырастет немножко, еще пройдет годик, ну, два, и опять спросит маму. Привяжется так, что маме некуда будет деваться, придется всё сказать, все тайны раскрыть.

А пока почитаем Чарскую, «Княжна Джаваха».

Маша читает книжку за книжкой. Детская память, как сито, пропускает и теряет бесследно всё, что не затронуло, что оставило равнодушной. Но то, что взволновало, — запоминается, остается. Каких только происшествий не было с княжной Джавахой! Всё забылось. А вот запомнилось, как она бросает обратно подарки, которые чем-то унизили ее достоинство. Княжна бедная, но гордая — это хорошо. И я такой буду, бедной, но гордой.

Во дворе Виктор сует Маше две конфетные картинки: одна «Ананасная», на другой на сиреновом фоне девочка-голландочка в деревянных башмаках и белой, с уголками, шапочке. Хорошенькая картинка.

Но брать от Виктора ничего не следует. Он обижает, дразнит Машу. А раз так...

— Не надо мне твоих картинок! — гордо говорит Маша и бросает их на землю перед раскрывшим рот Виктором. Совсем, как княжна Джаваха. Потом бежит бегом домой, а то он еще поколотит.

В другой книжке рассказано, как одну девушку какой-то злодей увел в горы, привязал к дереву и посулил ей страшные пытки, чтоб она согласилась на обман. А она стояла, привязанная, и дерзко смотрела ему в глаза. Не боялась.

«И я буду такая. Вот никого бояться не буду, никто не заставит меня худое сделать», — думает Маша и преисполняется уважением к самой себе. Для чего, зачем она будет такой — ей еще и самой неизвестно. А почему будет — ясно: приятно быть героем, добрым, смелым, благородным... И для храбрости она затягивает, вызывая ужас у няни, песенку, вычитанную в одной из маминых книг:

*Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня!
Я тверда, не боюсь
Ни ножа, ни огня!*

Сборник стихов Жуковского не очень-то понятен. Но стихи читать легко: будто бежишь вприпрыжку по ровному месту... Хорошо! Вот например: «Кто скачет, кто мчится под холодной мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой».

Вечером мама заглядывает через дочкину голову: что она читает? Слава богу, Жуковский: — Дай, я покажу тебе, что прочесть.

Анна Васильевна листает знакомые страницы. Вот книга. А вот ребенок, ее дочь. Ее и Бориса, который... который неизвестно где. Неизвестно, что с ним. Что более тяжко, чем сомнения в твердости духа любимого человека! А ведь нет у нее убежденности, что он стоек. Нет.

Пусть книга поможет ее ребенку вырасти стойким, чтоб никто в будущем не смог сомневаться в ней. Что дать ей прочесть?

— Возьми вот это: «Маттео Фальконе», корсиканская повесть. Читай вслух.

Маша с интересом берет книгу.

*В кустах, которыми была покрыта
Долина Порто-Веккио, со всех
Сторон звучали голоса и часто
Гремели выстрелы; то был отряд
Рассыльных егерей; они ловили
Бандита старого Санпьеро...*

С напряженным вниманием следит Маша за течением рассказа: вот мальчик Фортунато спрятал старика от егерей. Вот егерь дает Фортунато часы за предательство. Мальчик берет их и выдает старика... Ужасный шаг! Это шаг к смерти. Вот Санпьеро схвачен. Раненого, его уносят из дома, и на прощанье...

*Он плюнул на стену и, задыхаясь,
Глухим, осиплым голосом сказал:
— Будь проклят этот дом; Иуды здесь,
Предатели живут!*

Маша читает с выражением, — ее не учили этому, она переживает то, что читает, и не может читать иначе. Какая страшная история!

Мать всматривается в нее: не рано ли забивать ей голову высокими материями? Что поймет она в свои семь лет? Но ведь жизнь не спросила: рано или нет видеть ей кровь, виселицы, слышать выстрелы в ночи и рассказы о жестокой действительности? Она видит и слышит. А если видит, значит, думает об этом. Так пусть думает правильно.

Цветы растут с первых дней весны. Медленно тянутся они вверх, медленно обрастает стебелек зеленым опереньем. Но если ударит солнце, если живительное тепло грянет на землю щедрым потоком, — цветы распускаются быстро, неожиданно, вдруг.

Не так ли и с детьми этих грозных лет, с детьми Великого Октября?

Маша читает, не останавливаясь. Вот Маттео отвел сына в лес. Мальчик произносит молитву. Он плачет, просит о пощаде. Гремит выстрел. Отец убил сына, совершившего предательство. Как страшно! Но так и надо.

Маша прочла последнюю строчку. Она потрясена. В глазах — тревога, губы сомкнуты. Страшное событие...

Они сидят молча, мать и дочь. Маша ни о чем не спрашивает: всё и так ясно из стихотворения. Мать ничего не говорит. У нее свои думы, свой долг, свои мучения. И перед тем, как встать и заняться домашними делами, она спрашивает дочку:

— Ты поняла, про что это?

— Поняла, — отвечает Маша, нахмурившись. Она берет сборник стихов с возросшим уважением: теперь она не будет дожидаться, всё прочтет, что там напечатано.

Но... как же это? До сих пор она думала, что убивать людей плохо. Так папа говорил, и вообще дома всегда бранили тех, кто убивает. А Маттео убил собственного сына, еще подростка, и это справедливо — предателя жалеть нельзя. Мама так считает. Интересно, что сказал бы папа? Он ведь очень-очень добрый.

Маша не знала, что больше года назад далеко-далеко на юге, в густом молодом сосняке ее добрый отец своею рукою убил человека.

Глава девятая

Вечер. Сева спит в темной комнате, няня с ним. Маша лежит на диване и смотрит на потолок и стены.

Темно. Но вот на левой стороне возникает живой светлый квадрат. Он быстро движется, перебегает на заднюю стену комнаты, потом на правую, и исчезает. За ним со звоном и грохотом пролетает второй. Значит, на улице за окнами проехал трамвай. Можно долго лежать, вглядываясь в темноту, пока дождешься снова веселого звона за окном и увидишь бегущий по стенам светлый квадрат. И опять тишина.

Дверь темной комнаты открывается, на пороге няня. В левой руке у нее толстая свеча в медном подсвечнике, правой она прикрывает огонь, чтобы не погас от движения. Поэтому в середине комнаты — всё та же тьма, а лицо няни освещено, и вокруг нее — легкое зарево.

— Размечталась... Раздевайся и спать, — строго говорит она Маше.

Маша раздевается нехотя. В памяти проходят впечатления дня, мелкие и крупные, важные и незначительные. У Маши своя мера: ей может показаться важным то, что взрослые считают мелочью, и наоборот.

У Маши новая подруга, Люся Светличная. Она живет в доме напротив. Люся очень бойкая девочка. Когда недавно дома устраивали елку, Маша позвала четырех своих друзей со двора и двоюродных сестер, тети Наташиных детей. Стали играть. И вдруг вошла незнакомая Маше,

ником не званная девочка лет семи, сняла в кухне пальто, поздоровалась с мамой и няней и спросила: «Можно мне поиграть?». Взрослые засмеялись и сказали «можно», и она побежала играть со всеми. Маша весело бегала с ней, играла в жмурки, в фанты, в хоровод, а потом спросила: «А тебя как зовут?», и девочка ответила бойко: «Меня Люся Светличная, а тебя Маша, я знаю».

Маша слышала от Люси важные новости. Оказывается, у всех девочек должны быть женихи.

— Обязательно? — спросила Маша недоверчиво.

— Обязательно, — ответила Люся.

— Откуда ты знаешь?

— От мамы. К ней часто в гости приходит жених. Это очень хорошо: мама тогда становится очень аккуратной — всё приберет чистенько, вымоется как следует, цветы поставит в вазочку. А мамин жених всегда приносит мне конфету и говорит, чтоб я шла погулять.

— И у тебя есть жених?

— И у меня. Виктор, племянник вашего хозяина. Только ты не говори ему, а то он набьет меня, если узнает, что он жених.

— А у меня нет... А кто это — жених? Зачем он?

— Жених — самый хороший мальчик. Который тебе нравится. Он затем, чтобы на него любоваться. Любоваться его красотой. Так надо.

— Ну, тогда мой жених — Сережка со Змиевской. Он лучше всех гоняет обручи.

Вчера на улице подруги гуляли вместе, и вдруг мимо пробежал Сережка. У Маши сердце громко застучало от волнения, а Люся засмеялась и крикнула: «Вон твой жених!» А Сережка рассердился и всей ладонью толкнул Машу в грудь, так что она упала навзничь в тающий сугроб. Со стороны Люси было не по-дружески выдавать чужие тайны. Маша обиделась на нее и решила ничего ей не рассказывать.

— Будь всегда правдивой, искренней, хорошей девочкой, — говорила мама. Но на деле мама не всегда хотела этого.

Как-то в присутствии гостей Маша вспылала необыкновенной нежностью к своей маме. Ей показалось, что ее мама лучше всех, красивей всех, добрее всех (и уж во всяком случае, лучше Магдалины Осиповны, сидящей сейчас в папином кресле). Девочка принялась обнимать маму и целовать ее в губы, щеки, глаза. Мама легонько отталкивала ее, но Маша еще настойчивей прижималась к милой маминой груди. Гости натянуто улыбались. А Магдалина Осиповна сказала: «ах, какая ласковая девочка». Наверно, ей было завидно, что целуют не ее.

Когда гости ушли, мама позвала Машу.

— Нельзя при всех показывать свои чувства, люди будут смеяться, — сказала она смущенно. — Надо сдерживаться. Воспитанные люди никогда не говорят слишком громко, не делают резких движений. А ты набросилась, точно не видела меня неделю. Надо сдерживать свои чувства... Так же, как нельзя при гостях просить еду, нельзя и целоваться ни с того, ни с сего.

Ни с того, ни с сего... Маша была задета за живое. Она не понимала, зачем надо сдерживаться. Она не знала сама, почему ей вдруг захотелось обнять свою маму и целовать ее, откуда пришла эта вспышка нежности. Но мамины слова были законом, Маша привыкла к подчинению. Ладно, она будет сдерживаться.

Зима уходила. Снег таял и снова выпадал, было холодно, но солнце блистало настойчивей и растопляло льды, неумолимо работая на весну.

В городе давно уже трепыхали на ветру красные кумачовые флаги. Белых прогнали, и советская власть установилась прочно. Брат хозяина уехал куда-то, — соседи его ненавидели и называли деникинским прихвостнем и шкурой.

От отца лак и не было никаких известий. Мама продолжала ожесточенно работать, но от волнения у нее очень рано пропало молоко. Чтобы Севочка не голодал, мама устроила его в детские ясли: его туда не носили, но няня ходила за его порцией, молока. Однажды, когда няня оказалась слишком занятой, послали Машу.

Маша хорошо знала, где помещаются ясли: это был дом какого-то бывшего богача. Богач удрал в Крым вместе с белыми, а дом советская власть отдала детям. На улицу выходила красивая ограда из чугунных прутьев. За оградой был садик, в глубине которого стоял дом.

Маша несла в руке голубой эмалированный кувшин. Был полдень, на заводе «Бавария» загудел гудок на обед. Мощное гудение стояло в воздухе, как будто исходило оно не из далекой заводской трубы, а из этих домов, из красивой чугунной ограды. Маша даже прислушалась: чугунные прутья звенели, как струны гитары. Казалось, они слегка дрожат от напряжения.

Вот и ворота. На них тоже чугунная решетка: одна половина закреплена неподвижно, другая полуоткрыта.

Маша подошла поближе, собираясь войти. Раздался лай. К воротам бежали три пса, — две огромные мохнатые дворняги и одна маленькая — коротконожка. В розовых пастях блестели белые острые клыки. Собаки лаяли, вытягивая морды в сторону, будто рассказывая кому-то, стоящему сбоку, о непрощенной посетительнице.

Маша испугалась. Собаки были почти-что с нее ростом и казались настоящими львами. На секунду она приостановила шаг. И вспомнила: а как та девушка, привязанная к столбу, о которой она читала недавно в книжке с оторванной обложкой? Не испугалась ведь. Надо быть героем и не бояться смерти, Севе нужно молоко. Кроме того, кто-то говорил, что от собак никогда нельзя убегать, надо смело идти на них.

Маша подумала: «Хорошо бы сейчас запеть „Старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня” и с песней пойти вперед». Но запеть никак не удавалось, язык не слушался. Маша изобразила на лице презрение, сделала шаг, второй... Собаки были рядом, но лаяли уже вяло, неохотно, словно разочаровались, увидя маленькую девчонку. А потом они разбежались, каждая по своим делам.

Маша торжествовала. Нет, она не станет рассказывать взрослым, они не поймут, и потом — нехорошо хвастаться, надо сдерживать чувства... Побороть страх, не заплакать, не убежать от разъяренных собак! Конечно, они могли искушать ее, разорвать в клочья. Ах, как приятно чувствовать себя храброй!

Она принесла молоко домой, няня вскипятила его, накормила Севочку и он уснул.

Пришла Люся Светличная. Она старалась, как ни в чем не бывало, продолжать болтовню о женихах, но Маша не слушала ее. Обе сидели на широком белом подоконнике, свесив ноги. Люся смотрела на Машу, а Маша смотрела мимо нее на улицу.

И случилось чудо. К дому подошел человек в островерхом суконном шлеме с красной звездой на лбу. На его груди на серой шинели были нашиты красные полосы, как у богатырей из сказки о царе Салтане, и сам он был похож на возникшего из морской волны чудо-богатыря. Но это был Машин папа. Папа, о котором никто не знал точно, жив он или нет и где он.

Нет, она не забыла отца, хотя не видела его долго и за это время выучилась читать и писать. Она редко вспоминала о нем, но увидев — узнала. И тут с ней произошло непонятное, неестественное, такое, что удивило и няню, и отца, и ее самое.

Маша хотела рвануться с подоконника, выбежать на галерею к дверям, встретить отца. И вдруг вспомнила мамин приказ: «надо сдерживать свои чувства. Нельзя при чужих обниматься...» А Люська чужая и притом болтуня. Выдала Сережке, что он Машин жених.

Всё Машино существо противилось этому маминому приказу — сдерживать чувства. И в этот трудный миг она словно кому-то назло, вздумала выполнить этот приказ, послушаться, сделать так, как велят старшие.

Но сдержаться совсем было невозможно. И неестественно спокойным голосом, не изменив выражения лица, Маша сказала подруге, поведя глазами на богатыря, спешившего к воротам:

— Между прочим, это мой папа.

— Врешь! — крикнула Люся совершенно не сдержанно. Она знала, как и все соседи, что Машиного отца забрали деникинцы и что о нем не было вестей.

Маше стоило огромных усилий — остаться на подоконнике. А уже хлопали входные двери. Уже вскрикнула и заплакала няня. А он спешил, не задерживаясь в прихожей и кухне, не раздеваясь. Торопился обнять дочерей, жену.

Он возник на пороге комнаты, широко раскрыв руки для объятий, ожидая, что Маша кинется к нему.

— Что же ты, доченька, не рада?

К тогда она спрыгнула с подоконника, обняла его колючую шею, прижалась к суконному богатырскому шлему, к коротеньким усам и заревела отчаянно громко. Тут была и радость от неожиданного открытия, что она не сирота, отец жив, и негодование на бестолковых взрослых, которые сами не знают, что запрещать, что разрешать, которые своими приказами заставили ее повести себя так бесчеловечно-холодно в такую счастливую минуту. Люси она уже не видела. Вцепилась в отца и на щеку ей капали его крупные теплые слёзы.

Отец опомнился первый:

— Ты отойди, родная, я с дороги, ехал в теплушке, в тесноте... Сейчас переоденусь, вымоюсь. А где Ниночка?

— Не сберегли мы Ниночку, — сказала няня, вытирая глаза.

— Что? — спросил папа, ничего не понимая.

— Умерла Ниночка от воспаления легких.

Отец мучительно свел брови. Большой небритый богатырь сразу превратился в несправедливо обиженного ребенка.

А Маша ринулась в темную комнату. Мамин приказ вылетел из головы бесследно. Сердце мгновенно подсказало ей: отец ничего не знает, он начнет горевать, но есть же и утешение, радость, есть Севка! Она распахнула дверь и сказала, таща его за руку к корзине:

— Смотри, смотри: у нас мальчик... Смотри, какой он хорошенький и умненький! Его Севкой зовут.

* * *

Теперь в темной комнате спали папа и мама. Они закрывали вечером дверь и начинались бесконечные рассказы. Маша испытывала к родителям что-то вроде ревности: ее не звали в темную комнату, а всё только вдвоем и вдвоем. Словно ее и нету.

Но когда дверь не была закрыта плотно, до Маши долетали обрывки отцовских рассказов. Иногда она засыпала под голос отца, а иногда, вслушавшись в интересное, долго не смыкала глаз, долго ворочалась на кровати.

— Если б ты видела, Нюсенька, вагон, в котором я валялся в тифу, — доносился из-за двери

отцовский голос. — Понимаешь, деревянные нары и мы — вповалку. Когда привезли меня туда, обнаружили воспаление легких. А на эту болезнь вагонов не предусмотрено. Тифозные были. И положили меня в вагон, где люди в сыпном тифу. Ты бы видела! Теснота, грязь, вши. Санитар наш, бывший парикмахер, этих насекомых «блондинками» звал, а блох — «брюнетками».

Валялся я там, бессловесный, не знаю сколько. Поезд куда-то ехал, один сосед по нарам умер, вынесли его на какой-то станции. И тут начал я познавать жизнь... Лежу, а ко мне офицер подходит. Смотрит мне на руку: «Что это у вас?» — «Часы». «Золотые?» — «Золотые». Он и придумал: «Я мог бы вам достать патентованное лекарство... американское, от тифа. Только стоит дорого». Ну, я ему и так, и эдак — достаньте. А медикаментов никаких, ухода никакого, прямая дорога на тот свет без пересадки. Я ему часы — крестной моей подарок — и отдал. Назавтра он принес мне двенадцать порошков, велел принимать три раза в сутки. Принял я и сразу распробовал: сода! Питиевая сода! А он с тех пор и не показывался.

— Золотые часы за осьмушку соды! — возмущается мама.

— Не такая уж дорогая цена за то, чтобы начать разбираться в политике. Ну, ладно. Болел я болел и стал потихоньку поправляться. Мужичья кровь всё переборола. Не успел на ноги встать, как на смену сыпному тифу — брюшной. Мы все заболели, постель же общая, антисанитария... На этот раз трое умерло из моих соседей по нижним нарам. Как я выкарабкался, сам не знаю. Худой был, как Дон Кихот. Вот когда по мне строение скелета изучать удобно было!

Пока болел я, нагляделся на них. Пили зверски, специально в лазаретные вагоны за спиртом приходили. Нас не стыдились: кто без сознания лежит, кому на тот свет дорога — что тут церемониться. Один с девицей забежал... Трезвые-то заходить боялись, чтоб не заразиться, а как напьются — и горе не беда! «Фельдшер, дай спиритуса!»

Дело тут не только в вине — выпить и я умею. Дело в том, что у пьяного вся изнанка — наружу, тут-то и видно, кто чего стоит. Это была одна гниль, у них всё прогнило, всё, сверху до низу.

— Как же ты вырвался?

— Вырваться не хитро, а вот как прийти к красным, чтоб тебя не расстреляли по недоразумению, чтобы поверили тебе? Вот над чем я задумался. Когда оправился после болезни, настала моя очередь оформляться: я же у них еще не зачислен был ни в какой род войск, больного взяли. Вот и сунули Меня в группу неподготовленных, артиллеристов из нас сделать решили. Дали нам офицера, чтоб учил, зашли мы с ним подальше в лес однажды... Ну, и ушли.

Отец замолчал. Мама спросила:

— А офицер не стрелял вам вслед?

Отец ответил не сразу:

— Он стрелял. Он убил одного нашего. Когда уходили, я шел последним, так заранее условились. Офицер крикнул мне: «— Лоза, смотрите, они дезертируют!» — и выстрелил. Он знал, что я интеллигент, и не думал, что я с ними. А когда он выстрелил и Никитченко повалился — это был тоже харьковский, один театральный кассир, — тогда я бросился на офицера, и мы упали... Он был поздоровей меня, я ж после тифа... Мы барахтались, и он стал вытягивать одной рукой кинжал из ножен. Ну, умирать мне не хотелось. Свобода близко, и вы ждете в Харькове. Нож-то и у меня был. Пришлось...

Наступила тишина. Молчали долго. Потом послышался тихий мамин голос:

— Не даром большевики постоянно говорят: борьба, борьба. Всё через борьбу приходит, и даже через кровь. Ужасно, но пока это так.

— У меня в тот миг и жалость пропала. Он же мог несколько человек пристрелить, сволочь белая.

Опять помолчали.

— А обмундирование нам у красных долго не давали, — почему-то сказал отец. — Ни сапог у них не было, ни одежды. Донашивали мы иностранные тряпки, только нашивки посрывали.

— Есть вещи поважнее сапог и одежды.

Отец говорил обстоятельно, подробно, и перед глазами Маши вставали картины: опушка леса у железной дороги. По траве меж кустов осторожно пробирается группа людей в поношенной солдатской форме. Все знаки принадлежности к белой армии, значки, нашивки — сорваны. Это уже не белые, но еще и не красные, им надо еще доказать делом, кто они такие, за кого они.

Вот рельсы, вдали станция. Видны теплушки, водокачка, а ближе к вокзалу — сказочный, знаменитый, весь расписанный агитпоезд Южного фронта. У станции часовые. Они замечают людей в лесу, кричат: «Стой, ни с места!» И Машин отец с товарищами поднимают руки вверх, все выстраиваются по росту перед часовыми. Их уже не десять человек, а двадцать пять, — по пути к ним присоединились другие, которые тоже «пробивались до красных». Часовой обыскивает их, отбирает оружие, и трое красноармейцев ведут их к вагону, где находится комиссар.

Ох, и вагон! Отец подробно описывал, как был украшен вагон агитпоезда. С одного края нарисован большой земной шар. Его опоясывает лента с надписью: «Владыкой мира будет труд!». Внизу по бокам — фигуры рабочего и крестьянина, подающих руки друг другу. Дальше — широкие лучи солнца, как алые стрелы, летящие во все стороны, они освещают силуэты фабрик и заводов. А на том месте, где обычно висит досочка «Харьков — Симферополь» или «Харьков — Москва», укреплен плакат со стихами, выписанными киноварью на белом фоне:

*Против вражьего напора
Ощетиним мы штыки,
Людю бедному опора
Наши красные полки.*

Агитпоезд полон чудес: в одном вагоне, сделанном из теплушки, — театр. Откидная стенка, за ней сцена, — там разыгрываются целые спектакли. В другом вагоне — походная библиотека и бригада художников. Здесь — связки листовок, призывающих покончить с белыми, изгнать интервентов Антанты, защищать свободную Советскую землю и революцию; брошюры, отпечатанные в Харькове и Киеве, присланные из Москвы; рулоны бумаги, банки с красками. В главном разрисованном вагоне — салон и купе, в котором живет комиссар с женой и маленькой дочкой.

Комиссар стоял на подножке салон-вагона, когда красноармейцы привели перебежчиков. Он посмотрел на них внимательно, потом зашел в вагон. Был он лет тридцати, в фуражке со звездочкой, в светлосером суконном френче, галифе и русских сапогах. Из-под фуражки выбивался молодой темнорусый чуб. Голова у комиссара была крупная, крупные губы и нос, широкие, взлет, густые брови, глаза прищурены.

Борис Петрович думал, что комиссар начнет разглядывать приведенных им людей, расспрашивать. А он ушел в вагон и туда по очереди приглашал на допрос всех перебежчиков. С каждым говорил наедине, с иными подольше, иных отпускал после двух-трех вопросов.

Борис Петрович сидел в салон-вагоне долго, словно сам оттягивал конец беседы. Комиссар изучал его, а он придирчиво приглядывался к комиссару, стараясь найти в нем недостатки или неприятные, черты. Он не хотел найти эти черты, но с давних пор приучил себя беспристрастно

исследовать всё новое, и потому старался преодолеть возникающую симпатию и найти в этом человеке плохое. Комиссар разговаривал с ним немного свысока, — но как же иначе и могло быть! Ведь он беседовал неизвестно с кем, с белым, которого видел впервые: может, шпионить подослан?

— Почему вы перешли к красным?

— Разобрался, наконец, в своих политических взглядах.

— А когда в добровольцы шли, не разбирались?

— Взят был больным, насильно.

— Что ж хорошего нашли у нас?

Комиссар всматривается в него, ожидая ответа.

— То, что вы против иностранных интервентов, против Антанты.

— И больше ничего?

— Нет, почему же... И еще кое-что. Но это — главное. Я привык думать, что служу не лицам, не правительствам, а родине...

— Хорошие слова. Но слово «родина» в ходу у всех. Надо ж когда-нибудь научиться различать: кто правду говорит, а кто спекулирует на хорошем слове.

Борис Петрович отвечал на вопросы, мысленно примерялся придраться к комиссару, но не сумел и вздохнул облегченно. Во время разговора дверь в салон отворилась без стука и вошла маленькая девочка в странном костюме: на ней была дамская вязаная кофта с подвернутыми длинными рукавами, явно широкие, с взрослого, чулки и прямо на чулках — галоши. Она держала обеими руками серого пятнистого котенка. Личико ее сияло. Девочка сказала комиссару:

— Папа, Мурка нашлась!

Комиссар встал из-за стола, подошел к девочке, погладил ее по голове, повязанной клетчатым платочком, и сказал негромко:

— Ну, вот и ладно. А теперь иди домой, в наше купе, и посиди там, пока я освобожусь. Скушай хлебца, там в газете завернут.

Девочка послушно прошла в другую дверь. «А что же матери не видно? — подумал Борис Петрович. — Ребенок без присмотра, а мамаше невдомек».

Очень скоро он узнал от красноармейцев о семейных обстоятельствах жизни комиссара: жена его опасно заболела в дороге. Ее увезли в больницу еще в Кременчуге. К тому же на днях салон-вагон обокрали, унесли узел с одеждой, — разве есть у комиссара время следить за своим барахлом, когда бой за революцию идут?

Задержавшись глазами на анкете перебежчика, заполненной сидевшим рядом писарем, комиссар спросил:

— Лекцию прочитаете? Против поповских рассказней, что всё бог создал и так далее? Лекцию о том, откуда произошла жизнь на земле?

— Могу, — обрадованно ответил Борис Петрович. — Когда?

— Сегодня вечером. Только чтоб понятно было народу. Я тоже слушать буду. Идите. Вам скажут, в какой вагон.

Борис Петрович ушел, окрыленный. Он ждал на первых порах жесткого допроса, ждал, что и под арест могут взять. Но комиссар безошибочно понял, что за человек перед ним, и сразу нашел ему дело.

Борис Петрович читал лекции красноармейцам и жителям окрестных станций, где останавливался агитпоезд. И как-то само собой вышло, что в конце лекции о происхождении жизни на земле он всегда поминал недобрым словом международную гидру капитализма, которая протянула щупальцы к молодому Советскому государству. Буржуев он сравнивал со

спорыней, с паразитами и вредителями природы, которые питаются чужими соками и губят живую жизнь. «Красная Армия гонит с нашей земли всех наймитов, и таким образом, Красная Армия защищает жизнь на земле, чтобы эта жизнь продолжалась и расцветала!» — заканчивал он. И слушатели били в ладоши, соглашаясь, что да, жизнь будет расцветать, а гидре капитализма нечего делать в советской стране.

А потом он вспоминал свой обратный путь. Он пересек просторы родной земли в красной теплушке, под мерный говор солдат, под маршевые звуки солдатских песен. Он видел заброшенные, заросшие сорняком поля, разбитые кирпичные дома, следы пожаров и сражений.

Худые веселые люди в изорванных шинелях, подтянутых ремнем, бодро хватали лопаты и копали мерзлую землю, другие перетаскивали бревна, приводили в порядок захламленные железнодорожные пути. Такие картины он наблюдал и в дни праздников, в воскресенье, и с удивлением узнавал, что работают люди в этот день бесплатно, хотя никто их не заставляет. Почему? — спросить было некого, комиссара поблизости не было. Однажды Борис Петрович и сам выскочил из вагона и помог разгружать вагон дров.

Смутные догадки взбадривали душу, и тогда ему казалось: люди, добровольно работающие ради общего дела, — вот самое волшебное, что создала советская власть.

Рассказывая Анне Васильевне о своей судьбе, Борис Петрович не раз снова и снова вспоминал о допросе и о девочке в кофте с отвернутыми рукавами. Жива ли ее мать, отделенная от них сотнями верст? Ни лекции, прочитанные из вагона агитпоезда, ни дальнейшая служба писарем в армии, куда он был направлен, не оставили более сильных и прочных впечатлений, чем первая беседа с комиссаром в салон-вагоне агитпоезда.

Глава десятая

Как-то вечером появился Леонард Антоныч. Его встретили недоуменно — зачем он пришел? Не он ли пытался склонить Бориса Петровича в пользу белых? Но Леонард Антоныч не был обескуражен холодным приемом. Он держался так, словно удостоил это семейство большой чести — видеть свою особу.

— Много унижений перенесли вы, Борис Петрович... Сочувствую вам, как человек... И вот ведь как нехорошо получилось, — теперь, так сказать, пятно у вас в биографии. Знаете, они без автобиографий теперь никуда не принимают, красные-то. В самую душу человека залезть хотят.

— Оставьте, Леонард Антоныч, мне сочувствия не требуется. Завтра иду в университет, думаю восстановиться на прежней должности.

— В университет? — Леонард Антоныч был неприятно удивлен. — Вы очень наивны, Борис Петрович. По старой дружбе скажу вам: не советую. Не возьмут. Бывшего деникинца не возьмут, и унижаться нечего.

— Откуда такая уверенность?

— Наблюдаю. Вижу. Там сейчас Скворцов комиссарит, рвет и мечет. Такой навел террор, что многие сами ушли. Не советую. И почему вы думаете, милейший мой интеллигент, что к вам отнесутся с доверием? Кому вы нужны теперь, при власти «товарищей»? Пошли вы добровольцем к белым? Пошли. Этого достаточно.

Борис Петрович вспыхнул, хотел ответить, но вдруг замолчал. Разве не известно Леонарду Антонычу, что белые взяли его насильно, больного? А с другой стороны, разве не был убежденным противником советской власти Леонард Антоныч, которого никто не увольнял из университета? И Борис Петрович спросил прямо.

— А вы-то что же, переменили взгляды? Помню, спорили со мной, в восторге были от Деникина... А?

— Человек предполагает, а бог располагает, — ответил Леонард Антоныч многозначительно. — И почему вы считаете, что я был в восторге? Нисколько. Боролся за чистоту русского языка — верно. И сейчас скажу: «Ты один мне отрада, о великий, могучий, свободный...»

— Леонард Антоныч, пора прощаться: сейчас я буду укладывать детей. До свидания, Леонард Антоныч, — сказала вдруг Анна Васильевна, неожиданно встав с диванчика. Она смотрела на бывшего сослуживца мужа с такой неприязнью, что он не нашелся ничего сказать. Встал и откланялся.

* * *

— Он нарочно пугает меня, — говорил Борис Петрович дома, — я всё-таки пойду завтра в университет. Я пойду.

Из университета он вернулся сгорбленный, придавленный. Целый вечер ходил по комнате, пересекая ее наискосок, наступая то и дело на Севочкины кубики и картинки. Он не хотел согласиться с тем, что услышал в университете, он доказывал Анне Васильевне, что совесть его чиста, что ему следует работать на прежнем месте. А в университете сидит какой-то анархист, ему бы только распугать всех, разогнать. Кричит, даже стула не предложил — сесть... Только с Леонардом Антонычем поздоровался вежливо.

— Может, если бы комиссар агитпоезда отнесся ко мне хуже, — я не надеялся бы и тут на доверие. Но после службы в Красной Армии, после лекций моих мне тяжело слышать этот отказ... Что же делать теперь?

— Надо как-то жить, — ответила твердо Анна Васильевна. — Это недоразумение, оно должно разъясниться. И крикуна вашего сменят, наверно, если, он разгоняет специалистов. Подожди, наберись терпения.

Папа теперь не ходил на службу: он стал мастеровым.

Он приносил домой откуда-то фанеры, дощечек, доставал из ящика столярный инструмент и начинал мастерить игрушки. Он делал прыгунчиков, кувыркавшихся между двух палочек, барабанщиков, выбивавших на барабане дробь, если повертеть внизу ручку из толстой проволоки. Делал хлопавших крыльями бабочек на колёсах и кузнецов, по очереди ударявших молотками по наковальне. Папа работал перочинным ножиком и долотом, пилкой и стамеской. Когда игрушки были выстроганы и склеены, папа разводил в стаканах порошки анилиновых красок и красил их. В комнате делалось весело и нарядно, бабочки сушили свои зеленые и розовые крылья, у барабанщиков появлялись глаза, рот и усы.

Всё это богатство складывалось в знакомую Маше плетеную корзинку и уносилось на рынок.

Но игрушки не могли прокормить семью, а у мамы осталась только одна служба — в детском доме, и паек ей выдавали один.

В квартире появился сапожный инструмент и колодки. Удивительно, как слушались папу вещи, как охотно подчинялись его рукам. Руки были умные, как говорят, — золотые. На окошко папа наклеил сапог, вырезанный из розовой бумаги, и в квартиру зачастили заказчики. Входили с недоверием. Приносили на переделку высокие дамские ботинки со шнуровкой, заказывали туфли из сукна, из старых портфелей. Папа не обещал большой красоты и изящества, но прочность гарантировал: его шов не расползался даже тогда, когда носки и задники превращались в рваные ошметки. Шов делался навечно.

Как-то пришел странный заказчик. Он не принес никакого материала, но подробно

расспрашивал, может ли мастер сшить из того, из другого? Папа терпеливо отвечал. Одетый в фартук, он сидел на низенькой Машиной Скамеечке и держал в руках сапожный нож и ботинок с только что прибитой набойкой: кусочки кожи торчали из-под задника во все стороны, как шипы, и папа аккуратно срезал их ножиком, рукоять которого была обшита кусочком черного шевро.

— Ах, как прискорбно, как прискорбно! До чего доведен интеллигентный человек, — сказал вдруг заказчик.

— Я попросил бы... — начал отец.

— Нет, нет, я не буду! Я великолепно представляю себе ваше состояние. Позвольте открыть мое инкогнито: я работаю бухгалтером «Союззаготпрода», — это на Сумской, вы знаете, вероятно. Союзу нужен консультант по продукции сельского хозяйства. У нас хорошие ставки, а главное — снабжение... Нам нужны преданные, честные, интеллигентные люди. Вы извините, что я начал, как заказчик. Просто интересовался...

После недолгой беседы «заказчик» ушел. Папа встал, снял фартук и вымыл руки. Он соскучился по книгам, по своим тетрадкам с записями, сделанными во время экспедиций, по гербариям, по атласам флоры и фауны. Предполагаемая работа не была интересной, но она давала заработок и паек и отнимала не так много времени.

После первой же недели хождения на службу, папа принес огромный, необычный паек: муку крупчатку и белое кокосовое масло. Дома обрадовались: вот хорошая служба! Но когда в следующую субботу папа принес премию в размере месячной зарплаты, банку какао и три банки рыбных консервов — бычков, — радость сменилась сомнениями. Мама трогала банку с яркой наклейкой, взвешивала в руке консервы и спрашивала:

— Откуда это у них? Сейчас, когда ничего кроме пшена и подсолнечного масла нигде не дают? И эти премиальные? Ты не задумывался?

— Я задумался. Этот «Союззаготпрод» ведет переписку с Кубанью, с казачьими районами. Туда переводятся большие суммы денег. А товаров я пока не видел, кроме «образцов», которые каждую неделю раздаются сотрудникам. Это странно.

— Ты ни о чем не спрашивал этого... бухгалтера?..

— В первую субботу — нет, а сегодня спросил. Спросил, почему я до сих пор ничего не делаю, а деньги получаю? Он принялся успокаивать меня: мол, ваше волнение очень благородно, но у вас еще будет возможность отработать всё полученное, не спешите. По крайней мере, говорит, никто вас здесь не попрекает вашим прошлым. Мы, мол, в вашем прошлом ничего худого не видим. Яснее он не говорит. Всё это в высшей степени странно. Хочешь, я отнесу им назад продукты и уйду с этой службы?

Мама задумалась.

— Этого мало, — сказала она. — Надо посоветоваться с кем-нибудь. Я подумаю, с кем бы. Возвращать им ничего не надо, они только насторожатся. Уйди, но объясни, что тебе неинтересно, что у тебя есть лучший выбор, что ты хочешь вернуться к науке.

— Как это «посоветоваться с кем-нибудь»?

— Очень просто. Может, они враги. Пускай это расследуют те, кому положено.

— Ты предлагаешь донести на них? — Борис Петрович густо покраснел. — Я не могу доносить, это чуждо моей натуре, это гадко, Аня! Кто бы они ни были, но я не доносчик. Одно это слово вызывает отвращение и стыд.

— А если они — опасные и хитрые враги? Сейчас всё может быть, такое время. Может, они снова попытаются пустить кровь новой власти.

— Доносить я не пойду.

Анна Васильевна тяжело опустилась в рабочее кресло мужа. Как видно, она не собиралась

встать отсюда прежде, чем убедит его.

— Конечно, нам ничего не будет, если мы смолчим о своих подозрениях, — сказала она отчетливо. — Худое сделают не нам, а советской власти. А мы же с тобой — не советская власть, мы — сами по себе, незаметное семейство интеллигентов... Нам всё равно, какая власть, — белые, красные, зеленые...

— Зачем ты так говоришь! — возмутился Борис Петрович. — Если бы я был за белых, я бы воевал в их армии. А я ушел и воевал против белых. Советская власть мне ближе всех других. Я замечаю и слабые стороны ее работы, но всё равно, стою за советскую власть.

— А в чем это выражается?

— Ну вот, ты опять упрощаешь... Это выражается в состоянии моей души, моего разума...

— В действии надо. Делом надо доказывать, кто ты такой. Что худого, если гражданин беспокоится за интересы своей власти, своего государства? Это не донос, неправда, это помощь. Если в твоём «Заготпроде» честные люди — их никто не тронет. А если враги — то жалеть их нечего.

— А вдруг мы всё это вообразили с тобой, Нюсечка? Ну, подумаешь, подкармливают своих сотрудников, что ж такого? Ведь это официальное учреждение...

Она с сомнением покачала головой, не давая убаюкать себя успокоительными речами. Нет, тут дело нечисто. Вот и надо посоветоваться с кем-нибудь из партийцев.

В понедельник папа не пошел на службу, только сходил днем сообщить, что берет расчет. Станным образом, с него не потребовали обратно его «премиальных». Вечером отец и мать закрылись в своей комнате и долго разговаривали шёпотом.

А потом, в воскресенье, мама ходила к Зое. Теперь уже Зоя больше не делала бумажные цветы, она заведовала в губисполкоме каким-то отделом. Зоя знала все новые порядки, и Анна Васильевна рассказала ей о «Союззаготпроде». Вскоре туда на место уволившегося Бориса Петровича был принят какой-то другой консультант.

Проходя однажды мимо конторы «Союззаготпрода», Анна Васильевна увидела этого консультанта выходящим из двери под знакомой вывеской: у него были черные глаза и черные усы, был он чем-то знаком Анне Васильевне... Он не узнал ее, не поклонился и прошел мимо, а она, напрягая память, вспоминала: плетеная корзина, пеленки, Севочка... Плетеная корзина... «От Зои Васильевны». Да это же был он, человек, которого она прятала от денкинцев! Почему же он не поздоровался с ней, неужели забыл доброе? И как мог он очутиться в этом подозрительном «Союззаготпроде»? Или они с Борисом просто вообразили, и ничего подозрительного в этой конторе нет?

Через два месяца она прочитала в городской газете о том, что Губчека раскрыла белогвардейскую подпольную организацию, сколачивавшую повстанческие отряды в казачьих районах. Губчека арестовала пятерых главарей, но один ускользнул: это был «бухгалтер» Гродзенский, вербовавший Бориса Петровича на службу в «Союззаготпрод».

В один из вечеров в квартиру Бориса Петровича снова вошел черноглазый и черноусый человек, которого когда-то прятала Анна Васильевна. Ее не было дома, Борис Петрович встретил его весьма сдержанно.

— Я из Губчека. Вы доцент Лоза Борис Петрович?

— Да, это я...

— Ну, как научная работа ваша идет?

— А почему, собственно, это интересует Губчека? — спросил Борис Петрович. Он тут же испугался своего вопроса, но пришлось бы снова — он спросил бы то же вторично.

— Не Губчека, лично меня интересует.

— Я нигде не служу, — независимо ответил Борис Петрович.

— Почему не служите? Не хотите?

Борис Петрович готов был взорваться и наговорить лишнего, разговор показался ему издевательским. К счастью, вернулась Анна Васильевна. Она обрадовалась гостю, велела няне поставить самовар и приготовить чай. Беседа с неожиданным гостем сразу стала легче и приятней.

— Пришел я поблагодарить вас, — сказал, наконец, гость супругам. — Вы, товарищи, помогли предотвратить большое несчастье. Вы уже из газет знаете обо всем. У них был расчет на вашу немоту, — гость кивнул Борису Петровичу, — на то, что вы безопасны для них, Борис Петрович. А теперь, если вам не трудно, расскажите, почему, вы не работаете по специальности?

— Потому что меня считают за недобитого врага, — вызывающе ответил Лоза.

Поздно вечером, когда чай был выпит, а невеселая история Бориса Петровича рассказана во всех деталях, гость сказал, уходя:

— В университет вы можете явиться хоть завтра же. Завтра утром я позвоню этому неучу Скворцову и скажу, что никаких подозрений вы не вызываете и чтобы он принял вас на прежнюю должность.

Полный надежде Лоза не стал откладывать свой поход в университет. Перед дверью Скворцов а ему пришлось посидеть минут двадцать, — там шло совещание, и когда кто-нибудь выходил в коридор, из дверей вываливались клубы горького махорочного дыма.

По знакомому коридору прохаживались два научных сотрудника кафедры зоологии. Они безразлично кривились, искоса взглядывая на старую красноармейскую шинель Бориса Петровича.

Заседание у Скворцова кончилось, люди выходили поспешно, все торопились куда-то. Леонард Антоныч, вышедший с другими, преувеличенно вежливо поздоровался с Борисом Петровичем.

— Говорят, вас снова принимают? По высочайшему ходатайству? — пошутил он. — Это хорошо, у вас сильные покровители... Полагаю, что чувство благодарности вам не чуждо, как всякому интеллигентному человеку! Вы не обращайтесь внимания, если ваши коллеги будут первое время немного сторониться вас... Ну, будьте здоровы! Всё хорошо, что хорошо кончается.

Разговор со Скворцовым был еще более определенным:

— Можете приступать, — сказал Скворцов, — но имейте в виду: контролеров здесь и без вас хватает. Сами такие. Я не мальчик и понимаю, зачем вас прислали.

На обратном пути домой Борис Петрович забежал в пивную и выпил у стойки стакан пива. Дома он молчал весь вечер и после настойчивых просьб жены ответил ей коротко:

— В университет я не вернусь ни в коем случае.

Неподалеку за городом университет имел небольшой участок земли, на котором сотрудники устроили коллективный огород.

Желая хоть чем-нибудь обеспечить семью, папа занялся огородом. Он купил семян, размачивал их в блюдечках с водой, ставил на солнце, а потом увозил на огород. Иногда он дежурил ночью. Возвращаясь домой, рассказывал страшные истории про бандитов, про убийства в глухих переулках. На дневные дежурства иногда ездила няня.

Сторожить днем было не тяжело, — Маша не раз ездила на огород с няней. Во время дежурства на участки приходили работать служащие университета и их родственники. Весной они пололи, прореживали грядки, летом начинали собирать урожай. Один раз Маша увидела там Леонарда Антоныча. Он прошел мимо своих грядок, потом стал прогуливаться вдоль огорода, разглядывая чужие участки.

Маша полела огурцы, то и дело поправляя волосы, падавшие на лоб. Она увидела, как

Леонард Антоныч быстро нагнулся и — раз-раз-раз! — выдернул из чужой грядки несколько морковок-скороспелок. Он кинул взгляд в сторону Маши и понял: она заметила. Быстро сунул морковины в карман брюк и пошел дальше. Кружевные зеленые веточки торчали у него из кармана вместе с кончиком белого носового платка.

— Вор! — хотела крикнуть Маша, ведь она затем и пришла сюда, чтобы стеречь огород от вора. Но не крикнула, удержалась. О замеченном она рассказала няне.

— Не может быть, господь с тобой, — бормотала няня.

— Украл, украл, я хорошо видела.

— Интеллигентный человек... Показалось тебе, перекрестись.

— Ну хочешь, подойди и посмотри, он в карман сунул.

Няня задорно посмотрела на Машу — а что ж! — встала, отряхнула платье и подошла к Леонарду Антонычу. Увидев ее, он машинально сунул руку в карман, чтобы запихать морковки поглубже, но одна веточка выдала его. Няня задала ему какой-то незначущий вопрос и возвратилась назад. Она ничего не сказала Маше, только покачала головой. От кого же надо было стеречь огород, если Леонард Антоныч сам был вор и потихоньку крал овощи с грядок своих сослуживцев?

Маша задумалась: она впервые в жизни видела вора. Она не знала, что вор может быть так прилично одет и так вежлив в общении.

* * *

Как-то вечером папа сидел за своим столом над книгами. Маша и Сева, скинув веревочные вязанные туфли, забрались с ногами на диван. На коленях у них лежала толстая книга с раскрашенными картинками — Брэм. Маша показывала младшему брату картинки, переворачивая страницы чисто вымытыми руками.

В комнату вошла Зоя. Она зябко натягивала на узенькие плечи шерстяной серый платок. Глаза у нее были почему-то заплаканные, но она молчала. Молча под села к детям и стала рассеянно рассматривать нарисованных в книге зверей и птиц.

— Эта птица называется марабу, а этот, пониже ростом, — пеликан, — объясняла Маша. Мельком взглянула на Зою, нагнувшуюся тоже над книгой, и увидела, как в уголках ее красивых продолговатых глаз быстро-быстро накапливались слёзы. Накопились, перелились через нижнее веко и длинная прозрачная дорожка побежала через всю щеку. Зоя плакала.

— Зочка, кто тебя обидел? — удивленно спросила Маша, обнимая свою молодую тетю.

— Никто, не обращай внимания, — шепнула Зоя. Она не хотела, чтобы ее слёзы заметили взрослые.

Они заметили. Но так как они были людьми сдержанными, то не стали расспрашивать девушку, не стали допытываться: захочет, сама расскажет, а не захочет, — так и не к чему вынуждать.

Когда Анна Васильевна села с ней рядом шить, Зоя сказала тихо, не глядя на сестру:

— Федор Андреич погиб. Артем, помнишь? Еще я ему, когда была маленькой, записочки в носках носила с Настасьей Ильиничной. Я тебе рассказывала.

— Артем? Как же это случилось? Ведь война кончилась, — сказала взволнованно мама.

— Написано — катастрофа аэровагона. В Москве II Конгресс Коминтерна идет, так вот, — придумали прогулку на каком-то аэровагоне... Изобретенье новое. Посадили туда семнадцать человек делегатов конгресса и Артема во главе... Ну, и авария, якобы...

— Как же можно на непроверенный вид транспорта... Рисковать жизнью таких людей... —

сказала мама.

— Даже ты понимаешь, беспартийная, — горячо подхватила Зоя. — Это не случайно всё. Это люди Троцкого устроили, наверно. Ох, и ненавидели они его. Ты знаешь, как Ленин любил нашего Артема? Он во всем ему доверял. Анечка, я же знала его, видела, какой он был товарищ... Он мне один раз... хлеб свой отдал, когда голодали. Хлеб... Он меня звал «маленькая Зойка».

И она заплакала, уже не сдерживаясь. Анна Васильевна гладила ее вздрагивавшие плечи, а Зоя сквозь слёзы повторяла: «хлеб отдал... хлеб», как будто это была главная заслуга выдающегося деятеля революции.

Глава одиннадцатая

Дома Маша была предоставлена самой себе. Она вырезала из твердой бумаги человечков, надевала им бумажные платица, сложенные вдвое, раскрашивала их цветными карандашами. Куклы гуляли по картонному театру, разговаривали, представляли «Красную Шапочку» и «Кота в сапогах».

Театр Маша любила с первого же знакомства с ним. Когда ей было четыре года, тетя Зоя пришла за ней и отвела на детский праздник. Сцена театра показалась Маше огромной, а выбежавший на просцениум актер в зеленой куртке и шляпе с пером показался великаном. Всё в нем было резче, ярче, чем у обыкновенных людей: красные губы, румяные щеки и черные брови, красивые каштановые кудри. Он выбежал, посмотрел на публику веселыми глазами и заявил:

*Жил мельник. Жил и умер. И оставил
Наследство сыновьям...*

Потом этот красавец отошел в сторону, и все увидели трех сыновей мельника и их наследство, в том числе большого, ростом с двенадцатилетнего мальчика, кота в высоких сапогах с отворотами и в шляпе с пером. Это было необыкновенно — кот разговаривал и вообще был умнее многих людей. И долго потом в Машиных ушах звучали слова красавца в зеленой куртке:

*Жил мельник. Жил и умер. И оставил
Наследство сыновьям...*

Дома Маша созывала в комнату всех своих малолетних друзей и множество раз разыгрывала «Кота в сапогах».

Мама заметила, что Маша часто играет в театр. Однажды она спросила:

— Хочешь участвовать в спектакле на самом деле?

Маша замерла от счастья:

— Хочу.

— Только роль большая, длинная. Много учить надо.

— Я всё выучу, — испуганно поспешила сказать Маша — не передумали бы брать ее.

Назавтра мама принесла тетрадку, в которой карандашом была переписана пьеса «Апрелечка». В этой пьесе действовали Зима и Весна, Дед-Мороз, снежинки и полевые цветы. Все танцевали и пели песенки. Пьесу сочинила детдомовская учительница музыки.

— А меня красиво нарядят? — спрашивала Маша.

— Красиво. Ты должна выучить всё, что говорит Апрельечка. А то не примут.

И Маша выучила. Она выучила даже за Деда-Мороза.

Мать повела ее в детдом. Они вошли в зал, где на возвышении была устроена маленькая сцена с настоящим занавесом.

В зале стояло пианино. За ним сидела тетка в высокой старомодной причёске с кукишем из желтых волос. Она играла и громко говорила:

— Раз-два-три, раз-два-три! Повторить: раз-два-три, раз-два-три!

Четыре девочки делали под музыку танцевальные упражнения. Девочки были в коротеньких белых юбках. Маша узнала одну из них, Дуню Фролову, которую ей когда-то показала мама: это была девочка из Поволжья, где люди голодали. У нее все умерли, и она неизвестно как доехала в товарном вагоне до города Харькова, где ее взяли в детдом. Стриженная, с мальчишеским чубчиком, она очень легко выделявала танцевальные па, легко отводила в сторону и назад маленькую ловкую ножку. Она уже окрепла, откормилась, и, глядя на нее, трудно было поверить, что год назад эта девочка еле стояла на ногах.

Репетиции не нравились Маше потому, что все играли в своих обычных платьях. Дед-Морозом был мальчишка с голым подбородком, в брючках из «чёртовой кожи» и серой детдомовской рубашке. Не все знали свои роли, учительница литературы подсказывала им по тетрадке и часто повторяла: «Слушайте суфлера. Я буду тут, за занавесом, — слушайте, я буду суфлировать!» А сама всё подсказывала.

Наступил день спектакля. Машу отвели за сцену в класс, где на партах лежали пестрые охапки костюмов. Ей дали какой-то совсем не нарядный костюм, — юбку, на которой были пришиты фиалки, и венок на голову. Она попросила другой, но учительница литературы засмеялась и сказала, что это — костюмы весны, царевны, а она играет простую девочку Апрельечку.

Потом Машу разрисовали, подвели ей бровки, вместо которых у нее блестели на лбу редкие золотистые волоски, накрутили, подвили волосы.

Все стали на свои места, и занавес поднялся. Маша лихо говорила свою роль, а когда надо было молчать — поглядывала в зал. В зале было битком набито. Где-то там сидели няня, Люся Светличная и Славка, но найти их в этой тесноте было невозможно.

Маша была самой младшей из всех артистов и выглядела на сцене забавно среди подростков.

Спектакль кончился. Зрители долго били в ладоши и кричали «бис!». Маша вместе со всеми кланялась зрителям, потом увидела няню, Люсю и Славку и прыгнула сбоку со сцены им навстречу. Ей хотелось, чтобы они посмотрели на нее в гриме и костюме не издали, а вблизи.

— Маша, ты такая хорошенькая стала, ужас! — сказала Люся.

— Я тебя не узнал даже, до чего ты загримированная. Здорово играла, — сказал Славка. Большого комплимента было не придумать, все «артисты» мечтали прежде всего о том, чтобы их нельзя было узнать.

С тех пор Маша не могла забыть о театре. Она «представляла» дома, в комнате, на кухне, во дворе. Боялась только насмешек Виктора и никогда не рассказывала при нем ни одного стишка, ни одной роли.

Однажды во двор вместе с шарманщиком зашли два акробата. Они кувыркались, становились на голову и друг другу на плечи, ходили колесом.

Маша попробовала сделать то же самое дома. Попробовала встать на руки, но некому было поддержать ноги, и ничего не получилось. Тогда она поставила на руки Севочку и осторожно подняла его за пухленькие ножки. Севочка не понял и захныкал.

— Идиотка, ребенка искалечить хочешь! — закричала няня и отняла Севочку, а Машу наградила шлепком.

— Что такое «идиотка»? — спросила Маша маму вечером, оставшись с ней наедине.

— Это нехорошее слово.

— А что оно значит?

— Идиотка — значит умственно-отсталая, слабоумная. Это научная форма слова «дура». А зачем тебе?

— Так просто.

Маша загрустила. Няня была хорошая, честная, не врунья. Значит, Маша действительно дурочка, умственно-отсталая?

Она присматривалась ко взрослым: не обходятся ли они с ней, как со слабоумной? Иногда казалось, что так и есть: говорят между собой, а потом вдруг взглянут на нее и умолкнут — «при ней нельзя». Не хотят ей многого объяснять, отговариваются, что она маленькая.

Она томилась долго, не зная, как установить окончательно: нормальная она девочка или нет? Няня называла ее идиоткой несколько раз, — не могла же няня всё время шутить!

Наконец, пришла мысль: «ведь я запомнила наизусть длинную роль, значит, память у меня хорошая. Интересно, бывают ли идиоты с хорошей памятью?»

Когда она спросила об этом мать, та рассмеялась и сказала, что не бывают. Теперь Маша установила, что она нормальная, но няня — лгунья и бросает слова на ветер. Это тоже было неприятно, но меньше, чем сознание собственной неполноценности.

Севочка подрастал. Он был очень любопытный мальчик и всё время порывался залезть в папин книжный шкаф. Но открыть дверцу шкафа он пока не мог, как ни трудился. Однажды Маша вернулась со двора, где играла в классы, и ахнула: Сева сидел на полу, а перед ним высилась гора мелких бумажных клочков. Он разрывал последний листок книжки — это был комплект детского журнала «Светлячок», представлявшего, по мнению Маши, большую ценность: в конце каждого номера были напечатаны письма детей-читателей друг другу, из которых можно было узнать, у кого какие коллекции, кто куда ездил, кто сочиняет стихи, кто дрессирует собаку и держит дома золотых рыбок. Ничего такого у Маши не было, и ей интересно было знакомиться заочно с теми, кому посчастливилось иметь рыбок и коллекции или путешествовать по Швейцарии. Маша не обращала внимания на то, что журнал был за 1907 год: дети, которые вели переписку на его страницах, давно уже выросли и превратились в мелких буржуа, землевладельцев, лавочников.

Журнал был изорван в клочья и виноват был Севка.

— Как ты смел? Что ты сделал? — набросилась Маша.

— Я прочитал всю-всю эту книгу, — ответил малыш торжественно.

Маша долго выговаривала своему глупому братишке. Кажется, он что-то понял.

Мама куда-то уехала. Ее не было дома день, неделю. Маша всё чаще нянчила Севочку, гуляла с ним. Он был очень смешной, лобастенький увалень, плакал мало и всем нравился.

Папа шил сапоги и ездил на огород, няня сбивалась с ног, добывая продукты питания. На мамин паек давали одно пшено и каждый день няня подавала на обед пшениную кашу. Для разнообразия она то посыпала кашу солью и мелко рубленой петрушкой, то поливала молоком, то делала из нее котлетки. Пшено всем надоело, и Маша сказала няне:

— Мы скоро нестись начнем, ты нас всё пшеном кормишь, словно кур...

Няня всё чаще покрикивала на Машу, требуя помощи. Если Маша просила дать ей чашку или чистые чулки, няня заявляла:

— Слуги, подайте на барыню пуги! Сама возмешь.

Пуга — это был кнут, которым погоняли волов.

Другой раз, приучая Машу к работе по дому, няня сказала:

— Бар теперь нет. Господа теперь в Черном море купаются.

— Почему в Черном море?

— Их туда красные загнали...

Маша не уклонялась от домашних дел — они подымали ее в собственных глазах. Водопровод в доме перестал работать, как только власть вернулась к красным, — наверно, хозяин «забылся» о водопроводе. Так или иначе, но за водой теперь няня ходила к водокачке, на базарную площадь.

Лето только начиналось, но уже стояли солнечные жаркие дни. Маша грызла черные сухари и часто прикладывалась к медной кружке, которой черпала воду из ведра.

— Ты бы принесла с полведра воды, некогда мне, — бросила ей няня.

Маша с готовностью взяла ведро. Но так как Севочка был тоже поручен ей, она взяла с собой и его.

У водокачки собралась большая очередь. Маша стала в самый конец.

Струя воды отталкивала ведро, с большим трудом Маша удержала его, наполнив до половины. В это время на базарной площади началась паника: люди метнулись в разные стороны. Посреди площади, встав на дыбы, кружилась рыжая лошадь. С ее оскаленной морды падала пена. К лошади пытался подъехать красноармеец, сидевший на смирном гнедом коньке.

Маша постояла с минуту, глядя на странное зрелище. Севочка стоял рядом, ему тоже было интересно. Лошадь проскакала совсем близко от них, когда кто-то крикнул Маше:

— Чего тарацишься, а ну отсюда подальше! Не видишь, что ли!

Маша отошла в сторонку, постояла немного и пошла домой. На полдороге она увидела идущую им навстречу няню с палкой в руках.

— Ну, слава богу, целы! — сказала няня. — Иди, иди домой, скверная девчонка, там тебе папа задаст! С ума ты сошла, вести ребенка туда, где бешеная лошадь! Ведь лошадь могла раздавить Севочку.

Маша слушала, но не совсем понимала няню: сами послали за водой, а теперь ругаются...

Няня перестала громко ругать Машу и неожиданно сказала ей совсем другим голосом, по-своему и даже с сочувствием:

— А папа тебя бить будет. Пругья приготовил. Соседка пришла с ведрами и насплетничала.

Маша не поверила: папа был очень добрый. Никто никогда не бил Машу, кроме Виктора, — мягкие шлепки родительских рук она не считала за битье. Конечно, сейчас он расспросит ее, как было дело, выяснит...

Она поставила ведро в кухне, отдала няне Севочку и прошла в комнату.

— Иди-ка сюда, — сказал отец странным охрипшим голосом. Он был не похож на себя: белки его глаз покраснели, рот был полуоткрыт. В руках он держал зеленый ивовый прут.

Маша подошла, всё еще не допуская мысли, что он побьет. И вдруг он кинул ее лицом на свое колено, спустил короткие ситцевые, мелким цветочком, штанишки и больно хлестнул прутом.

Этого она не ждала, нет. Рванулась уйти, но он держал левой рукой, а правой бил. Злодей, тиран, несправедливый! Нет, такому она не хотела подчиниться, такому она и сама могла сделать больно. Она царапала его рукав и вдруг нашла над кистью руки белое, не защищенное место и впиалась зубами — другого оружия не было. Сильно, злобно куснула его, так что он оторопел на минуту, но потом с новой яростью нахлестал. Наконец, удалось вырваться и убежать, на ходу натягивая ситцевые штаны.

«Уйду из дому. Несправедливые. Уйду. Пусть мучаются, ищут, зовут: Машенька, Машенька! А меня и нет» — горько думала она, стоя в углу двора за деревом. Сесть было нельзя — побитое

место горело.

— Больно было? — спросил маленький Ленька. Вокруг Маши уже стояли ее верные друзья. Они обо всем уже знали, неизвестно откуда.

— Неужели не больно, — мрачно ответил Славка, не глядя на дрожащую от слёз Машу. И, чтобы подбодрить ее, сказал. — Меня отец часто дерет. Последний раз я ни разочка не заплакал, но когда держишься, то хуже, больнее. А когда кричишь, то легче.

Никто не спрашивал, за что били. Взрослые сильнее, они всегда найдут за что. Мало кто из них разбирается в сути дела.

Она стояла в углу двора и дрожала. Повернув лицо, увидела, как няня вынесла помои и оглянулась, ища ее глазами. Тогда Маша вышла на улицу.

— Не приставайте к человеку, — сердито сказал Славка ребятам, побежавшим, было, за Машей, и увел их в глубину двора.

Стемнело. Маша пошла к железнодорожному мосту, где когда-то грозил ей ружьем иностранный солдат. Под мостом ехали поезда, над ними по мосту звенел трамвай. Люди спешили домой с работы. Никому, не было дела до того, что Машу обидели. И кто обидел? — Отец, которого она так любила и ждала!

Становилось прохладно, но Маше от этого было только приятнее: меньше горело побитое место... Невзначай она подошла к забору своего двора и вдруг услышала:

— Маша! Машенька! Домой пора! — это кричала из окна няня. Маша не двинулась с места. «Уже волнуются. Так им и надо» — подумала она.

Спустя полчаса няня вышла на улицу, щелкнув щеколдой калитки, и снова стала звать Машу.

Маша стояла неподалеку у забора, но в темноте ее не было видно. Уже хотелось есть, но для этого надо было идти домой. И не на улице же ночевать, в самом деле!

— Машенька! — звала испуганно няня.

— Сами бьете ни за что, а сами зовете, — ответила ей Маша из темноты. Няня тотчас кинулась на ее голое.

— Иди, папа очень волнуется, — няня взяла ее за тонкую ручку.

«Ага, волнуется! Так ему и надо!» Маша почувствовала себя отчасти отомщенной. Ей не хотелось почему-то видеть отца, она разочаровалась в нем. А он уже пришел в себя. Не мог же он объяснить ей, что мама две недели не дает знать о себе: выехала с детдомом на дачу, обещала вскоре вернуться, взять Машу и Севу, а сама не едет. А сейчас всюду столько бандитов, недобитых «зеленых» и махновцев. Не мог он сказать, что, по словам соседки, выходило так, что Маша заставляла брата подойти с ней поближе к страшной лошади. Ничего этого он не объяснил, а только буркнул неловко: «Пора уже тебе соображать немного!» — и погрузился в книги, которые он всегда раскладывал на своем столе по вечерам. Он выглядел виноватым, хотя не признался в этом и не попросил извинения. Всё равно, на него было стыдно смотреть, и Маша быстро нырнула в постель. Сон освободил ее от тяжелых мыслей.

Она не скоро простила отца. Как-то вечером зашла учительница из детдома и сообщила, что Анна Васильевна хорошо устроила детей, наладила, питание и на днях приедет, чтобы забрать с собой Машу и Севочку на всё лето. Отец повеселел, стал шутить и возиться с детьми, сочинял им какие-то стихи, рисовал картинки. Маша не могла забыть безобразную сцену порки, но уверилась в том, что больше никогда-никогда отец ее не тронет. Он ничего не говорил об этом, она догадалась сама.

После ухода отца из «Заготпрода» в доме снова появились фанера и сосновые чурбашки. Снова щепки и стружки посыпались на пол, а под Письменным столом, между двумя тумбами, выстроились раскрашенные бабочки и ветряные мельницы. Игрушек было так много, что папа

взял с собой на базар Машу.

— Ты будешь смотреть, чтоб не стащили чего-нибудь, — объяснил он ей.

Стоял солнечный летний день, и на базаре былолюдно. Множество телег, запряженных волами, расположилось у входа в рынок. На одних лежал серый сморщенный прошлогодний или только что накопанный вихрастый розовый молодой картофель, на других — мешки с мукой, молодые маленькие огурцы, початки первой пшенички-кукурузы. Они были похожи на кукол, запеленутых в светлозеленые одеяльца. Из пеленок выглядывали пряди волос — ровно расчесанных, салатного цвета, белых с рыжинкой и всклокоченных коричневых, точно сожженных горячим ветром.

Ближе к центру базара товары раскладывались прямо на земле, на подстеленных платках и холстинах. Тут были жареные семечки, серые — подсолнечные и белые — тыквенные, маковки, мед в бутылках. Маша залюбовалась товаром гончара: кринки, миски и горшки были любовно расписаны цветной глазурью: зеленой, голубой, белой. Видно, гончар любил узоры; даже самые дешевые, не поливанные горшки были украшены у горлышка волнистыми полосочками.

Отец расположился возле гончара и вынул из корзины игрушки. Он шутил, поучал Машу, отвечал на реплики покупателей, товар его быстро пошел в ход.

— А, никак старый знакомый? Профессор?

Перед разложенными на земле игрушками, широко расставив ноги в русских сапогах, стоял человек в светлосерой гимнастерке. Фуражка со звездочкой была сдвинута на затылок, из-под нее весело выбивались темные крупные кудри. И весь этот человек был крупный, веселый и добрый, — так показалось Маше.

Отец обрадовался, потом смутился. Стал что-то объяснять «старому знакомому», но тот слушал, морщась, словно пил слишком кислый квас:

— Не думал вас тут встретить. На чёрта вам эти цацки? Что вы делом не займетесь, а? А какие лекции читал у нас, какие лекции! Как же вас понимать: советская власть призывает интеллигенцию на трудовой фронт, свое прямое дело делать, а вы... Что же это, пассивный саботаж, или...

— Вы забываете, товарищ комиссар, что не так-то всё просто. Биография у меня не совсем обычная, — прервал его отец.

— Ясно, на что намекаешь, — мол, пятно имеется в биографии... Потому тебе и следовало добиваться своего дела, а не цацками торговать, товарищ профессор! А ты со своим пятном носишься, как курица с яйцом! — комиссар уже перестал церемониться, его злила нерешительность этого интеллигента, трусость что ли, и полное непонимание своих задач. Злила и почему-то одновременно веселила, ибо комиссар отлично видел: этому человеку только толчок нужен. Неужели же ему весело в этом деревянном царстве!

— Дело не только в пятне... — отец, видимо, колебался рассказать комиссару тут же всё об университете или не рассказывать. Потом встал с места, велел Маше присматривать за товаром и, отойдя в сторону, рассказал всё начистоту.

— Свертывайте-ка свою торговлю да едьте со мной. Будете студентов учить, зоотехников готовить, — решил комиссар. — Я ведь отвоевался, назначен, знаете куда? В зоотехникум, тут недалеко, под городом. Там никудышный комиссар был, малограмотный. А я ведь в прошлом — сельский учитель. Тоже интеллигент! — и он расхохотался от души, так не подходило к нему это слово, которое нередко произносилось в те годы с упреком и неодобрением.

Комиссар крепко пожал отцу руку и ушел. Еще не было продано и половины игрушек, но отец не мог больше оставаться здесь. Не замечая Маши, он уложил обратно в корзину барабанчиков и ветряные мельницы и быстро зашагал домой. Он думал о чем-то своем и на Машины вопросы отвечал невпопад.

— Эти игрушки нам останутся? — спрашивала Маша в десятый раз.

— Да-да, вероятно, — бормотал отец, уставившись вперед, но не видя идущих впереди пешеходов. Только руку Машину он не выпустил из своей до самого дома.

О маминой судьбе пана волновался напрасно: никто не напал на нее, ли «зеленые», ни махновцы. Вскоре она приехала, забрала с собой Машу и Севу и отвезла на дачу в Терны.

Детдом занимал бывшую графскую дачу. Двухэтажная, окруженная застекленной верандой, она стояла в кустах жасмина и сирени на крутом берегу маленькой, речки. Под верандой был длинный сарай, взрослые ходили там, нагнув голову. Когда Маша с другими детьми заглянула туда, кто-то ухнул оттуда так, что дети отпрянули разом.

— Это филин, — объяснили ребята, — вечером он вылетает за добычей. А на чердаке живут летучие мыши.

Пришлось полезть на чердак, благо к слуховому окну была почему-то приставлена лестница. Резные деревянные наличники были сухие, как картон. Маша влезла в окно, прыгнула на пол и огляделась. На чердаке стоял большой раскрытый сундук с какими-то бумагами и книжками. Мягкая пыль лежала под ногами, как старое ватное одеяло. Крыша накалилась от солнца, на чердаке было жарко, как в духовке, из которой только что вынули пироги.

Под самым ребром крыши висели крошечные черные бархатные тряпочки. Это были летучие мыши. Оки висели неподвижно, вниз головами, слепые днем, будто притворялись мертвыми. Это были единственные жильцы дома, упорно оставшиеся на своих местах после пожаров гражданской войны, согнавшей с насиженных мест многих владельцев поместий и дач. Маша так и понимала: простые мыши, живущие под полом, бывают у всех, а такие вот бархатные летучие мыши живут только в бывших, барских домах. Ночью они вылетали, и над садом начинался безумный полет крохотных, стремительных животных. Машу пугали, что летучие мыши могут вцепиться в волосы и тогда их не отдерешь.

Маша часто вечерами следила за черными теньями, носившимися в воздухе, и думала: и зачем мышам крылья? Бесполезные, бессмысленные ночные животные казались ей духами отжившего старого мира.

В первый же день Маша увидела в стороне от дачи высокую проволочную сетку, натянутую меж столбов. Из этой сетки были сплетены стены какого-то непонятного загона. Мальчишки из детдома первые нашли странную сетку и деловито принялись расплетать ее с края на проволоку. Каждый намотал себе изрядный клубок, хотя никто не понимал толком, куда эта проволока может пригодиться.

— Что тут было? — спросила Маша у мальчишек.

— Тут был собачий загон. Эти бары были охотники и собачники, у них с полсотни собак было, сторож рассказывал.

Маша взглянула на деревянный герб, украшавший ворота: хлыст и дубовая ветка! Здесь жила сумасшедшая барыня. Конечно, ведь она рассказывала, что у них было штук шестьдесят собак! Маша посмотрела за сетку и на секунду представила десятки раскрытых пастей, неистовый лай. Сколько у них выходило корму на одних собак! Маша подошла к сетке и отмотала себе проволоки, хотя положительно не знала, куда она денет ее. Остатки барской жизни разрушались, и Маша хотела делать это вместе со всеми.

Сумасшедшая барыня рассказывала, что у них была оранжерея. Найти бы ее, что это такое? Что-нибудь оранжевое? Маша ходила по саду. Росли деревья: маленькие елки с голубыми каемками на ветках, круглые липы, раскидистые яблоньки, сладко пахнувший белый жасмин. Какая это оранжерея? Что с ней делают?

Оранжереи не было нигде. Только за домом сторожа, где дали комнату Машиной маме,

была странная длинная яма со стеклянной крышей. В яму вели кирпичные ступени. Маша спустилась вниз. На длинных столах-лавках стояли горшки с пересохшей землей, из которой торчали сухие палки. Здесь разводили цветы. Только зачем для этого полезли в землю, Маша понять не могла. Стёкла над кирпичной ямой были перебиты, и вообще она напоминала дом, поставленный набок: то, что в нормальных домах бывало в стенах, здесь оказалось на потолке.

— Нынче не успеем, а на будущий год разведем здесь цветы, — сказала мама пришедшей с ней учительнице, указывая на яму. — Нам оранжерея еще пригодится.

Маша очень удивилась, узнав, что это и есть оранжерея.

В детдоме кормили хорошо. Беспризорные дети, попавшие сюда, не решались уйти и потерять вкусную горячую пшеничную кашу с маслом, белую булку, компот из слив. Они были сыты. Мама строго следила за кладовой. Однажды она поймала повариху на преступлении: та бросила в кашу сахарин, а сахар, отсыпав в мешочек, собиралась отнести на базар.

— Я вас увольняю сегодня же, — сказала мама твердо.

Повариха стала на колени, клялась и божилась в чем-то, но это не помогло. Такая добрая и мягкая с детьми, мама оказалась весьма суровой. Она смотрела на повариху злыми глазами, без всякого смущения. Такой ее Маша не видела никогда.

Как ни кормили детей, они продолжали попрежнему разыскивать в лесу еду, искать съедобные растения. Кучками и поодиночке бродили они по лесу, рвали с диких яблонь кислицу, ели терпкие, вяжущие язык плоды терновника. Во рту становилось тесно от одной крохотной лесной груши, — так она стягивала десны и губы. Но отказаться от поисков лесной пищи было трудно, и Маша вечно ходила с ободранными от лазанья по деревьям коленками.

Они каждый день бегали на речку. Пока малыши купались, старшие мальчишки завязывали узелки на их рубашонках и трусиках. Вылезшая из воды мокрая и дрожащая Маша долго прыгала вокруг своего бельишка, развязывая узелки. А мальчишки смеялись и кричали с берега: «Ишь, сколько у тебя сухарей! Погрызи сухарики!».

На речку ребята шли строем, а возвращались как придется. Однажды их остановили на полдороге. Взрослые люди несли кого-то в беседку. Это была девушка в мокром платье с мокрыми волосами. Люди положили на траву ее неподвижное тело и стали поднимать ей руки, разводя их в стороны. Она не дышала, но люди упорствовали, они даже вспотели от этой странной работы. Их было двое: парень в расстегнутой на груди рубашке, в брюках, заправленных в сапоги, и рыбак — немолодой мужчина в парусиновой одежде.

— Утопленница, — сказал кто-то рядом. — В воду бросилась.

Люди продолжали тянуть утонувшую за руки. И вдруг вода хлынула у нее изо рта. Маша заметила, как шевельнулась нога утонувшей девушки, как засуетились люди, подкладывая ей что-то под голову. А молодой парень стал возле нее на колени и бормотал ей что-то, просил прощения.

«Он спас ее, — подумала Маша, — почему же он просит прощения?»

А он не вставал с колен и всё повторял: «Галя, Галя, прости меня, Галя! Освободи ты меня от этого греха!»

— Идите на дачу, дети, — сказала сопровождавшая ребят учительница. — Сегодня купаться никто не будет.

И они снова поднялись на гору, притихшие и полные впечатлений. «Она была совсем, совсем мертвая, — говорил кто-то. — На том свете побывала. Интересно спросить, что она там видела?»

— Дурак. Она под водой пробыла несколько минут, да в беседке. Ничего она не видела. Без сознания была.

— Того света просто нет, — пояснил кто-то постарше. — Помрешь, сам узнаешь.

Игры, в которые ребята играли, не всегда были похожи на детские игры. Иногда девочки хватали Машу за руки и за ноги, тащили ее и кричали: «Разрыв сердца! Разрыв сердца!». Мальчишки стреляли, метко бросались камнями и шишками. Самой умной и всеми любимой игрой была игра в знамя. Сад делили чертой на две части, с одной стороны были красные, с другой — белые. Те и другие имели знамя, прятали его и охраняли, а враги пытались его утащить.

Игра была хорошая, но никто не хотел быть белым. Тогда учительница предложила делиться на красных и синих.

— Синих не бывает, это не похоже на правду, — ответили ей.

— Бывать-то бывают, — вмешался один мальчик. — Не синие, а голубые, жовто-блакитники. Но все они против красных.

Согласились играть по очереди, чтоб никому не было обидно. А потом ребята просто перестали называть оба лагеря. Сад спускался к реке по склону берега и игроков называли «нижние» или «верхние».

В конце августа детдом вернулся в город. Маше было грустно уезжать далеко от зеленых рощ, лугов, покрытых цветами. Букет полевых цветов, привезенный с детдомовской дачи, увял еще по дороге.

Глава двенадцатая

Не успела Маша хорошенько осмотреться в городской квартире, как родители снова стали связывать вещи в узлы, плотно набивать бельем и домашним скарбом плетеные корзины и ящики. Предстоял переезд, но уже не на дачу, а на новое место папиной работы.

Им дали квартиру из четырех маленьких комнат в одноэтажном флигеле. Маша сразу же заметила, что на новом месте хорошо кормят. Можно было каждый день пить молоко, сколько хочешь. За молоком Маша часто ходила на ферму сама.

Длинный узкий коридор разделял два ряда стойл, где стояли коровы, громадные, как рыжие слоны. Их доили студенты в белых халатах. Дежурный студент сидел у входа в коровник за маленьким столом. На столе лежали журналы записей удоя, какие-то списки, на особой подставке стояли пробирки с молоком, заткнутые кусочками ваты, лежали какие-то странные термометры. У входа возвышался громадный бидон. Доившие коров студенты приносили ведра с молоком, давали на анализ, а потом сливали молоко в бидон.

— Ну, ставь сюда кувшин, профессорша, — говорил Маше дежурный и аккуратно наливал два литра парного сладковатого молока. Два литра — Маша знала это, потому что рядом на стенке висел плакат с объяснением, что такое литры и метры и сколько фунтов будет в килограмме.

Кувшин был умывальный, с широким горлом. Маша брала кувшин за ручку, другой ладонькой поддерживала его голубое эмалированное горлышко и осторожно несла драгоценную ношу домой.

Еще здесь были удивительные лошади. Комиссар часто осматривал поля или ездил на станцию, — ему всегда запрягали Пальму или недавно обьеженного Красавчика. К крыльцу Комиссарова дома подъезжала бричка. Красавчик, тоненький, как стрела, слегка закидывал голову и пронзительно ржал. Его темная атласная шкура отливала голубизной, он нетерпеливо перебирал тонкими, как молодые деревца, ногами, и когда седок натягивал вожжи — жеребец несясь в радостном исступлении за пределы красной кирпичной ограды. — «Ох, и горяч!» — говорил про него комиссар, но в следующую поездку снова просил запрячь Красавчика. Комиссару нравилось умелым движением рук укрощать молодое животное, подчинять его своей

воле и давать простор его силе там, где это было возможно.

Однажды Маша видела, как Красавчика вели к кузнице. Следом бежали ребята. Маша присоединилась к ним.

Красавчику набивали подкову. Его привел студент Дымко, и пока кузнец делал свое дело, Дымко ласково трепал рукой узкую морду своего любимца. Конь сердито косился назад, но не рвался и дал себя подковать.

В кузнице было что-то заманчивое для детей. Она стояла на пригорке у реки. Звон молотов, подобный музыке, был слышен далеко за рекою в полях. Кузнец и его помощники казались Маше волшебниками. Их лица были, измазаны сажей, как будто загримированы, а глаза блестели необычайно ярко. И разве не было колдовством — сделать черное железо розовым, превратить твердый увесистый кусок в мягкий, послушный, и несколькими ловкими ударами изменить его вид? Как красиво работали сильные руки! Про кузнеца говорили, что он всего года два, как оставил седло кавалериста, в гражданскую войну пашка его ударяла так же метко, как молот сегодня.

Наконец, кузница была складом немыслимых сокровищ. Под высоким навесом у стены можно было видеть сваленные в груду поломанные части сельскохозяйственных машин, — колесики, шестерни, втулки. Они были выкрашены в красный, черный, желтый и зеленый цвета и от этого приобретали еще большую притягательность для мальчишек и девчонок. Нацелившись глазом на какую-нибудь шестерню с выщербленным зубом, Маша, улучив момент, хватала ее из кучи лома и, прижав к сердцу, быстро убегала домой. Там, под ступеньками невысокого крыльца, хранились ее лучшие драгоценности: такие же обломки машин, разноцветные стеклышки, коробочки, тряпки. Мать запретила носить этот хлам в комнаты и искренно удивлялась, что девочка не играет в куклы. Но что за интерес в кукле! У ней всё готовое — платье, туфельки, чепчик. Маша предпочитала рыться в куче сухого мусора, где можно было увидеть неожиданно заблестевший золотом и лазурью осколок фарфорового чайника. Найти самой, да еще такую красивую вещь!

Отец стал преподавать в зоотехникуме. Студенты иногда заходили на квартиру и спрашивали: «Дома ли профессор?».

Деревянные игрушки, плетеные корзины, ботинки с вечным швом! Теперь вы ушли в далекое прошлое. Папа учил студентов, он читал лекции. Он был ботаник, но на первых порах должен был читать и зоологию. Для опытов ему были нужны лесные травы и водоросли, лягушки, тритоны, ужи, птицы... Он знал секреты многих животных и птиц, — с каждой пичугой он разговаривал на ее собственном языке, она охотно откликалась и выбалтывала ему свои птичьи тайны. Помимо всего прочего, он завел себе в поле опытный участок и разводил гибриды зерновых.

Отец поручал Маше наловить ему квакш-лягушек щегольски-салатного цвета с белой шелковой подкладочной на животе. Эти лягушки жили на деревьях, они лазили по корявому стволу, цепляясь за него своими зелеными пальчиками. Они были чисты и приятны на вид, Маша ловила их с большим удовольствием. На охоту она всегда брала с собой Севу, который, хотя и был мал, но уже зарекомендовал себя верным товарищем. Он не был шумлив и мог часами молча сидеть у муравейника, разглядывая многоэтажный муравьиный дом и не обижаясь, если какой-нибудь сердитый муравей кусал его за ногу.

Сад напоминал запущенное дворянское гнездо, описанное в книгах: начинающие зарастать травой тропинки, водоемы, покрытые ряской, огороженные известняком, старые липы, красные клены.

В некоторых водоемах вода была прозрачной, тритоны всплывали наверх и грелись на солнце, черные, с оранжевыми рябинками на животе и шее. Дети ловили их руками и, зачерпнув

воды в банку, бросали туда своих пленников. Здесь же смешно плавали, то вытягивая, то расставляя лапы, краснобрюхие жерлянки — аккуратные маленькие лягушки, сверху черные и блестящие. Папе требовалось две штуки — Маша выполняла его поручения точно. Остальные жерлянки беззаботно резвились в водоеме, им ничто не угрожало.

— Змея! — сказал вдруг изменившимся голосом Севочка, но не сделал ни шага назад: ему было интересно, как это она двигается без ног.

Маша взглянула и увидела плоскую головку с оранжевыми пятнами за ушами. Это был уж, папа учил не бояться таких змей.

— Не бойся, это уж. Мы его возьмем, — решила она и протянула руку к траве. Уж высунул раздвоенный, язычок и попытался нырнуть в траву, но Маша схватила его за спинку и подняла. Он был сильный и тугой, он извивался в руках, но девочка удержала его. Это был трофей: папа ужá не заказывал.

Они пришли домой довольные и усталые. Сева нес банку с тритонами и лягушками, Маша надела себе на шею ужа, вместо ожерелья, придерживая его рукой за горло, — ведь после головы сначала всё-таки шло горло, переходя неизвестно где в ужинное брюхо. И очень хотелось, чтобы ее увидели в этот момент соседские мальчишки. Но, как нарочно, мальчишек не было видно. Особенно огорчало, что не встретился соседский Колька. Надо было сбить его спесь, — он очень часто хвастался тем, что его папа — завканц. Кто такой «завканц» — Маша не знала и воображала, как и сам Колька, что это какая-нибудь важная власть. Колькин отец заведывал канцелярией.

В пышных листьях кустарника, среди оранжевых ягод боярышника высилась красная кирпичная ограда.

Если забраться на верхушку ограды и пойти по ней — увидишь всю жизнь зоотехникума. Ограда тянулась вдоль свинарника, где могучие с крохотными глазами свиньи мели ушами землю, а студенты купали их, поливая из лейки; мимо молочной фермы, где за загородками стояли коровы, — белоносые швицы и рыжие «немки», — это комиссар закупил их где-то в западном районе, привез сюда и стал улучшать породу. Ограда шла мимо студенческой кухни, возле которой было свалено огромное количество выкорчеванных пней, похожих на спрутов с обрубленными щупальцами. Дежурные студенты-истопники распиливали пни и раскалывали их на поленья. Дежурные студенты-повара в белых передниках и колпаках выходили на воздух подышать, — в кухне было жарко. Ограда шла мимо пожарной части, и однажды дети видели ученья студентов-пожарников: папин ученик Ильченко в медной каске и брезентовом костюме сидел на крыше сарай и старательно поливал из шланга условно горевшую крышу. Они играли в пожар, Маша поняла сразу.

Дальше ограда шла садом, шла мимо сараев и складов и ступенчато опускалась вдоль леса вниз, к реке. Здесь Маша увидела сверху две лисьих норы. Она проболталась соседским мальчишкой, и вскоре Колька поймал лисенка и привязал его у себя за сараем. Лисенок был жалкий, тощий, облезлый, он с ненавистью и страхом скалился на подходивших людей. Колька кормил его остатками супа, и лисенок сдох бы в своей вонючей загородке, если б веревка, которой он был привязан, не оказалась гнилой. Как-то ночью он убежал с веревкой на шее, и Маша вздохнула с облегчением, узнав об этом.

Однажды к вечеру отец вернулся расстроенный. Он закрыл от детей дверь, обедал вдвоем с матерью и о чем-то возбужденно рассказывал ей.

В квартиру постучали. Вошли двое студентов — Колесников и Ильченко. Вид у них был живописный: закатанные по колена штаны, босиком, за плечами ружья. У Колесникова в руке была банка с водорослями. Ильченко держал на весу двух убитых куликов. Лица студентов были счастливыми.

— Профессор... Извиняемся, что на квартиру... Вы вчера говорили, надо бы кулика для занятия, — вот... Имеется. И водоросли. Примите.

Отец довольно улыбнулся.

— За кулика спасибо, и за растения. Рад, что вас увлекает наука. Сегодня я экзамены принимал, а когда же вы придете сдавать? Завтра?

— Мы завтра придем сдавать.

— Ну-ну!

Студенты вышли, оставив куликов и стеклянную банку. У дома они столкнулись с кем-то и тотчас ввязались в спор. Послышались громкие голоса:

—...Срывает подготовку специалистов! Контра!

— Вам не специалистов надо, а списки окончивших техникум.

— Надо знать, кого можно резать на экзаменах, а кого нет!

Заслышав шум голосов, отец вышел и открыл дверь на улицу. В дверях стояли двое из администрации зоотехникума и комиссар.

— Мы к вам, профессор, — сказал директор зоотехникума значительно. — Дело до вас есть.

— Входите, товарищи, — пригласил отец.

Все вошли и расселись в комнате отца.

— Не ждали мы от вас, Борис Петрович, такого... — начал директор. — Вы же срываете подготовку специалистов сельского хозяйства.

— Двенадцать неудов наставили, — наставительно сказал комиссар. — И кому? По большей части, коммунистам. Лучшим студентам, которые кровью своей заслужили право учиться.

— Неуды поставил лентяям. У меня есть и коммунисты-отличники, — возразил отец.

— И даже секретарю партийной ячейки неуд. Мы считали вас за честного молодого спеца... — добавил заместитель директора.

— Но он ничего не знает, ваш секретарь ячейки! Он не мог мне ответить, кто такой Дарвин!

— Как спросить... Другие профессора так не делают. Другие поощряют стремление народа к науке.

Отец покраснел до корней волос. В таком волнении Маша его не видела.

— Саботажники они, ваши другие! — закричал он, встав с места. — Я взялся вырастить советских специалистов, и выращу. А эти «другие» секретарю комячейки и без экзамена готовы поставить отлично! А для меня он студент. Завтра его поставят зоотехником совхоза, — он же весь скот перепортил! Спецы. Надо бы посерьезней разобраться в спецах, прежде чем обвинять!

— Чего вы, собственно, раскричались? — лениво спросил заместитель директора.

Комиссар задумался. Он не ждал такой страсти. Старые специалисты разговаривали с ним дипломатично, не обнаруживая своих подлинных чувств, не забывая, что перед ними комиссар. А этот беспартийный профессор горячится, как на собрании.

— А вы зря не волнуйтесь, Борис Петрович, — продолжал примиряющим тоном заместитель директора. — Всё исправимо, мы обо всем договоримся. Не будьте так уж придиричивы, ведь студенты ваши — от сохи... Ну, поставили неуд двоим-троим, и хватит. А секретарю неудобно. Он же на виду. Авторитет потеряет... Мы только тут, в техникуме, за них отвечаем. А как они после выпуска работать будут, — это уж спросят с других. Практика поможет подтянуться.

— Я советскую власть не обманывал и не стану обманывать, — твердо сказал отец. — Отметки выставил по заслугам. Пусть готовятся — переэкзаменуую. Но я не гарантирую, что неудов станет меньше. А насчет авторитета — не согласен. Может, в политике секретарь и

сильней меня, но как студент... — он покачал головой.

— Авторитет горбом добывается, — неторопливо сказал комиссар. — Это верно, еще Ленин сказал недавно: учиться, учиться и учиться...

— Я не читал речи Ленина, но совершенно с ним согласен: сейчас советским людям надо учиться, а не скидки просить. Что нам, на иностранных спецов рассчитывать, что ли?

Комиссар улыбнулся — ему было приятно, что молодой профессор думает о будущем, понимает свою задачу. Вслух же он сказал:

— Напрасно Ленина не читали. Зашли бы, взяли у меня газету с его речью и кое-какие книжки. Вам без политграмоты не обойтись. Насчет отметок вы убедили меня. Устроим для них лишние консультации, поможем.

Они попрощались и вышли.

— Чёртовы спецы! — послышался со двора голос заместителя директора. — Учить их надо — мелкая буржуазия!

— И у них кой-чему учиться тоже надо, — бросил комиссар заместителю директора. — Тебе бы только тишь да гладь, да божья благодать, сверху порядок, а что внутри — не важно. Видывал я профессоров: редиска — сверху красные, а внутри белые. А этот не подхалим, он работник будет у советской власти.

Глава тринадцатая

Маша любила уходить за черту красной кирпичной ограды, окружавшей техникум с его жилыми постройками и службами. Справа за оградой расстилались луга и поля, слева темнел лес. Зеленый луг простерся до горизонта, на лугу стояли четыре огромных квадратных стога сена: на них невозможно было взобраться, так круто были стога наметаны. А еще правее, за круглым холмом желтели поля, где сейчас шла уборка пшеницы и жита. Здесь тоже работали студенты.

В лесу росла земляника, в траве прятались маслята и моховики. Невдалеке от дороги в лесу раскинулось кладбище. Туда Маша ходила частенько. По надписям на крестах и памятниках можно было узнать, какие здесь жили люди, что с ними случилось, когда они умерли.

На могилах с гранитными обелисками и крупными каменными крестами лежали венки из металлических и фарфоровых цветов. Несколько раз в надписях встречалась фамилия прежнего владельца усадьбы Ворченко и его родни.

На отшибе, на песчаном холме высился грубо отесанный деревянный крест. У его подножья стояла ржавая жестяная мера, какой на базаре меряют картофель, и прислоненная к кресту старая выщербленная лопата. Никто не трогал эти два предмета, хотя могила не была огорожена. К кресту была прибита тоненькая досочка, а на ней черными расплывающимися буквами было что-то написано. Чернила так прочно въелись в доску, что их не смыло ни дождем, ни снегом.

Маша прочитала: «Никифор Марченко, двадцати лет, убит в августе 1913 года родным братом Василием за меру картошки. Пусть узнают люди всю правду. Когда делили урожай, Василий пожадничал, хотя работали ровно. И он ударил Никифора этой лопатой по голове и убил на месте. И была для злодея мера картошки ценой жизни человека».

От этой могилы было трудно отойти: давно было дело, много прошло лет, а могила кричит. Кричит ржавая жестяная посуда, кричит выщербленная лопата, кричит полуграмотная надпись: неправильно устроена жизнь, несправедливо! За меру картошки убил человека... Ослеп он от жадности, что ли? Вспомнилась лопата, блеснувшая в руках «борова». Тоже чуть не убил...

Самые поздние могилы были украшены скромно. На иных вместо крестов стояли деревянные башенки с пятиугольной звездочкой, вырезанной из листа железа и выкрашенной в

красный цвет. Здесь покоились воины Красной Армии, защитники советской власти, простые люди.

Возле низенькой, ничем не отмеченной могилы возилась босая девочка, остриженная наголо. Она была похожа на маминых детдомовских ребят. Маша знала, что это Лида, дочь комиссара: сюда она приехала с матерью недавно, болела тифом, поэтому острижена под машинку.

Это была та самая «девочка в кофте с завернутыми рукавами», о которой рассказывал отец, вспоминая агитпоезд. Маша молчала, наблюдая за работой Лиды.

Лида собрала горку зеленых, точно лакированных сосновых шишек и укладывала их по краям могилки без надписи. Она выложила один ряд, начала второй, но шишек нехватило. Лида оглянулась на Машу.

— Принеси шишек, а то нехватает. Только зеленых, — сказала она так просто, будто была давно знакома с Машей. Маша облегченно вздохнула и побежала к низеньким сосенкам, на ветках которых виднелись зеленые шишки.

Теперь они украшали могилу вдвоем. Маша спросила:

— А кто здесь похоронен?

Она ждала, что Лида назовет какого-нибудь своего родственника.

— Здесь похоронен татарин Замалтын. Их двое было. Они пешком шли в Москву, к Ленину. По дороге заболели. У нас в квартире лежали. Один умер. Другой дальше пошел.

Вот оно что! Об этой могилке никто не позаботится, сюда некому прийти. Вот почему Лида старается.

А на тех могилах, у Ворченков, — цветы из жести, фарфора. Много цветов. Некоторые отломились — проволока перержавела — и лежат у подножья крестов...

— Я сейчас еще принесу украшения, — говорит Маша Лиде и бежит к Ворченкам. Оттуда она несет три зеленых жестяных листика, белую фарфоровую розу и несколько отбитых фарфоровых лепестков. Лида смотрит одобрительно и девочки раскладывают украшения на могилке.

— Ты не думай, тут ничего такого нет, — говорит Лида. — Просто справедливо. Что он, хуже их был?

Спустя два дня на могиле Замалтына появляется маленький столбик с картонной табличкой, на которой детским почерком написано: «Замалтын, татарин. Умер в 1922 году».

Маша не спрашивает, зачем Замалтын шел к Ленину. Имя, которое светом своим вскоре озарит всю ее жизнь, еще неизвестно ей во всем его великом значении. Родители редко называют это имя, они сами живут еще наощупь.

— Ты крест носишь? — спрашивает Лида. Маша ощупывает свой серебряный крестик на цепочке.

— Ношу.

— А я нет. Я точно знаю: бога нет и никогда не было. Я слышала, как папа объяснял это Усте — ты знаешь Устю? Это кухарка у Маркевичей.

— Мой папа тоже не верит в бога.

— Зачем же ты крест носишь? Я свой знаешь куда бросила? В помойку...

— Я тоже брошу, — говорит Маша.

— И правильно сделаешь.

Возле дома, где живет Лида, всегда толпится народ. У всех дело до комиссара: одна пришла спросить, какие теперь приняты новые имена, — не хочет дочку по-старому называть. Другой — насчет учения. Кузнец пришел поговорить о новом горне. Профессор Маркевич просит разрешения взять на развод шгук пять цыплят плимутроков.

У дома комиссара — скамеечка, дальше невысокий заборчик, для порядка, — за ним ничего не растёт, кроме травы. К заборчику прислонился парень в выцветшей гимнастёрке. Левый рукав у него от локтя пустой — парень потерял руку в гражданскую.

Вечереет. Парень собрал вокруг себя детвору и негромко разучивает с ребятами песню. Лида тут же:

*Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы счастья ключи.
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильнее стучи-стучи-стучи!*

Песню многие знают, подпевать стараются все. Потом парень начинает «Варшавянку»:

Вихри враждебные веют над нами...

Лида подтягивает всё время, она знает эти песни. Поют «Слезами залит мир безбрежный» и «Дубинушку». Никого не удивляет, что демобилизованный красноармеец возится, с ребятней и ни с того, ни с сего поёт вполголоса революционные песни.

Маша жадно слушает. Она не успевает подтягивать, не успевает сразу запомнить, эти песни она слышит в первый раз.

— И профессорские детишки здесь, — говорит со снисходительной улыбкой парень, оглядев Машу и Севу. — Ты что ж не поешь с нами? — спрашивает он Машу.

— Я не знаю этих песен.

— А какие ж ты знаешь?

Маша мучительно краснеет. Что сказать? Что она знает «Цыпленок жареный»? Или «Старый муж, грозный муж»? Господи, что же ответить?

— Я знаю «По синим волнам океана» и «В глубокой теснине Дарьяла» Лермонтова.

— Ну, спой нам.

*По синим волнам океана,
Лишь звёзды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.*

Машин голос становится тоненьким, жалобным. Отчего ей так стыдно? Она умолкает и глазами, полными слёз, смотрит на парня с одной рукой.

— Да... не научили родители, — говорит он задумчиво самому себе. — И в детях разница. Одни — уже человеки, граждане, а эти... Ну что же, запоминай наши песни, — говорит он Маше. — Запомнишь?

Хочется крикнуть: «Да! Конечно!» Но надо говорить точно, а не хвастаться.

— С одного раза трудно, — отвечает еле внятно Маша. — Понемногу я всё запомню. Папа говорит, что у меня память хорошая.

Лида разочарованно слушает этот разговор. Ну и подруга! Ни одной настоящей песни не знает. «Профессорская детишка».

На улице шум: приехал новый профессор с двумя дочками. Он приехал на время, прочитает лекции о том, как варить разные сорта сыра, и уедет. Комиссар его специально разыскал в городе и согласился на его условия: пока профессор будет читать лекции, его жена и дочери две недели будут жить здесь на даче.

Профессора поселили на втором этаже в доме напротив того, где живет Маша. Профессор не похож на папу: одет франтовато, толстый, ногти длинные. Он держится так, будто торгует редким товаром. О нем говорят «знающий специалист». В первый же день вечером Маша нашла под его окном красиво пахнущую бумажку с картинкой и надписью «Земляничное мыло». Выбросили! Значит, для его дочек эта картинка ценности не имеет. Как приятно она пахнет! Маша прижимает к лицу обертку от мыла, вдыхает нежный запах и думает: «Когда буду большая и стану сама зарабатывать, всегда буду покупать земляничное мыло!». Дома мыло плохое, пахнет стиркой.

Интересно, что за новые девочки приехали? Одна таких лет, как Маша, другая — большая, лет двенадцати-тринадцати. Утром их долго не было видно — спали до полдня. После завтрака вышли и пошли гулять. Вокруг собралась орава.

Маша тоже идет в толпе ребят. Вышли за ограду. Увидев круглый холм, старшая девочка учительским тоном заявляет сестре:

— Это курган. Здесь были похоронены в старинное время воины в доспехах и украшениях. Наверно, там есть золотые вещи и оружие. Если раскопать, то можно разбогатеть.

Мальчишки слушают, затаив дыханье. Ого! Она знает интересные вещи! Однако очень фасонит. Колька, как бы невзначай, бросает рядом со старшей девочкой кусочек глины. Глина задевает ее сандалии, не причинив ей боли.

Маша обегает холм, чтобы посмотреть: не удобней ли было бы копать с другой стороны. Она не мечтает разбогатеть, Просто интересно узнать, закопаны там воины, или нет. Маша не умеет ждать, ей не терпится начать раскопки, хотя никто и не собирается заниматься этим. Пока она бежит, вокруг приезжих девочек подымается шум. Маша возвращается и видит: старшая девочка встала на пенек и ораторствует так, будто она здесь — самый старший начальник.

— Я никого не боюсь, я такая! Я командовать привыкла, так и знайте. Один раз я одной девчонке даже голову кувшином разбила за то, что она приставала. Кто будет слушаться, с теми и буду играть, а подчиняться никому не буду.

«Девчонке голову кувшином разбила, — соображает Маша. — Значит, злюка. Ишь ты, красуется на пенке. Она командовать любит... Ну, пусть командует, только не мной. Я сама — не хуже бедной, но гордой княжны Джавахи. С такой я и водиться не буду. Лида не командует, по-товарищески держится, хотя и Комиссарова дочка. А эта просто воображает».

И Маша решительно говорит брату:

— Пойдем, Севка. Нам тут нечего делать.

К великому удивлению Маши, на следующий день она видит Лиду бесечно играющей с новенькими девчонками. Машу Лида не замечает, не зовет. Как же так! Неужели это потому, что Маша оскандалилась с песнями?

Почему-то делается грустно, так грустно, будто кто-то умер. Лида понравилась Маше: она правильно рассуждала там, на кладбище. И могила Замалтыка сблизила их. А теперь она с другими... Может, они знают эти новые песни?

Страдая от ревности, Маша уходит с Севкой далеко отсюда, в тот глухой сад, куда новенькие приезжие и дороги не знают. Ну и не надо. Заберемся снова на ограду и будем путешествовать

по ней, смотреть на бурлящую жизнь студенческого поселка. На высокой ограде хорошо и далеко видно, словно на красном кораблике, плывущем по зеленому морю.

Глава четырнадцатая

В центре поселка проходила короткая прямая улица. На одном ее конце в праздничные дни устраивалась арка, убранная кумачом и еловыми ветками. Против арки на маленькой площади стояла дощатая трибуна. Дальше на перекрестке, в центре улицы были вывешены доски с объявлениями и стенной газетой. В газете часто помещались смешные карикатуры и статейки о непорядках в общежитии и других местах. Конец этой улицы упирался в здание, в котором должен был открыться студенческий клуб. Эту улицу все почему-то любили и называли «Невским проспектом».

Пришла зима. Машины ботинки имели свойство то и дело рваться, и она чаще всего сидела дома. Но об открытии клуба говорили все, говорил папа, говорила даже няня. Уже прибили вывеску с надписью «Клуб имени товарища Буденного».

За день до открытия Маша узнала: билеты будут платные, по 10 копеек. Недавно появились новые советские деньги. Мама дала Маше рубль и велела принести сдачу. На денежке Маша прочитала: «Один рубль 1923 года равен одному миллиону рублей дензнаками, изъятыми из обращения, или ста рублям дензнаками 1922 года». Интересно!

Маша надела чистое платье и мазала гуталином старенькие ботинки, когда в квартиру вошел, вернее вбежал папа. Он был веселый, как мальчишка, и стал приставать к маме:

— Нюся, дай мне какую-нибудь мою грязную рубашку, похуже! Разве это грязная? Ну, видно, мне придется ее вымазать! — И к огромному удовольствию детей, он махнул рубашкой по полу в прихожей.

— «Огородные» брюки здесь? Отлично! Теперь — веревку. Ремень не пойдет, тут нужна обыкновенная веревка. И, наконец, где моя вылинявшая фетровая шляпа?

Мама открыла сундук и достала старую измятую шляпу. Она смеялась вместе с детьми и мужем, а он выпотрошил свой портфель, засунул туда все эти вещи и убежал. Никогда еще не был он таким веселым.

— Ну, иди, не опаздывай! — смеясь, сказала мама своей принаряженной дочке. — Иди, там и папу увидишь...

Маша вприпрыжку добежала до клуба, купила билет и поднялась на второй этаж по деревянной скрипучей лестнице. Всюду было полно народу — студентов, членов семей служащих и преподавателей. Первая комната была маленькой. На стенах ее висели яркие плакаты: Колчак, Деникин и Врангель, отброшенные сапогом красноармейца; о помощи голодающим в Поволжье — высохшее, худое существо подымает руку, моля о хлебе; плакат о борьбе против холеры и тифа, на котором микробы были изображены в виде зеленых запятых с человеческими рожицами. Еще был плакат, на котором крупными буквами был напечатан весь текст «Дубинушки». «Зайду завтра в библиотеку и спишу себе песню», — решила Маша.

Дверь в библиотеку вела отсюда, но сейчас заходить туда было некогда. Вторая дверь вела в зрительный зал, тоже увешанный плакатами. На деревянных некрашеных скамейках теснились зрители, мест не хватало. Впереди — сцена, завешанная синим занавесом из крашеной мешковины. Занавес то и дело колыхался — за ним двигались артисты.

Маша пробралась вперед и стала сбоку, но кто-то из отцовских знакомых подхватил ее и усадил у себя на коленях. Она не успела спросить, что будут представлять, как вдруг в зале стало темно, все зашикали друг на друга, и занавес тихо раздвинулся.

На сцене виднелась какая-то бедная комната с печкой, нарами, с маленьким окном.

Оборванные, пьяные люди спорили друг с другом, рассуждали о том, как им плохо живется. И вдруг вошел папа — Маша даже пискнула от восторга — в тех самых, брюках, повязанных веревкой, в помятой фетровой шляпе. Его называли «бароном». «Какой же это барон! — удивлялась Маша. — Не знают они, не видели «Кота в сапогах», вот там барон или маркиз, тот одет по-баронски!» В первый момент она была разочарована бедностью отцовской фантазии. Даже не загримировался! Хотя усы бы длинные приклеил. Барон! А усы маленькие.

Она еще более удивилась, увидев комиссара... с лысиной и крестом на груди в Виде старца Луки. Стала догадываться, что тут всё нарочно, и бароном называют в насмешку. И Лука совсем не такой хороший, каким старается казаться, он хитрый. Но смотреть пьесу до конца у Маши нехватило терпения: было душно, жарко сидеть в зимнем пальто на чужих коленях, и после второго антракта она убежала домой.

— Правильно, что не досидела, пьеса для тебя сложная, — сказала мама. — Тут взрослый задумается, не то что ребенок.

Вскоре была объявлена премьера новой пьесы, сочиненной двумя студентами, — «Месть отца». Маша пришла заранее, чтоб занять место в первом ряду.

Эта пьеса была понятней. Молодой парень-комсомолец боролся вместе с беднотой против сельских богачей за советскую власть. Отец его тоже был кулак. Когда победили красные, отец подстерег своего сына в лесу. Он стал говорить ему: «Петрусь, опомнись, не иди против отца, а то убьют тебя! Петрусь!». А молодой комсомолец храбро отвечал ему: «Не боюсь!». И тогда отец выстрелил и убил сына, и тот упал навзничь, как бы взаправду.

Маша очень переживала всё, что видела на сцене. Петруся играл папин студент Митя Дымко. Красивый, бесстрашный, гордый! Как он отвечал: «Не боюсь!».

Маша досидела до конца спектакля. Когда возвращалась домой, увидела на другой стороне «Невского» Митю Дымко. И, не долго думая, крикнула громко:

— Петрусь!

— Не боюсь! — отозвался Митя и рассмеялся. Он не рассмотрел, кто его окликнул, но по голосу понял, что это какая-то пиголица-девчонка.

Маша сияла. Всё было так хорошо! Назавтра она пошла на ферму за молоком и увидела своего «Петруся»: он был дежурным и, сидя на низенькой скамеечке, доил рыжую пятнистую корову. Машу он не узнал и молоко в ее голубой кувшин налил довольно меланхолично. Он и без грима был очень красивый.

Где он живет? У студентов было два корпуса, отведенных под общежития. Маша решила обойти все комнаты и найти «Петруся». Зачем? — этого она сама не знала. Прихватила с собой двух мальчишек, и они стали бегать по комнатам: откроют дверь, заглянут... Если кто есть — поздороваются, если нет никого — посмотрят, что за книги лежат на столе, и дальше пойдут. Сначала по всему первому этажу, потом по второму.

— Мы следопыты, — объяснила Маша мальчишкам. — Мы ищем артиста «Петруся»...

В первом корпусе «Петруся» не было. Ребята обошли один этаж во втором корпусе и поднялись наверх. Постучали в дверь.

— Войдите, — раздалось за дверью.

Маша распахнула дверь. Посередине у стены, между заправленными койками стоял стол, за ним сидел «Петрусь». Левой рукой он гладил сидевшую у него на коленях собачонку, а правой писал письмо. Собачонка была с метеостанции. На столе в толстом граненом стакане стояла белая лохматая хризантема. С фотографии на Машу смотрела хорошенькая девушка лет двадцати.

— Вы чего, ребята? — спросил «Петрусь», не подымая глаз от письма.

— Мы просто так. Гуляем, — ответила Маша.

— Ну, гуляйте, на тебе книжечку, почитай! — И он сунул Маше отпечатанную на коричневой оберточной бумаге книжку басен Демьяна Бедного «Мошна туга — всяк ей слуга», с картинками.

Он продолжал писать, прочитывал написанное, думал, зачеркивал и писал дальше. Наверно, он писал той девушке, что смотрела на Машу со стены над его студенческой койкой. Маше было не до книги.

Дописав письмо, он сложил его аккуратно пакетиком, как складывают порошки с лекарством. Потом вынул из стакана цветок и привязал к письму. То и другое он прикрепил к ошейнику собачонки, взял ее на руки и пошел вниз. Маша и мальчишки следовали позади.

«Петрусь» вывел собачку на улицу, пустил ее на землю и сказал: «Ну, Шарик, беги!» Шарик оглянулся на него и завилял хвостом. Он не хотел бежать.

— Беги! — крикнул «Петрусь». Шарик побежал. Мальчишки и Маша помчались вслед.

Цветок с запиской, прикрепленный к ошейнику, съехал вниз и мотался под горлом у собаки. Маше хотелось пустить в нее камнем, но она застыдилась нехорошего порыва и сдержалась. Она смотрела вслед собачонке, бежавшей к своей хозяйке, и думала: «А, может, собака всё-таки потеряет по пути и цветок и записку?» Девушка с метеостанции казалась ей в этот миг отвратительным злым существом.

Собачка скрылась из виду, и тогда Маша заметила, что в руке у нее сборник басен Демьяна Бедного. Интересное имя у писателя: Демьян Бедный. Про что же он пишет?

Демьян писал про скупых богачей, которые обманывают всех, даже самого бога — обещают ему пудовую свечу, а потом не ставят. Очень смешно писал, и рисунки были смешные. Вскоре Маша выучила все басни наизусть, а рисунки раскрасила.

Заезжий профессор и его дочери давно уехали, а Лида всё держалась в стороне от Маши. Лида рассказала дома об истории с песнями и мать посоветовала ей не водиться с «профессорскими детишками». «Они про «Макса и Морица» читают, у них головы всякой чепухой забиты», — говорила она Лиде.

Действительно, Маша читала «Макса и Морица»: «Эти скверные мальчишки не читают умной книжки, для забав и шутки ради рвут и пачкают тетради...» Папа любил повторять вслух эти строки и плутовато подмигивать детям, оглядываясь на маму. В детстве он узнал, что такое строгости и наказания, видел мало ласки, редко ел досыта, и теперь, заведя собственную семью, давал своим детям то, чего не имел в детстве сам: чрезмерную, в мелочах даже анархическую свободу, обильную ласку, а последнее время — и обильную вкусную пищу. Его детям было мягко в семейном гнездышке, и только мать иногда старалась быть построже. Отец не чаял души в своих детях, считал их умными, замечательными и баловал, как мог. «Только в детстве и побалуешь... Жизнь даст им почувствовать свои ухабы и колдобины», — рассуждал он, забывая о том, что человек закаленный будет держаться уверенно на любых ухабах.

* * *

Лидины песни про беззаветных героев революции, про буденновцев, про мировой пожар Маша выучила. Помогла соседская девочка Клава: она знала «Кузнецов» и «Дубинушку». Еще она любила петь народные песни: «Ой за гаем-гаем», «Реве та стогне» и другие. У Клавы был звонкий высокий голосок, Маша любила ее слушать. Но «Варшавянку» Клава не знала.

Стоял солнечный день. Снега сверкали на солнце и начинали таять, как сахар в медном тазу для варенья. Вода сбегала ручейками, прорезавшими твердый зимний покров, она спешила к кузнице, а затем — к реке. Двери в кузнице были распахнуты, оттуда летела звонкая музыка

молотов, падавших на наковальню. Маша увидела толпу детей перед окнами. Тут была Лида, были и старшие. Маша наскоро оделась и выскочила за дверь. Оказалось, ребята собрались за реку на пасеку за голубыми пролесками, расцветавшими в снегу.

— Можно и мне? — спросила Маша старшую девочку.

— А мать отпустит?

Маша упростила маму, хотя та долго не разрешала. Но вот всё позади! Ребята перешли мост у мельницы, перезвон кузнечных молотов звучал уже издали. Они идут по размокшей, вязкой дороге. Солнце смеется в небе, и на душе так славно! Маша давно набрала полные ботинки воды, но скрывает это от всех: ведь никто не жалуется, а небось и у них тоже ноги промокли!

На полях лежит снег, но в воздухе — весна. По обочинам пробивается проснувшаяся травка. Она высовывается из снега спутанным клубочком, сутулой спинкой пробивает сугроб. Р-раз! и травинка распрямилась, отряхнулась и красуется. За ней — другая, третья. Их уже много, они тихо переговариваются меж собой, слегка нагибаясь друг к другу. Попробуй, засыпь снегом нежные садовые цветы: ни один не встанет. А трава — не барыня, она видала виды. Может, не так хороша, зато сильнее, выносливей.

Дети идут и громко болтают. Слышится новая песня, ее. Маша раньше никогда не слыхала: «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян». Мальчишки бросают друг в друга снежки, прыгают сразмаху через канавы. Земля раскисла, все давно промочили ноги, но не обращают на это внимания.

Вдали за полем виднеется купа высоких деревьев. Это липы. Сейчас вокруг — тишина, а летом здесь кажется, что весь воздух поет, тут — пчелиный рай. Внизу, под деревьями, маленькие деревянные домики и сторожка с одним окном — там живет пасечник. Он малограмотный старик, но студенты проходят у него практику по пчеловодству, и раз в месяц он расписывался в преподавательской ведомости на зарплату. Пусть бы все преподаватели так знали свое дело, как знает он свое!

Здесь, на пологом пригорке перед пасекой и расцветают первые подснежники — вот они, Маша бежит к ним и останавливается в восхищении: тоненькие, зеленые, словно светящиеся стебельки пробивают снег. В стороны от стебля отгибаются узкие зеленые листики — один, два. А на стебельке надувается и растет светлоголубой бутон. Солнце согревает его, бутон толстеет и вдруг лопается на ровные голубые дольки. Они слегка раздвигаются, и прозрачный, словно стеклянный, голубой цветок чуть-чуть отвисает в сторону. Кругом снег, но подснежник своим теплом разогрел маленькую лунку в снегу и стоит на оттаявшей черной земле, словно в снежном стакане.

— Прóлески, прóлески!

Цветов так много, что скоро у каждого на руках — целый сноп нежных первых цветов. Они очень хрупки, легко ломаются, но их так много, что никто не в обиде. Каждый набирает столько, сколько может унести.

И вот она стоит в дверях своей квартиры, счастливая, с охапкой цветов в руках. Ноги мокры по колено, кончик носа загорел на весеннем прилипчивом солнце. Есть хочется до невозможности. Всё пойдет в ход, — и борщ, и пирог с капустой, и жареная картошка!

Маша рассовывает цветы в кувшин, в стаканы, банки. А что, если... Конечно, они засмеются, дежурные студенты на ферме, но она...

Маша берет пучок подснежников и голубой кувшин. «Я за молоком схожу», — торопливо объясняет она няне. На ферме ей наливают молока. «Петруся» нет. Она заглядывает в другие, дальние стойла: коровы жуют жвачку, «Петруся» нет. Ну, пускай! Может, придет? И тогда увидит...

Она быстро засовывает пучок подснежников за портрет Карла Маркса, висящий над

столиком, где дежурный записывает удои и результаты анализа. И — бегом домой. Второпях она чуть не налетает на «Петруся» — он идет на свое дежурство.

— Ого! Ты меня когда-нибудь с ног собьешь, — говорит «Петрусь», а она, довольная, сияя, летит домой. В воротах фермы ее провожает доброй усмешкой какой-то студент, видевший, как она несла цветы. Кому они? Не всё ли равно! Девчонка...

Клуб был святилищем, он стал много значить в Машинной жизни. Она смотрела все пьесы, которые там шли: и придуманные местными доморощенными авторами, и классические, и инсценировку «Тараса Бульбы», где Дымко-«Петрусь» играл чернобрового Андрия и тоже погибал от руки отца, только уж не за хорошие дела, а за плохие — за измену.

Библиотека помещалась, в широкой светлой комнате с высоким деревянным потолком. По стенам стояли полки с книгами, они подымались к потолку; и когда библиотекарша хотела достать «Вечера на хуторе близь Диканьки», она подставляла лесенку. В углу комнаты, на круглой колонке красовался белый мраморный бюст хитрой старушки, похожей на Машину няню Татьяну Дмитриевну. Маша не вытерпела, пробралась поближе и прочитала надпись на круглой колонке: это был французский писатель Вольтер.

Порядок в библиотеке поддерживала Мина Александровна, маленькая женщина с тяжелой прической и усталыми провалившимися глазами. Это она писала формуляры, выдавала книги и настойчиво напоминала о сроке их возвращения. Она даже иногда грозила читателям, не возвращавшим книги, но этих угроз никто не боялся. Когда ей возвращали зачитанного «Рудина» с загнутыми уголками и оторванным корешком, она смотрела почти с ненавистью на неряшливого читателя:

— Ведь это же ваше, это же народное достояние! Вам не совестно?

Читатель в валенках и старой гимнастерке сначала глядел удивленно. Потом, начиная понимать слова библиотекарши, он мрачнел и смущенно молчал. Ему действительно становилось совестно.

Сегодня в библиотеке было как-то особенно весело. Солнце било в широкое окно. На столе библиотекарши, как и у Маши дома, стоял стакан с голубыми подснежниками. Солнце играло в стакане, цветы казались прозрачными, а зеленые длинные листики сами излучали свет. Но когда Маша вошла в комнату, Нины Александровны в библиотеке не было. Маша удивилась. Она уже не первый раз приходила в библиотеку и всегда заставляла Нину Александровну на посту. Правда, сначала она не хотела выдавать книги девочке, но Маша сказала, что берет «Робинзона Крузо» для отца — так научили дома... Книгу она вернула в полном порядке, чем и завоевала уважение библиотекарши.

В комнате никого не было, но дверь в театральный зал была приоткрыта, и оттуда доносилась музыка. Играли на пианино. Играли что-то удивительное, легкое и красивое. Это был безусловно не «Чижик пыжик», не «Хаз-Булат удалой» и не «Мой костер в тумане светит», которые Маша слышала каждый вечер, стоя под окном квартиры профессора Маркевича. Его изнывающая в одиночестве дочь Риточка извлекала из разбитого рояля всегда одни и те же мотивы. Это была другая музыка, красивая музыка, — больше ничего Маша понять не могла. Опершись о библиотечный столик, она смотрела на светящиеся подснежники и слушала музыку. На столе рядом с цветами стоял пустой стакан с чайниками на дне, и лежал недоеденный ломоть ржаного хлеба, чуть заметно помазанный яблочным повидлом.

Но вот музыка кончилась и в двери, ведущей со сцены в библиотеку, показалась знакомая фигура в синем халатике. Увидев Машу, женщина на минуту остановилась. Лицо ее покрылось красными пятнами, она быстро подошла к своему столику и еще более покраснела, заметив, что хлеб лежал очень близко от раскрытой книги, и крошки могли ее испачкать. И главное, не

следовало бросать библиотеку ни на минуту.

— Что тебе дать? — спросила она быстро, приняв из рук Маши прочитанную книжку.

— Дайте мне «Дон Кихота» писателя Сервантеса, — твердо ответила Маша.

Перебирая пальцами корешки книг, библиотекарьша неожиданно спросила девочку:

— Ты любишь музыку?

Маша сконфузилась. Она не знала, любит ли музыку, ее никогда об этом не спрашивали.

Однако надо было отвечать, и она сказала:

— Красивую музыку люблю.

— А какая же это — красивая?

— Ну, как сейчас играли, — сказала Маша и лицо ее загорелось. Хотела сказать «вы играли», но не решилась, — а вдруг это играл кто-нибудь другой?

— А-а... Это вальс Брамса, — сказала Нина Александровна. Маша вышла, боясь поднять голову. Нечаянно подслушанная музыка еще звучала в ушах.

* * *

Весна за городом совсем не то, что весна в городе. Всё здесь начинает дышать, шевелиться, подставлять солнцу то один бочок, то другой. Каждый прутик выпускает зеленые пупырышки, из которых тихонько, но настойчиво выворачиваются, распрямляясь, листья. Вокруг каждого пенька в лесу прорастают молодые побеги, каждое растение готовится цвести. В деревне и птицы громче поют, и по земле бегают всякая мелкая живность: муравьи, жуки, всевозможные живые существа. Жизнью дышат воды маленькой речки и берега заросшего пруда.

Но как в городе, так и в деревне весной в один праздничный день люди выставляют красные флаги. Это Маша замечает не первый год. Этот праздник называется Первое мая, недаром сегодня все оделись как можно лучше!

Маша тоже оделась в новое платье, красное с белым горошком. На голове у нее белая пикейная панамка, на ногах веревочные туфли маминого производства. Маша ведет за руку четырехлетнего Севу, который то и дело задает вопросы:

— А куда мы поедем?

— Мы поедем на митинг, там будет много людей, все будут говорить речи и радоваться, что сегодня праздник.

— А куда нас повезут?

— На Первомайский митинг, к сельсовету. Привезут, — увидишь.

— А на чем нас повезут?

Маша подводит брата к дому комиссара. Здесь уже стоит линейка, запряженная парой старых, тихого нрава лошадей. На линейке сидят Лида и человек шесть ребят.

— Мы поедем на линейке, — говорит Маша брату и подсаживает его. Линейка сделана из круглых точеных палок, между ними дырки и Маша боится, чтоб Сева не сунул туда ногу. Им подкладывают сена, становится мягко и хорошо.

Возница — студент ветеринарного факультета — взмахивает кнутом, и лошади трогаются. Мимо ребят несется роща в зеленой дымке молодой листвы, блестит сквозь зеленые ветви излучина реки, бегут мимо хаты, чисто побеленные перед праздником.

У сельсовета все сходят. Ноги затекли от неудобного сидения, хочется размяться. Маша бежит с другими ребятами. Кто-то останавливает их: «Потише вы!», и начинается митинг.

На крыльцо, один за другим, всходят крестьяне и говорят. Они говорят о советской власти, о свободе, о справедливости. Среди других подымается на крыльцо-трибуну какой-то поджарый,

длинноволосый крестьянин в поддевке тонкого сукна. Он тоже хвалит советскую власть, но его перебивают почему-то, над ним посмеиваются. Не верят.

Маше непонятно, почему не верят, почему не дают ему сказать. Говорит он хорошо, никого не ругает. Понять этих взрослых невозможно. Маша отходит в сторону, где бегают группа деревенских ребят.

— Нюрка, гляди, твой батька говорит, — указывает босоногий мальчуган какой-то девочке, показывая на выступающего, которого то и дело перебивают.

Маша поворачивается, чтобы увидеть Нюрку, и видит... Она смотрит и не верит своим глазам: Катя! В руках у этой девочки — ее кукла, Катя, которую няня променяла на муку! Маша смотрит на свою Катю, которую Нюрка небрежно держит подмышкой, и ей становится жалко: каково тебе приходится, бедная Катя, в чужой семье, у чужой девочки. Катя всё в том же голубом сатиновом платье, — не могли нового сшить! Сейчас это платье уже грязное, заношенное, а Нюрке и горя мало!

Маша с возрастающей ревностью смотрит на чужую девочку: тугие светлые косички, веснушки на носу, шерстяное синее платье, несмотря на жаркую погоду, новенькие кожаные туфли... Кукла, видно, давно ей надоела.

— Давай я покажу тебе, как ее держать, — отваживается Маша, обращаясь к Нюрке. Та прячет куклу за спину. Кукла болтается на одной руке, вот-вот Нюрка ее отпустит и фарфоровая голова разобьется.

— Чего тебе? Моя кукла. У меня еще лучше есть, с закрывающими глазами, — говорит Нюрка и презрительно поворачивается спиной к Маше. Теперь Катя хорошо видна. У нее какое-то жалобное выражение лица, и Маше кажется, она сейчас скажет: возьми меня, я хочу домой!

Нюрка уходит, размахивая куклой, чтобы подразнить Машу. Снова подходит Маша к крыльцу сельсовета, откуда сходит Нюркин отец. Вдогонку ему несутся злые слова односельчан. И хотя Маша не знает здесь никого, она готова присоединиться к этому хору. Такому верить нельзя, хотя он и хвалит советскую власть. «Заигрываешь?! Прошло твоё время!» — кричат ему вдогонку, и Маша с неприязнью провожает его глазами. «Ишь, наменял себе роялей да граммофонов, когда людям есть нечего было! Заграбастал мою Катю за пучок морковки! Недаром его назвал кто-то: „мироед“».

* * *

Лида не делала никаких шагов к сближению. Маше не хотелось заговаривать с ней первой, — ведь Лида была дочкой комиссара, верховного начальства, и могла понять это неправильно. Всё это терзало Машину душу.

Лида училась в школе, а Маша — дома. Ей дали старый букварь, сборник «Русская речь» и задачник, мама задавала ей уроки, но в школу не пускала. «Сельская школа даст Маше не больше, чем могу дать я», — сказала она отцу.

Но из-за этого Маша редко встречалась с Лидой.

Однажды на доске объявлений Маша прочитала, что Организован детский драмкружок. Занятие будет вечером в 6 часов в клубе. Маша пришла и была принята. Лида не участвовала. Сразу начались репетиции. Правда, ставить было нечего, пришлось взять в библиотеке старую затрепанную пьеску «Мамины именины». Нина Александровна сказала, что тема подходящая — честность. Мальчика Костю заподозрили в том, что он съел без спросу пирог, приготовленный на мамнины именины, а он его не брал. Все три действия его подозревали и только в последнем акте сама мама узнавала достоверно, что Костя честный и ничего не брал.

Женских ролей было мало, и Маше поручили играть Костю. Голос у нее был грубоватый, и уже было известно, что память у нее хорошая, роль она выучит наизусть.

Спектакль, поставленный детским драмкружком, был объявлен такой же афишей на «Невском», как и все прочие. Только за вход брали дешевле. Решили, что десять копеек — дорого, может никто не прийти, а меньше пяти копеек назначать нельзя, не на что купить холста для декораций. После пьесы обещаны были танцы под духовой студенческий оркестр.

Волнения начались с утра. «Буду играть на настоящей сцене... билеты платные...» Это и радовало и пугало. Как еще получится? Ну, роль она помнит хорошо, но вот как сыграть пожалостней, чтоб все поняли, что Костя — мальчик честный, его зря подозревают, обижают незаслуженно. И — какая радость! — мама всё-таки не поверила наветам, она защищает его!

Маша пришла в клуб в отличном настроении. Студент, стоявший у дверей на контроле, не спросил у нее билета, знал — это артистка. Маша прошла на сцену, высоко подняв голову.

За сценой было тесно, комнаты для актеров не было, одевались и гримировались тут же, за декорациями. Маше дали костюм — белые холщовые штаны и рубашку. Она посмотрелась в зеркало — костюм был тесен, обтягивал и делал ее смешной. Но заменить было нечем.

Перед началом спектакля она из-за синей дерюжки занавеса заглянула в зал. Как страшно и приятно! Тьма народу, много взрослых, и он... он, «Петрусь», сидит в третьем ряду, а с ним рядом девушка с метеостанции. Лучше бы не видеть этого! Всё сразу смешалось в голове.

Руководитель кружка счетовод Женя изо всех сил тряс колокольчиком. В зале стало тихо. Артисты заняли свои места на сцене. Женя потянул за веревку, и занавес раздвинулся.

Костя не сразу появлялся перед зрителями, и Маша успела привыкнуть к тому, что пьеса уже идет. Она рассердилась на «Петруся»: «сидит в зале, отвлекает, а потом сам смеяться будет. Не стану его замечать. Есть он там, нет ли, — всё равно. Я — Костя, у меня свои беда».

Она вышла, произнесла свои слова, замолчала. Сестры и братья спорили, говорили о ней плохое. Она обиделась, приняла угрюмый вид. Пробовала защищаться, но не сумела. Умолкла. Убежала прочь. А «Петрусь» шепчется со своей соседкой, на сцену даже не смотрит. Вот она сидит за кулисами, готовая разреветься — это и по роли нужно: такой поклев возвели! Вот она входит снова на сцену — все отворачиваются, все презирают. И вдруг входит мама — ее играет очень милая, с добрым лицом девушка, студентка Сима. Она всё выясняет, протягивает Косте обе руки и восклицает с любовью: «Сыночек!»

Тут следовало броситься ей в объятия, крикнуть «мама!» и сделать вид, что ты плачешь. Это был кульминационный пункт, как объясняла Нина Александровна. Маша дождалась его: она бросилась с таким порывом, так натурально, что на лице мамы возникла ответная добрая улыбка. «Костя: — Мама!» — прошипел суфлер. Уже ничего не соображая от волнения, Маша воскликнула вслед за ним: «Костя! Мама!» — и залилась настоящими слезами. На лицах артистов изобразилось смутение, а Сима увидела, что платье ее сыреет от настоящих мокрых слёз, и «сын» ее очень натурально приткнулся к ней заплаканными щеками.

Женя задержал занавес и подошел к Маше.

— Эх, ты! — сказал ей презрительно. — А еще хвасталась: память, память. Ты нам всё испортила. Ты сама Костя, а еще кричишь: Костя! Больше никогда не возьмем тебя участвовать.

Голова кружилась. «Я испортила... А билеты платные... Меня больше не возьмут...» Она торопливо переделалась в свою одежку и выскользнула в зал. Только бы не заметил «Петрусь». Он — настоящий артист, ему и смотреть-то было скучно на такую игру.

Медные трубы пели, трубачи надували красные щеки, а она бочком-бочком выбиралась из толпы. Выбежала из клуба, примчалась домой и сразу легла спать, спрятавшись под одеяло. Ох, до чего же плохо! Она проворочалась на своей жесткой постели часа два, пока не заснула.

Проснувшись и увидев в окне яркое голубое небо с маленьким облачком-пушинкой, Маша

стала вспоминать: что-то случилось плохое, какое-то несчастье. Что же? Да, она провалилась, сказала слово не по роли... Говорят, актер должен переживать свою роль... Разве она не переживала? Даже чересчур. И всё-таки, подвела кружок. А билеты были платные... А «Петрусь» всё видел...

Подробности несчастного вечера понемногу стирались в памяти, но забыть их совсем было трудно. В кружок Машу больше не звали. Она даже перестала ходить, в клуб и на ферму, чтобы не увидеть «Петруся» — свидетеля ее позора.

Вспоминалась Люся Светличная: женихи... Это глупости. Жених тот, кто решил жениться, это бывает у взрослых. А если ты о ком-нибудь вздыхаешь, — это не жених. А кто? Не знаю. Разве я виновата?

Глава пятнадцатая

Дорога на станцию шла лесом. Сосны, стоявшие зимой в белых пуховых шапках и варежках, весной засверкали яркими красками: голубоватые облака иголок над красными угольями стволов... Жидкое золото смолы сверкало на солнце, стекая по оранжевой коре. Внизу, в тонколистой траве горели крошечные розовые огни лесной гвоздики.

Какие разные были деревья! Вот это раздвоено, словно лира, на которой играли древние поэты. А это изогнулось, как медный удав — отчего? Что помешало ему в юности расти прямо и стройно? Рядом — пусто. Если и были соседи, виновные в этом, то сейчас их нет. И никто никогда не узнает, почему оно стало кривым.

Дятел стучал по стволу где-то у вершины сосны. Он колотил клювом, как железным молотком, и Маша удивлялась: какая сильная шея у этой маленькой птички! Бьет и бьет без усталости пернатый кузнец. Посмотришь издали, даже боязно делается: отвалится голова у дятла! Ан нет, держится, и он даже не утомился, продолжает свою работу.

А если лечь в лесу на траву и смотреть вверх, кажется: это голубое бездонное озеро, а с берегов в него смотрятся пышные кусты зелени. Над самым ухом, присев на султан конского щавеля, поет кузнечик. Пчела пролетела над головой — это с пасеки, где мы собирали подснежники.

А время летит, за весной лето, за летом осень. Легка твоя жизнь, девочка, беззаботна. Только руки набирают силу, только ноги учатся быстро носить тебя по лесу и лугу, только глаза привыкают издали замечать белый гриб под деревом да жука богомола на сухой ветке, только уши чутко ловят издали, с полей там, внизу, под кузницей, голос Мити Дымко, ушедшего посмотреть семенной клевер: «Посыла-айте лошаде-ей! Пора!».

Маша размышляет, но мысли ее обходят главное, внимание приковано к мелочам. Вот пришла осень, осыпались листья. А Лида играет с другими. Она не сердится на Машу, просто ей ни к чему искать Машиного общества.

И снова земля в снегу, и снова книжки из библиотеки: Диккенс, Фенимор Купер, Майн Рид. Чужие имена, далекие южные страны, неизвестные звери, баобаб и кокосовые орехи... Дома на столе газеты, в которых написано о больших событиях здесь, на родине: введен нэп; Советская держава приглашена на Генуэзскую конференцию и там устояла перед натиском бывших царских кредиторов и иностранных капиталистов; создан Союз Советских Социалистических Республик; заболел Владимир Ильич — эсеровская пуля дает о себе знать... В Москве открывается XI Всероссийский съезд Советов. Родители говорят об этом, а Маша не понимает, не замечает ничего.

С утра подморозило. Маша вышла на белую улицу: всё молчало в строгой зимней красоте. Недавно она узнала из книжки, что в Китае белый цвет — это цвет траура. И понятно: зима —

это сон природы, почти смерть. Зима — это неподвижность, тишина.

У серого, вымытого дождями дощатого забора стояла Лида в пальто и вязаной шапчонке. Она стояла лицом к забору и маленькие плечи ее вздрагивали. Она плакала.

Маша подошла и стала сзади, но Лида даже не обернулась. Она закрыла глаза локтем и ничего не замечала вокруг. Одна на огромной белой улице, она казалась совсем маленькой и одинокой. И Маша спросила негромко:

— Чего ты плачешь?

Лида обернулась и, не вытирая мокрого от слёз лица, сказала:

— Ленин умер.

— А почему ты плачешь? Он кто тебе был?

— Ленин, — повторила Лида.

— Я знаю...

— Ничего ты не знаешь! Ничего!

Мучительная гримаса искривила Лидино лицо. Она вдруг посмотрела на Машу, как смотрят большие на маленьких, грамотные — на неграмотных, зрячие — на слепых:

— Разве только о родственниках плачут! Он был самый главный, самый умный. Он был великий человек.

И она посмотрела куда-то вперед, сосредоточенно сощулив глаза, будто стараясь понять, как же это возможно, что Ленина больше нет.

Маша стояла, полуоткрыв рот, покраснев от неловкости и стыда. Не у Лиды, у всех горе. И только она дуреха, одна она ничего не поняла толком. Она же слышала прежде это имя от матери, отца. К Ленину шел Замалтын с письмом. Ленин первый научил людей сделать так, чтоб была советская власть.

Теперь понятно, почему Лида не хотела быть с Машей...

Она ходила по улицам поселка и смотрела, как женщины молча пришивали к праздничным красным флагам черную кайму. На «Невском» был вывешен траурный плакат с известием о смерти Ленина, сверху — его портрет в черной рамке. Здесь не было заводских труб, не слышно было гудков, но горе чувствовали все. Двоих из коллектива зоотехникума, кузнеца и студента, комиссар отправил в Москву, чтобы они за всех попрощались с вождем.

Маша не посещала школы, но и она узнала от Клавы, что в школе организован отряд юных ленинцев-спартаковцев, им всем выданы красные галстуки. Машу туда не записали. С нескрываемой завистью рассматривала она галстук, выданный Клаве; организатор отряда — учительница школы — еще не знала, что галстук должен быть треугольным, и повязала на шею школьникам-пионерам широкие красные ленты.

В клубе состоялся вечер памяти Ленина. Вход был свободный для всех, а так как поместиться в маленьком зале всем сразу было невозможно, в афише говорилось, что для детей вечер состоится на другой день.

Маша пришла одна из первых. В зале было полно людей, но необычно тихо. Переговаривались вполголоса. Делились новостью: «будут живые картины из жизни Ленина».

Вначале было выступление пионеров. Они выстроились на сцене, пятнадцать ребят и девчат в красных галстуках, и хором прочитали стихотворение «Коммунары не будут рабами». Они с такой силой убеждения повторяли рефрен стихотворения, что Маше показалось: она только сейчас поняла силу слитности людей, их единения. Это как в сказке о венике: отдельно каждый прутик переломишь, а веник — попробуй, переломи!

*Никогда, никогда, никогда, никогда
Коммунары не будут рабами, —*

звенели детские голоса, и Маша тихонько стала повторять за ними эти твердые слова.

Потом объявили: пионерка Лида Медведева прочтет свое собственное стихотворение «Спартак». Этого Маша не ждала. Как, Лида сама сочиняет стихи? А ни разу не говорила об этом! Что же она написала?

Лида вышла на сцену, смело посмотрела вперед и начала:

*Мы солнце, свет науки,
Мы теплый луч зари!
Мы дети коммунаров,
Сюда, вперед, иди!*

В зале стало совершенно тихо. Внимательно слушали и дети, и мамы, пришедшие с малышами.

*Так подымай всё выше
Ты ленинский наш флаг,
Иди на баррикады,
Борись за наш Спартак!
Не празднуем мы пасхи
И ёлки с рождеством,
Мы ленинцы молодые,
Мы все вперед идем...*

Маше очень понравилось Лидино стихотворение. Она заметила: все пионеры, которым только что вчера впервые повязали красные галстуки, все чувствуют себя действительно ленинскими внуками, ленинцами. Не только на сцене, но и в зале они держатся собранно, с достоинством. Не задирают носа, но и не позволяют себе сегодня шалостей. Даже Колька, у которого папа завканц.

«Живые картины из жизни Ленина» еще больше взволновали Машу: студент, изображавший Ленина, был очень похож на портреты, и к тому же — высокого роста, как и подобает великому человеку. Он сидел с группой детей (их изображали все знакомые ребята, в том числе Лида и Клава), он принимал ходоков — крестьян в тулупах, он стоял у карты фронтов гражданской войны в окружении военных, он обсуждал план электрификации. О росте Владимира Ильича не все знали достоверно, а на портреты студент-артист был очень похож.

Вернувшись домой, Маша долго молчала, сидя на постели. Мама уже спала. Отец ссутулился над книгами.

Спросить его о Ленине? Лучше не спрашивать, всё равно, он скажет — еще маленькая, иди спать...

Она решила осторожно расспросить обо всем маму. И однажды, оставшись с ней наедине, задала вопрос:

— За что человека называют великим? Что надо сделать, чтобы стать великим?

Мама сначала растерялась от таких вопросов, потом глаза ее загорелись и она ответила:

— Великий — это кто много сделал для народа. Тот, кто отдал народу всю жизнь. И при

этом сделал что-нибудь необыкновенное. Например, говорят: Петр Великий. А «Николай великий» или «Павел великий» не говорят. Потому что из всех царей один Петр сделал много такого для России, что придало ей новую силу. С тех пор Россию уважать стали. Появились свои заводы, свои мастера, своя литература... Еще бывают великие писатели, — ну, Пушкин, Гоголь. Великие художники, ученые.

— А Ленин — великий ученый?

— Не только. Ученых много, а Ленин у нас был один. Он сделал так много, что тебе не понять даже. А когда он был маленький, он очень хорошо учился.

— Вы с папой всегда говорите: не понять... Ребята знают, кто Ленин, ребятам красные галстуки выдали, одна я всё маленькая. Я давно большая.

Мама обиделась:

— Галстуки выдали... Разве тебе плохо без галстука? Разве у тебя дома нет книжек, игрушек, нет родителей, которые готовы всё тебе объяснить? А политикой заниматься с пеленок нечего. Не детского ума дело. Лучше пойдешь, порешай примеры на умножение и деление.

Маша хотела пробурчать: «Не буду!», — но вспомнила слова матери: «Ленин, когда был маленький, хорошо учился». «Придется решать примеры. Неужели он любил арифметику? Не может этого быть. Такая скука: двадцать восемь разделить на четыре, помножить на семь... Чего двадцать восемь? Яблок? Тетрадей? Неизвестно. Мертвые цифры! Скучно. Я их решу, эти примеры, но только потому, что Ленин, когда был маленький, хорошо учился».

Глава шестнадцатая

Маша проснулась оттого, что где-то над самым ухом папа громко успокаивал няню: «Я сам схожу к Нине Валерьяновне, а вы посидите у Нюси».

Хлопнули двери. Маша прислушалась: тихо. Она настроилась уже снова заснуть, как вдруг двери хлопнули опять, послышался чужой женский голос: «Приготовьте горячей воды». Няня быстро прошла на кухню и стала ставить самовар, гремя трубою.

Заснуть Маше не удалось. Голоса взрослых слабо были слышны через стенку. Но внезапно раздался незнакомый тоненький голосок, похожий на мяуканье котенка. Маша вскочила и стала озираться: кто это? Вошла няня и села на ее постель.

— Няня, кто это пищал?

— У тебя новый братик родился, — ответила она и замолчала.

— А откуда он взялся?

Няня не знала, что сказать, путалась, придумывала глупые сказки. Положение было не из легких: сказать, что ребенка нашли на огороде нельзя, — известно, что он появился здесь, за этой стенкой раздался его первый крик. Аист не мог его принести потому, что стояла зима и аисты давно улетели.

Маша стала догадываться, что есть что-то запретное в этом разговоре, взрослые боятся рассказывать. А она просто хотела найти объяснение, как появляются люди. Было обидно и непонятно, почему обстоятельства этого торжественного события держат в секрете.

Маша обиженно умолкла, потом сказала:

— Я хочу посмотреть на ребеночка.

— Завтра утром. А сейчас спи. Маме надо дать покой. Она устала.

Ребенок оказался очень славный: крепкий, с кудрявыми белыми волосками. Он лежал спеленутый на подушке и никто не боялся, что он упадет оттуда. Ребенок был неподвижен в своих пеленках, как куколка бабочки-капустницы.

— А как мы назовем его? — спросила Маша родителей.

— Мы уже задумали с мамой, — сказал папа. — Решили, что если будет мальчик, то назовем Володя.

«И Ленина звали Володя, Владимир Ильич», — подумала Маша. И словно в ответ на ее мысли, отец добавил:

— Конечно, мы не рассчитываем, что он будет великим человеком, но честным человеком он будет обязательно.

Отец сразу вырос в Машиных глазах. Всё-таки, он понимал, что Ленин — великий, В память о нем! Это хорошо. И Маша сказала спящему запеленутому малышу, нагнувшись над ним:

— Ах ты мой новенький братик Володя! Я тебя буду очень любить и буду нянчить, чтобы ты не плакал.

Шли месяцы — малыш стал подвижным и непоседливым. Маша любила с ним играть: опустит ему в коляску сноп своих светлорусых волос, а он теребит их ручками, тянет. И весь-то он крепкий, упругий.

Наступило лето, и няня уехала на месяц в отпуск. Мама позвала к себе Машу и сказала:

— Этот месяц тебе придется быть няней: гулять с Володей и стирать на речке его пеленки. Конечно, это не так весело, это работа. Но ты сама хотела делать что-нибудь полезное. Вот и делай.

Маша приняла поручение всерьез. Это было первое испытание в жизни. И даже под конец срока, когда возиться с братишкой надоело и хотелось убежать одной купаться, Маша всё же не подавала виду. Она знала — это не бесконечно, вернется няня, и дел станет меньше.

Дома был маленький полосатый коврик из красной шерсти. Маша брала коврик подмышку, сажала на правую руку братца и уходила с ним подальше. В церковном садике ломали звонницу, и Маша старалась устроиться где-нибудь под деревом неподалеку, чтобы было видно, как работают студенты с ломами. Трещали балки, сверху осыпался кирпич, а задиристые молодые голоса перекликались со стоящими внизу: «А ну, в сторону! Поглядывай!»

Самой церкви не ломали. Но так как никто не ходил молиться, помещение использовали как амбар. Сюда привозили просушенное зерно и ссыпали его прямо на каменный пол. Маша оставляла брата на коврике под присмотром подруг, а сама бегала в церковь любоваться зерном: солнечные лучи, проходя сквозь цветные витражи, становились зелеными, красными, синими. Гора зерна казалась грудой цветных драгоценных камней. Маша присаживалась на сыпучий холм и протягивала руку к синим зернышкам: рука тоже становилась синей, как в сказке.

Вовка стал толстым и тяжелым. Его не крестили, и папа подшучивал иногда: «мы тут все безбожники! Вместе в ад попадем, на одной сковородке жариться будем». Маша от этих слов в первый момент поёживалась, а потом улыбалась: она давно уже ходила без креста, выбросила его тотчас же после разговора с Лидой.

Девочки часто встречались на речке. Лида могла бы заметить, что у Маши ничего не болтается на шее, как и у ее братишки. Но она упорно не замечала. Вскользь она посматривала на Машу, когда та полоскала братишкины пеленки, усадив его в траву подальше от берега. Маше нравилось, что пеленки становились белоснежными безо всякого мыла, от одной воды и от солнца, которое выбеливало их начисто. Окончив стирку, Маша раскладывала белые квадратики на траве, раздевалась и бежала с Вовкой на руках и Севкой в речку. Мелкая речонка была безопасна для ребят, взрослые купались пониже, где было глубже.

Теперь Маша знала все песни, которые пела Лида: недаром же у нее была хорошая память! Песни сбегались к ней отовсюду: от Клавы, из клуба, с берегов речки, с улицы. Они полюбились Маше, и она стала часто петь, особенно когда бывала одна. Песни делали ее сильнее: споешь и словно воды в жару выпил! Лида не раз слышала, как Маша поет эти песни.

И всё-таки, ничего особенного сделать не удавалось. Понянула Вовку — так все девчонки

нянчат. Решать примеры и зубрить грамматику — тоже не велик подвиг: все учатся. Так Лида и не узнает никогда, что лишилась хорошей подруги, которая тоже может совершать хорошие поступки.

Вечером папа рассказывал, что его выбрали в президиум на общем профсоюзном собрании. Видимо, он хорошо готовил специалистов. Но плохие отметки ставил попрежнему и прослыл, несмотря на свою молодость, самым строгим профессором. О нем студенты так и говорили: «очень он принципиальный».

Его полюбили за качество, которого нехватало многим другим преподавателям: наука на его занятиях всегда тесно связывалась с жизнью. Рассказывая об истории культурных растений или домашних животных, он вселял мысль о постоянном изменении, господствовавшем в природе. Рост, движение, изменение были законом, но человек мог и должен был использовать этот закон, как ему нужно, ускорить и направить изменение. Борис Петрович много рассказывал о том, как выводились различные сорта яблок, черешен, породы лошадей, свиней, кур.

— Откуда вы знаете всё это? — простодушно спрашивали его студенты. Он называл литературу, но в книжках нельзя было найти и сотой доли того, о чем он рассказывал в лекциях. «Знает человек землю, сельское хозяйство», — отзывались о нем слушатели, но только комиссару удалось вызвать профессора Лозу на откровенность. В праздничный день за рюмкой вина комиссар услышал об отце Бориса Петровича — Петре Спиридоныче Лозе, который служил садовником у богатого коннозаводчика. Старик не ограничивался поливкой сада и стрижкой декоративных кустарников: он разводил невиданные в их губернии сорта яблонь и слив, выводил новые, улучшал. Георгины в его саду давали огромные косматые цветы размером с хороший подсолнух.

Борис был младшим сыном садовника и часто помогал отцу в уходе за растениями. Любознательный и молчаливый, он копил и копил запасы своих наблюдений и сведений, а когда вырос, — решил посвятить себя изучению природы.

С годами коннозаводчик разорился и продал свой диковинный сад соседнему помещику. У того имелся свой, садовник, и старику Лозе пришлось расстаться с должностью. Но расстаться с садом он не мог, нанялся в простые сторожа и попрежнему проводил свои дни в саду среди молодых выращенных им деревьев, на которых смотрел, как на детей.

Новый садовник притеснял его, боясь ущемления своей власти, мешал его опытам, высмеивал их. Петр Спиридоныч, человек по характеру мягкий и добрый, вынужден был сносить молча злые шутки и насмешки, — он рисковал потерять даже место сторожа. Семья узнала нужду, жена корила старика за его слепую привязанность к чужому саду, за безденежье. «Из недояди впроголодь живем», — упрекала она и отдала Бориса в ученики сапожнику — хоть ремесло будет у парня, кусок хлеба. Помогли старшие сыновья, успевшие стать на ноги, — они посылали матери деньги и настаивали, чтобы Борис окончил гимназию.

Петр Спиридоныч умер. Сад, которому он отдал лучшие годы жизни, наполовину вырубленный и запущенный, достался коммуне «Светоч», — коммуну организовала сельская беднота в первые же годы советской власти. Много из того, что говорил и делал старый садовник, сохранилось в памяти его односельчан, сохранилось оно и в памяти его младшего сына. Запомнилась Борису Петровичу и дружба с коневодами, рассказывавшими ему о длинных родословных лучших рысаков, об их вкусах, привычках и прихотях.

Машин отец любил свою преподавательскую работу, и всё же, наука продолжала завлекать его всё дальше и дальше в свои неизведанные глубины. Он читал курсы ботаники и зоологии, но сердце его больше лежало к бессловесной растительности, к немym деревьям и травам, задававшим загадки на каждом шагу. Они были более беспомощны, чем любое животное или птица. Они не могли перебежать на другую, лучшую почву, найти себе корм, приблизить влагу.

Они нуждались в человеке и, охотно подчиняясь ему, хорошели и плодоносили, будто благодарили за понимание и заботу.

Но если растения послушны, нельзя ли научить их продвигаться на север, давать более ранние и более обильные урожаи?..

Да, человек знал землю и мечтал умножить ее богатство и красоту.

Днем Маше пришлось убегать от мальчишек, которые грозили ей перочинным ножиком. Ночью она проснулась от страшного сна: огромный дядька в рубахе без пояса крался за ней по высокой лестничной клетке, хотел зарезать. А на лестнице не хватало ступенек, приходилось шагать через зияющие дыры, а перила были изогнуты, сломаны... Она бежала, падала и вдруг открыла глаза: из темной детской дверь была чуточку приотворена в соседнюю комнату. Там горел свет. Папа и мама сидели за столом, а на столе лежали восемь столовых серебряных ложек, шесть чайных, стопочкой несколько штук золотых монет и золотые дамские часы на цепочке.

— Вот и рассчитывай, Нюся, — говорил папа вполголоса, указывая глазами на лежащее на столе «богатство»: — Иду на ставку сорок один рубль в месяц. Ты там работы не найдешь, — на бирже труда огромные очереди. С Татьяной Дмитриевной придется расстаться. Питаться будем картошкой и кашей, такого приволья, как здесь, не будет. Во время командировки туда я забежал на рынок: всё очень дорого по сравнению с Харьковом.

— Боря, нам не стать привыкать. Хуже было, и то не пропали. Разве я допущу, чтобы семья стояла на твоём пути, как препятствие? Я верю в тебя, Боря. А там, может, и печататься будешь, ещё деньжонки набегут.

— Обещали в Доме безбожника привлечь меня читать лекции. Но я нарочно не называю тебе этих сумм: надо приготовиться к худшему. Серебряные ложки и эти часы в случае непредвиденных расходов придется продать. Понимаешь ты, девочка, с кем связалась? Жить бы тебе да жить здесь, при зоотехникуме, с фермы молока вдоволь, в сарае поросята хрюкают, по двору куры-несушки бегают, огород свой. А я тащу тебя за тридевять земель, из чистого эгоизма: хочу расти, как ученый, чтобы построже судьи были вокруг, чтобы науку двигать.

— Это не эгоизм, Боря. Я понимаю.

— Трое ребят... Трудновато нам будет, Анечка. И климат... боюсь я климата этого: как наши дети перенесут его? И сам я с бронхитом всегда. Но если бы ты видела, Аня, их коллекции, их рабочие кабинеты! А библиотека...

— Решено, Боря. Буду готовиться. Натоплю сала впрок, захватим продуктов на первое время.

— Я выеду за две недели до вас, заберу Севу и багаж. Подыщу квартиру, сделаю ремонт. А ты по пути наведишь вместе с Машей и Володей маму. Пробудешь у нее дня три — и в Петроград.

Так вот оно что! Едем в Петроград. Маша задумалась. Она знала Петроград по «Медному всаднику» Пушкина. «Тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой»... «как живые, стояли львы сторожевые». Какой-то большой город, в нем Невский (Невский мы знаем какой, у нас тут имеется тоже), посередине на площади — Медный всадник, сбоку у особняка — сторожевые львы. Приедем — увидим!

Как-то за столом, когда Маша не хотела есть вареного лука в борще, мама сказала:

— Всё ешь. В Петрограде одну картошку есть будем, привыкай.

Сева выслушал замечание, сделанное сестре, и стал подчищать всё со своей тарелки, морщась от лука, которого он тоже не любил.

После обеда они сидели в детской вдвоем. Маша сказала:

— В Петрограде — знаешь? — все едят только кашу и картошку. Там ничего нет, а на базаре всё дорого. Зато есть Медный всадник, памятник Петру Великому. Говорят, он ночью оживает и ездит по городу.

— Мало ли что говорят, — ответил солидно Сева. — Вот приедем, сами хорошенько посмотрим. Тогда узнаем.

— Наш папа будет там заниматься научной работой. Он же профессор, — Маша говорила с украинским акцентом, у нее получалось «прохвессор». Она постаралась объяснить брату, что папа очень важный и что он обязательно сделает открытие, — все ученые делают открытия. Ученые хотят всё узнать. Сева слушал задумчиво, а потом спросил:

— Как ты думаешь, а я могу стать ученым?

— Конечно, можешь. Только надо хорошо учиться. Ленин, когда был маленький, очень хорошо учился.

Больше Сева вопросов не задавал. Он вертел в руках ножницы и пробовал, как они режут бумагу, картон. Потом отвернул одеяло и попробовал надрезать простыню. Ножницы резали материю не так хорошо.

Потом его заинтересовала мамина соломенная шляпа. Она была твердой и блестящей, как жемчуг, — возьмут ли ее ножницы? Улучив момент, он надрезал край шляпы.

Мама долго отчитывала его, а он в ответ на вопрос «зачем ты это сделал?» отвечал тихо:

— Я хотел знать, как она режется.

Глава семнадцатая

До Маши дошел слух, что в зоотехникуме устроили музей. Что такое музей? Маша стала приставать к отцу, и он пообещал показать музей детям.

Обойдя корпус общежития, они увидели дверь с вывеской.

— Нечего задерживаться, идемте скорее, — сказал отец, толкнув ребят к двери. — Говорил я Ильченко снять эту рекламу, так нет, уперлись. Нет у людей чувства юмора, — бормотал он себе под нос.

Маша всё-таки успела прочесть вывеску: «Музей научного общества естествоиспытателей имени профессора Б. П. Лозы.»

В музее стояли чучела лисы, волка, зайца и разных птиц. Здесь был и орел, раскинувший свои огромные темные крылья, и ястреб, и тетерев. В наглухо закрытых банках плавали заспиртованные рыбы, лягушки, тритоны. В картонных коробках под стеклом на булавках торчали красивые бабочки — махаон, павлиний глаз, мертвая голова.

В закрытом стеклянном ящике Маша увидела знакомого ужа. В другом углу комнаты стояли и лежали гербарии с засушенными растениями. Сухие, они потеряли яркость красок и показались Маше неинтересными.

Сева чуть не наступил на живую черепаху, ползавшую по музею. Она тоже была экспонатом, — Ильченко в шутку приклеил ей на спину беленькую этикетку с наименованием по-русски и по-латыни. Но этот экспонат был живой — студенты пасли его время от времени на лугу, где он с аппетитом уплетал листья подорожника. А потом мог долгое время не есть.

Маша скоро заскучала в музее, дожидаясь пока отец освободится. Он сидел за маленьким столиком и правил какую-то рукопись. На столе лежали два номера рукописного журнала Общества натуралистов. Студенты выпускали свой научный журнал.

Сева не скучал: он заучивал, повторяя вполголоса, названия растений в гербариях.

Маша подошла к отцу.

— Теперь ты расскажешь нам, откуда что взялось, — попросила она. — Ну ладно, человек

произошел от обезьяны, а обезьяна от кого?

— Не от обезьяны, а от общего с обезьяной предка, — пояснил отец.

И он рассказал ей, как мог проще, о происхождении жизни на земле.

— А первая, самая первая микробина, или там амёба, — она откуда взялась? Неужели, прямо из воды или из камня? Я не понимаю. То — живое существо, а то — так, камень, предмет.

— Вот так и взялась, — сказал отец и рассмеялся. — Понимаешь, история развития жизни — это длинная-длинная цепочка разных изменений. Это всё длилось миллионы и миллиарды лет. Ученые нашли еще не все звенья этой цепочки, о некоторых мы только догадываемся. Но эти догадки — основательные. А придет время, отыщем и доказательства.

Маша задумалась. Вот тебе и на... Живешь-живешь, ходишь, высоко подняв голову, а оказывается какая-то микробина или даже камень, лежащий на земле, — твои прабабушка и прадедушка... Пусть даже очень дальние родственники, но всё же не чужие.

В лесу она вздумала разговаривать с камнем. Долго гладила его, объясняла что-то, а потом шлепнула сверху рукой, встала и сказала:

— А всё-таки, я человек. Я могу думать, а ты нет. Ну, лежи, а я побежала!

Понять рассказ отца было трудно, но Маша усвоила одно: весь мир всё время меняется и улучшается. И самая улучшенная частица природы — это человек, в том числе и она — Маша.

— Прощайтесь с зоотехником, дети, — сказал однажды отец. — Завтра мы уезжаем отсюда. И может быть, больше никогда не вернемся.

— Никогда?

Только в этот момент Маша осознала, что должно произойти. Больше она никогда не увидит кузницу, клуб имени товарища Буденного, «Петруся», Клаву, Лиду... Что? Не увидит Лиду?

Обо всем остальном думалось легко, чуть-чуть грустно, но легко. Ну, не увидит «Петруся» — жаль, ну так что же? Она и так видит его редко, а больше и не хочется. Его даже интересней не видеть, а воображать. Но Лида вошла в ее жизнь, Лида рассказала о Ленине. Лида... Она должна всё выяснить, так нельзя уезжать.

Наступал вечер, тихий летний вечер после сухого теплого дня. В клубе шло партийное собрание — Маша знала это по объявлению на «Невском». На улице никого не было видно.

Маша сунула руку под ступеньки крыльца и вытащила коробку от папиросных гильз. Там лежали лучшие стеклышки, найденные ею: нежноабрикосовое с золотыми и зелеными веточками, стеклышко густовишневого цвета с медальоном, в котором был портрет хорошенькой маркизы, — отбито только плечо, головка целая; и, наконец, тоненький, как ноготь, осколок настоящей китайской чашки с рисунком руки, держащей листок с иероглифами.

Это были настоящие редкости. За них девочки готовы были дать в обмен целый мешочек разноцветных стеклышек, но Маша не брала.

Захватив свои богатства, она пошла к Лидиному дому. Вбежала на второй этаж — вот квартира комиссара. Дверь приоткрыта. Она вошла без стука и увидела Лиду. Всё ту же стриженную под машинку Лиду в голубом выгоревшем платье, смуглолицую и смуглорукую. Лида стояла у стола одна. Никого не было дома.

— Мы уезжаем завтра, — сказала Маша, сделав шаг навстречу. — Совсем. В Ленинград (она знала, что город переименован, и не считала возможным сказать Лиде, как еще многие говорили, «Петроград»). Возьми на память...

Она положила перед Лидой свои сокровища.

— И до свидания... — дрожащим голосом закончила Маша. — И... не сердись...

И тут произошло нечто: неожиданное для них обеих. Лида подошла к ней, быстро обняла ее, поцеловала куда-то в щеку или в лоб и обе заплакали, заревели. Они стояли посреди комнаты,

прижавшись друг к другу, и плакали. И если б кто-нибудь спросил, в это время, отчего они плачут, девочки не сумели бы ответить. Целое лето они косились друг на друга, не разговаривая и держась на расстоянии.

— Ой! — сказала Лида первая. — Зачем ты уезжаешь? Мне будет так скучно без тебя. Я не успела рассказать тебе: мы устраиваем из пионеров такую бригаду, учить будем взрослых, неграмотных. И ты бы могла, ты же хорошо читаешь и пишешь. Я давно хотела тебе сказать...

— Мне самой не хочется ехать отсюда, — сказала Маша от души. — Я ведь о тебе всё время буду думать Ты же мне первая всё объяснила. Мне никто никогда не объяснял про это... про Ленина и вообще.

Щеки их высохли, глаза блеснули. Они говорили совершенно серьезно, потому что и в десять лет можно говорить очень серьезно. Лида усадила Машу рядом на диванчике, и они говорили без умолку, перебивая друг друга, объясняя свои поступки, раскрывая святая святых. Они были совсем не похожи друг на друга: Маша — курносая, сероглазая, с немного всклоченными светло-русыми вихрами и толстыми негритянскими губами, Лида — стриженная под машинку, черноглазая, смуглая, маленьким твердым ртом и тоненьким точеным носиком. Лида говорила тверже, ясней, Маша то и дело восклицала, не договаривала от волнения фразы, перескакивала с одного на другое.

Лида не была бахвалкой, ей хотелось объяснить подруге, что если она понимает некоторые серьезные вещи, то только потому, что многое ей пришлось испытать и повидать вместе с отцом и матерью. А у нее не только папа — комиссар, мама у нее тоже партийная, она сейчас на собрании. А папа стал партийным еще раньше, в царское время, тогда они жили в Тифлисе, «они были еще без меня», сказала Лида. Его тогда жандармы ловили. А во время гражданской войны он воевал против белых.

— Если б не родители, я б тоже была совсем темная, ты не думай, — закончила Лида, ободрая подругу.

— Ты даже сочиняешь стихи. Как это получается у тебя? — спросила Маша.

— Не знаю, просто надо было своими словами что-нибудь сказать. Папа говорит, что получается не очень-то хорошо, потому что у меня сказано «иди на баррикады», а баррикад давно уже нет.

— Я бы и так не написала. Лида, как же я уеду? Я без тебя...

— Мы будем писать письма. Ты мой адрес знаешь, напишешь мне свой и я отвечу. А пока... Подожди, я дам тебе на память ракушек. Из Анапы.

Лида достала с этажерки коробку от конфет. В ней лежали ракушки, собранные ею когда-то на берегу Черного моря. Белые, овальные, с лиловатой изнанкой; длинные, как палец; маленькие круглые, веером.

Девочки засиделись до полночи, и только когда в дверях показалась Лидина мама, они стали Прощаться. Лида проводила подругу вниз, на улицу, и там сказала ей:

— Завтра я буду тебя провожать. Вы до станции на телеге поедете? И я с вами, меня отпустят.

Умытые утренней росой, в траве потягивались стройные ромашки и колокольчики, красовались полевые мальвы и синие звездочки туфелек, звенели кукушкины слёзки. Птицы окликали детей с верхушек придорожных тополей и сосен, а Маша и Сева, сидя рядом с Лидой на краю телеги и болтая ногами, кричали в ответ:

— До свиданья, дятлы и сизоворонки! До свиданья, сосенки и елки! До свиданья, ромашки и львиный зев! До свиданья, зоотехникум! Мы уезжаем далеко-далеко, мы вас никогда не забудем!

Часть вторая

Глава первая

На бабушкином окне — белые кружевные занавески и цветы в горшках: бальзамин с мясистым прозрачным стволом, усаженным розовыми мотыльками, красная герань, фикус. Цветы и занавески отделяют комнату бабушки от всего мира. Перед окном — стол. На столе — начатое шитье и железная красивая коробка с надписью: «Уфимский натуральный липовый сотовый мед». Но в коробке не мед, а клубочки ниток и разные пуговицы.

В верхнем углу комнаты иконы. Бабушкины боги, все худощавые, голодные, строгие. Даже у богородицы и младенца щеки бледные, без румянца. Перед иконами зеленая стеклянная лампадка с маслом, она зажжена день и ночь. Зачем? Наверно, чтобы богам было светло и не страшно.

Папа и Сева уже в Ленинграде, а Маша с мамой и Володей по пути заехали в гости к бабушке, папиной маме. Она живет в маленьком деревянном городке, при ней — ее двоюродная сестра Глафира Ивановна. Обе старушки ходят в черном, на головах у них в будни черные ситцевые платки, в праздник — черные кружевные шали. Они староверки.

Бабушкины сыновья все разъехались по разным городам и оттуда посылают ей деньги на жизнь. На эти деньги бабушка и живет вместе с Глафирой Ивановной. Навещают ее редко. Илье некогда, заводские дела не пускают, Тимофей — артист, всё время в разъездах, Леонид учительствует на Урале, далеко отсюда.

Бабушка рада приезду внуков. Маленького Володьку она видит впервые. Машеньку ей привозили показать, когда девочке было шесть месяцев. Бабушка взяла ее тогда на руки, стала забавлять и увидела, что на девочке нет креста. Борис Петрович и Анна Васильевна смутились, начали что-то говорить о прогрессе, о праве каждого на свой образ мыслей. Бабушка оглядела их с осуждением и, ни слова не говоря, на другой день окрестила внучку. «Каково мне было перед батюшкой, — корила она сына. — Младенец-то ваш все размеры приличные перерос, срам один. Спасибо, батюшка знакомый, долго не рассуждал. Окунул девку в воду и дело с концом. Она — орать, да уж поздно: крещеная...»

На Володе тоже нет креста, но мама теперь научена горьким опытом: свекровь — старуха упрямая, ее не переспоришь. Староверка, из тех, что живьем себя сжигали в знак протеста против петровых новшеств. И мама вежливо обманывает бабушку: «Крестили Володеньку, да вот затерялся крестик где-то...» Бабушка тотчас достает из круглой жестяной коробочки серебряный крестик и вешает Володьке на шею. Он удивлен — в первый раз видит такую игрушку. Хватает руками, теревит. Мама сидит молча, опустив глаза. Она знает, что врать нехорошо, но ведь иногда приходится...

— С дороги в баньку надо бы, — говорит бабушка. — Вот Глафира отведет вас, тут недалеко. А внучка я вам не дам. Сама его вымою, дома.

Глафира Ивановна ведет Машу и маму в баню. Маша никогда не была в бане: дома ее всегда купали в большом деревянном корыте. Отчего-то становится ужасно стыдно: все раздеваются без стеснения, и Маша раздевается. Она боязливо входит из предбанника в мыльную, держа в руке бабушкин зеленый эмалированный таз. Глафира бесцеремонно оглядывает ее, притормаживаясь.

Маша торопливо моется. Придумали, тоже! Зачем это мыться всем вместе? Лучше дома. Счастливый Володька, его дома купают!

Домой возвращаются розовые, распаренные. Бабушка торжественно вставляет в Машины

вихры круглую гребенку. Гребенка должна изменить направление волос: они у Маши растут вперед, на лоб, а бабушка старается завернуть их все к затылку и закрепить гребенкой. Волосы не согласны. Над круглым Машиным лбом появляются торчащие во все стороны петушиные вихры, выскользнувшие из-под зубцов гребня. Вот и зачесали! Всё не как у людей.

— У Ниночки волосы белей были и мягче, как у Бори в детстве, — задумчиво говорит бабушка.

— Ниночку мы при Деникине потеряли, — говорит мама, взглянув на бабушкиных богов.

Маша слушает и ей становится страшно. Потеряли! Точно она ехала вместе со всеми на телеге, упала на дорогу, а они и не заметили. Потеряли маленькую девочку. Она сидит теперь в лесу, на обочине дороги, зовет маму, сестру, а никто и не оглянулся. Потеряли! Когда теряют, то можно найти и вернуть. Зачем так говорят?

— Вот переезжаем, — продолжает мама. — Каково там будет, на новом месте? Всем заново обзаводиться придется. Прежде у нас цветы на окнах были, целый сад, а на новом месте...

Бабушка встает и начинает шарить на верхней полочке старенького самодельного буфета. Отыскав, подзывает Машу и протягивает ей синюю жестяную коробочку от леденцов:

— Вот возьми, дедово наследство... Семена тут цветочные в пакетиках... Дед твой великий цветочник был, вот как любил красоту земную.

Маша вынимает из коробочки крохотный пакетик, похожий на порошки от кашля. — А как он цветет, бабушка?

— Вот посадишь, вырастет, — и узнаешь. Только поливать не ленись.

Интересно! А вдруг вырастут диковинные голубые лилии с золотыми тычинками, как в сказках? А зернышки мелкие, кривенькие, ни за что не поверишь, что это и есть будущий цветок!

— Пойду с внучкой деньги мотать, — говорит бабушка, хитро прищурясь. Она набрасывает на себя кружевную шаль и берет внучку за руку. Они ходят по лавкам. Вот игрушечный магазин: сколько тут всякой всячины!

— Что тебе купить?

Что купить! Тут глаза разбегаются. Но Маше не трудно догадаться, что денег у бабушки, наверно, мало. Надо попросить такое, что стоит недорого, иначе завтра бабушке не на что будет купить капусты для щей. Маша останавливается на крошечной кукле из папье-маше, с подвижными руками и ногами. Кукла умещается на бабушкиной ладони, платье ей легко сшить из любого маленького лоскутка.

Бабушка довольна умеренностью внучки. Для Володьки она покупает тряпичного зайца с длинными ушами, а для Севы — целый поезд из металлических вагончиков разного цвета. Шикарный подарок! Он еле умещается в бабушкиной кошёлке.

Дома Глафира кормит гостей грибным супом и жареной рыбкой, — оказывается, у старушек сейчас пост. Ну ладно, и суп и рыба — вкусные.

— В баньке ты очистила от грязи свое тело, а теперь надо очистить душу, — говорит после обеда Глафира, обращаясь к Маше. — Пойдем в церковь на исповедь. Ты исповедывалась прежде?

— Нет, — мрачно отвечает Маша, почему-то вспоминая баню, наполненную голыми женщинами и детьми.

— Ну вот и пойдем. Расскажешь батюшке о своих грехах, покаешься, он тебе их отпустит и будет тебе легко на душе.

— Мне не хочется... — вполголоса говорит Маша, уставившись на ножку стола, торчащую из-под холщовой скатерти. Хоть бы кто-нибудь помог!

Но выручить никто не хочет. Бабушка даже не обратила внимания на ее слова. «Ну вот и

пойдете завтра с утра», — говорит она Глафире, словно это дело решенное. А мама возится с Володькой и ничего не слышит. Или делает вид, что не слышит? Боится упрямой бабушки?

Бога же нет! Маша знает это, и мама согласна, и отец. Почему же ее заставляют идти исповедываться! Притворяться? «Батюшке надо говорить только правду», — поучает Глафира. Противная старушенция. Какое дело ей до Машиной души? «Очистить душу»! Все секреты узнать!

— Не хочу исповедываться, — говорит она вечером матери, выбрав минуту, когда Глафиры, и бабушки в комнате нет.

Мама изменилась с тех пор, как не работает в школе. Маша хорошо помнит, как строго и беспощадно сказала мама кухарке детдома, укравшей сахар: «Я вас увольняю». А сейчас она сговорчивей. Наверно, не вступится за свою несчастную дочку.

И действительно, мама говорит:

— Не придавай значения. Бабушке это приятно, значит, надо сходить. Она вам игрушек накупила и всего... Это недолго, — отвечает мама.

Ах, игрушек! Хотели подкупить ее, что ли? Маленькая кукла становится почему-то противной, в руки бы ее не брать! Маша готова возразить, что она привыкла говорить правду, что в бога она не верит, что это будет для нее мучение... Но в комнату входит Глафира в длинной ночной сорочке, и Маша умолкает. Ночью ей не спится. Как же быть завтра? Врать этому батюшке? Не хотелось бы врать, но говорить правду о своей душе какому-то незнакомому дядьке она не желает. И не скажет. Придется занять его какими-нибудь пустяками — взяла один раз без спроса коржик, укусила папу, когда он высек ее... Хватит с этого батюшки. Не болтать же ему о некоторых, совершенно секретных Люськиных рассказах, которые Маша слушала с интересом и которые безусловно относятся к грехам...

Утром в церкви светло, но всё равно не весело. Людей мало. Кто-то заунывно читает по книге какую-то молитву или поучение. По обоим бокам — кулисы, как в театре. В одну из кулис справа Глафира приводит Машу и говорит ей шёпотом:

— Сейчас батюшка кончит исповедывать одну тетеньку, она выйдет от него, а ты иди. Это недолго.

Маша ждет. Тетенька исповедывается неторопливо, со вкусом. Она рассказывает свои грехи обстоятельно и достаточно громко, так что Маше всё хорошо слышно.

— Не знаю, как и приступить, грешна... Намедни приснились мне вы, батюшка. И таково-то приятно, что не знаю, как рассказать... Будто прочитали вы проповедь, подошли ко мне... И вдруг всё исчезает, и я — в какой-то яме...

«Неужели ей не стыдно такие сны рассказывать какому-то старичку?» — возмущенно думает Маша. Как на беду, тетка говорит очень внятно. Чтобы отвлечься от назойливых рассказов, Маша начинает рассматривать церковные кулисы на противоположной стороне. Там — куда интересней: там несколько мальчишек-подростков в длинных до пят облачениях. Что это напялили на них? Наверно, они наряжены в ангелов, у них — вроде церковного драмкружка...

«Ангелам» явно скучно. Увидев ожидающую исповеди курносую девчонку со вздернутой губой, они оживают. Один показывает ей «нос», приставив к своему носу обе ладони с растопыренными пальцами. Маша хочет ответить тем же, но вспоминает, что нельзя. Они тут свои, им не попадет, а ей...

Другой мальчишка высовывает язык и дразнит ее. Она опять принимает безразличный вид. Это еще пуще раззадоривает «ангелов». Самый изобретательный из них начинает лепить что-то из кусочка желтого воска. Вылепив смешного чёртика с хвостом и рожками, он сажает его сверху на большую свечу и показывает Маше: каково? Маше очень смешно, она еле

сдерживается, чтоб не расхохотаться. Мальчишкам только этого и надо! Маша весело разглядывает чёртика, вытягивая шею, — всё-таки, он маленький и — далеко. Но вдруг из отделения батюшки выходит тетка, которая исповедывалась. Вся красная, потная, она крестится и прячет свои бесстыжие глаза, уходя из церкви. Теперь Машина очередь.

Нет, она не станет раскрывать души перед этим старичком. Но, подняв глаза на батюшку, Маша видит, что это совсем не старичок. У него даже седых волос нет, бородка подстриженная, глаза вкрадчивые. Вот так на поминках Ниночки выглядел один гость, вытиравший салфеткой усы и бороду. Рядом — высокая стопка книг в кожаных переплетах с металлическими застёжками. Интересно, что это за книги?

Батюшка начинает подсказывать ей грехи. Маша монотонно отвечает: «было»... Отвращение и чувство протеста испытывает она к этому дядьке, положившему ей руку на голову. Скорей бы кончилось. Какое он имеет право!

Священник отпускает грехи, что-то говорит в напутствие, и Маша торопливо выходит из церкви на свежий воздух. Как легко дышится на улице, под зелеными липами!

«Зачем я подчинилась, зачем согласилась на эту комедию? Разве могу я поверить свои мысли чужому несимпатичному человеку? Лиде бы я исповедалась, даже Севке, даже маме. Но не этому попу. Открывать душу можно только хорошему человеку, которого любишь и уважаешь и которому не хочется врать.

Лиде бы я исповедалась. А что если бы Лида попала в такое положение? Она ни за что не согласилась бы. Меня заставили, но... Не надо было подчиняться, слушаться. Но ведь нельзя не слушаться маму... Вообще-то мама очень хорошая, справедливая и честная, только тут она сплеховала. Нет, я поступила худо, согласившись идти на исповедь. Больше никогда не пойду. Если бабушка верит, пусть сама и молится. Лучше я ей полы вымою, лучше целое ведро картошки начищу, а в церковь больше не пойду».

Видно, такой у тебя склад, Машенька: последнюю свою ошибку ты делаешь, почти понимая, что это ошибка. И от этого она становится особенно горькой. Хорошенько обозлившись на самое себя, ты ее уже никогда не повторишь.

Глава вторая

Стояло хмурое северное утро, когда они проехали Колпино. Огромный город открылся перед глазами Маши, за окнами вагона мелькали дымящиеся трубы и серые корпуса заводов. В дыму заблестела золотая шишечка.

— Это Исаакий, — сказала мама, — Исаакиевский собор. Приедем, пойдем посмотреть на него и даже на верхушку влезем. Он очень высокий.

На вокзале встретил папа. К дому ехали на извозчике. Где-то вдали глухо постреливала пушка. «Вода подымается», — сказал папа. Маша не поняла: где подымается? Почему?

— Вот это бывший царский дворец, — показал папа, когда извозчик проехал красивую круглую площадь с колонной. За садиком, огороженным узорной решеткой, виднелся трехэтажный дом со статуями на крыше. — Теперь туда всем ходить можно. Музей.

Маша засмотрелась на дворец и не сразу заметила, как перед нею возникла Нева. Река была огромная, она вся шевелилась, серая и тяжелая, как зверь в гранитной клетке. Она вспухала, как перебродившее тесто, она подымалась по гранитным ступенькам всё выше, как будто хотела выплеснуться на берег.

— Хорошо, что вы уже приехали. Будет наводнение, — сказал папа, посмотрев на Неву. Он не предвидел, что Нева взбунтуется так, как это бывает с ней раз в столетие.

Ленинград... Всё здесь показалось Маше большим, суровым. Большая река, какой она

никогда не видала прежде, большие дома... И квартира, куда их привез отец, тоже была большая, — из трех настоящих комнат. Когда отперли дверь, навстречу выбежал Севка.

— А я не боялся один, а я не боялся! — крикнул он Маше с порога. — Идем, я покажу тебе, где я сплю.

С этими словами он схватил сестру за руку и потащил к платяному шкафу. Раскрыл дверцу и оказалось, что сверху висит одежда, а внизу ему постелено спать, и подушка есть, и одеяло. Здорово! Маша никогда не видала таких чудес.

Комната, в которой стояли платяной шкаф и кухонный столик, называлась столовой. В «спальне» Маша увидела две кровати, в третьей комнате — письменный стол и стул. Это был папин рабочий кабинет. Книги были связаны в стопки и лежали на полу, шкаф для них еще не купили.

Папа пригласил семью поест — за маленьким кухонным столиком все едва разместились. Маша взяла свою тарелку на колени. Родители обсуждали, что еще надо купить из мебели, а что придет багажом. За окном виднелась гладкая светложелтая стена каменного дома. В переулке какая-то старуха водила трех белых пушистых шпицев. Вскоре она ушла.

Прошел татарин-старьевщик с пустым мешком в руке. Он высоко задирает голову, словно обращаясь к жителям верхних этажей, и кричал:

— Халат-халат!

— А ну печёнки — легкого, печёнки — легкого! — долетел в открытую форточку голос лотошника. Увидев его из окон, хозяйки выходили на улицу и покупали полфунта или четверть фунта его товару.

— Здесь такая мода — кошкам и собакам покупают печёнку и легкое, — объяснял папа. — Та мадам со шпиками берет каждый день по два фунта у этого лотошника. Она — из бывших. Сколько еще тут всякой швали! Мы с тобой, Аня, тоже фунта два брать будем... иногда. Для себя и детей. Печёнка — вещь полезная.

Снова послышался глухой пушечный выстрел. Маша взглянула в окно: по улице бежала модно одетая дама в шляпке с пером. Она была босая, чулки и туфли держала в руках.

— Почему это, мама? — спросила Маша, но ответа не последовало. Мама внимательно смотрела в окно. На середину улицы быстро вытекал сердитый ручей, он делался всё шире, бурливей, он был не в силах остановиться.

— Наводнение! — Отец повернул выключатель, но электричество не вспыхнуло. — Света не будет, а у нас и керосина нет. Я побегу в керосинную.

Маша смотрела в окно: отец шел по щиколотки в воде, подымая повыше заржавленный керосиновый бидончик. Полы его пиджака и пустой бидончик относил ветром в сторону. Ветер гудел, взметал брызги воды, сотрясая листы кровельного железа, наполовину оборванные с крыш, подоконников и с навесов парадных. Казалось, высокие дома забрели в какое-то озеро и не знают, как выбраться назад. Кругом что-то трещало, хрустело, раздавались всплески воды, крики пешеходов.

Папа не возвращался долго. Стемнело, мама украдкой вытирала заплаканные глаза. Нева шумела уже под окнами, радуясь новому простору, как будто делала хорошее дело.

Мама зажгла свечу и вышла на лестницу. До дверей их квартиры оставалось три незалитых ступеньки.

К подъезду подплыла лодка. В лодке сидели мокрые люди. Слышалось клохтанье кур, трепыхавшихся в клетках. Это жильцы, державшие во дворе птицу, спасали свое добро.

Люди высадились, вынесли клетки с птицей.

— Спасибо, дядя Паля! — сказали они тому, кто сидел на веслах. Он оттолкнулся рукой от подъезда, взмахнул веслом, и лодка, прошуршав деревянным бортом о стену, поплыла снова во

двор, в темень.

Вода прибывала. Отца не было. Мама стала снова увязывать в узлы только что распакованные вещи и приготапливаться к эвакуации на второй этаж. Оттуда уже спустилась к ним добросердечная соседка, жена дяди Пали. Она пригласила новых жильцов к себе и успокоила маму:

— Борис Петрович людям помогает, наверно. Не беспокойтесь, придет. Видели, как мой-то в Лодочника превратился? А керосинчику для лампы пока что возьмите у меня.

Они уже собрались наверх, как вдруг в парадную снова въехала лодка. Теперь, проплывая дверь, все нагибали головы. В лодке сидел папа, мокрый, без шляпы, с засученными рукавами пиджака и серой кошкой на коленях. Он ухватился кое-как за перила, выпрыгнул на верхнюю, еще не залитую водой ступеньку и обнял маму:

— Поволновалась, моя хорошая, вижу... Понимаешь, что получилось? Иду я за керосином, топаю по воде, вижу — лавка закрыта. Дверь набухла, не открыть, продавцы выбрались черным ходом. А тут крик: «Ребенок, ребенок остался!» Понять ничего нельзя. Смотрю в окно: рядом с керосинной — квартирка полуподвальная, много ниже нашей, залито всё, дверь не открывается, а на кровати парнишка вроде Володьки. И никого дома, родители, видно, на работе. Парень уже в воде по пояс, орет благим матом. Окна у них чуть повыше мостовой. И закрыты. Пришлось выбить стекло. Паренька я отдал соседям с верхнего этажа, а окно доской заткнул. В другом месте по дороге кошку подобрал, тонула, дуреха. Ну, потом еще помог кое-кому.

Отец, видимо, устал и озяб, но глаза блестели. В нем чувствовалась та энергия, которая возникает в человеке в минуты испытаний и благодаря которой среди лиц испуганных и растерянных в трудный час можно видеть лица радостно-возбужденные, полные уверенности в превосходстве человека над всеми темными силами.

По неосвещенным лестницам Маша подымалась с Севой за руку всё выше, потому что мама сказала: «идите наверх», думая, что Маше известно, где живет жена дяди Пали. Дети прошли четвертый этаж и стали подыматься на чердак, когда их окликнули снизу из лестничного пролета. Пришлось вернуться на второй этаж.

Маша и Сева неуверенно вошли в незнакомую квартиру. Их встретила беловолосая девочка с двумя бантиками на туго заплетенных тоненьких косицах.

— Заходите, не бойтесь! — сказала она, показывая в темном коридоре дорогу. — В комнате у нас лампа, будем рассматривать «Ниву».

Сева сразу забыл о наводнении, увидев толстую огромную книгу — годовой комплект журнала «Нива» за 1911 год. Здесь было много картинок, больших и маленьких. Маша успела перелистать статьи, посвященные магнетизму и спиритизму. « Попрошу у них почитать, — подумала она, — и сама выучусь разговаривать с духами».

Комнату украшали фотографии, фарфоровые яички с бантиками, макет деревянного кораблика с тремя мачтами и снастями.

Девочку с тоненькими косичками звали Леля. Ей было девять лет, она ходила уже во второй класс. Леля рассказала, что ее скоро примут в пионеры и что отец выписал ей специальную пионерскую газету «Ленинские искры». Леля хотела показать Маше эту газету, но пришла Анна Васильевна и позвала детей вниз.

— Вода убывает, — сказала она. — До нас не дошло на одну ступеньку.

На другой день Леля водила Машу и Севу смотреть, что натворило наводнение. На улицах лежали заборы, сваленные водой, размытые поленницы превратились в груды швырка, раскиданного по дворам и улицам. В Ленинском парке возле «американских гор» несколько ив покосились, нагнув свои вершины к реке. Вода смыла их корни, она напирала со стороны Невы, и деревья накренились под тяжестью собственных веток. В другом конце парка, возле

мостика, ведущего в Петропавловскую крепость, многие деревья тоже наклонились в сторону реки. На одном из мостов очутился баркас, осевший здесь после спада воды.

На улицах валялись ржавые листы жести и бог весть откуда принесенные в эти места зеленые крашенные доски. Некоторые папиросные ларьки были повалены или отнесены водой в Совершенно неожиданном направлении.

— А на Васильевском острове, папа говорил, целые деревянные дома смыло, — рассказывала Леля. — А сколько всякого добра в складах промокло и пропало, это ужас! Там сейчас каждый день субботники.

В домах «бывших людей» шла срочная распродажа подмоченной мебели. Родители Маши купили на аукционе книжный шкаф, потертый ковер и настоящую китайскую вазу с отбитым краем. Всё стоило дешево, дороги были деньги: папа получал их мало.

Знакомство с Ленинградом продолжалось, каждый новый день был днем открытий. И о каждом новом открытии Маша писала в зоотехникум своей подружке Лиде.

Дом, в котором поселилась Машина семья, помещался в тихом переулке на Петроградской стороне. С Володей на руках Маша каждый день выходила в переулок, где между булыжников пробивалась зеленая трава, гуляла с братом под окнами. В одном из домов жил сапожник. В своем окне он вывесил удивительный прейскурант в стихах, где все цены на набойки, каблук, новую подошву или латку были изложены под рифму и выписаны аккуратно тушью на листе ватмана.

Поначалу ребята с Машиного двора только издали наблюдали за ней. Девочка Ира, в отглаженном платье из легкой шерстяной материи, с распущенными по плечам кудрями, однажды спросила ее насмешливо:

— Кто твой папа?

— Мой папа прохвессор, — скромно ответила Маша.

Девочка засмеялась:

— Профессор кислых щей! — Она окликнула сестру: — Идем, Олечка, в парк, няня зовет. Будем играть в серсо.

Что такое серсо — Маша не знала. Оставив Володю дома, из любопытства она пошла в парк и увидела: нарядно одетые дети под наблюдением няни, перебрасывали один другому со своих легких деревянных шпаг кольца из ивовых прутьев. Это выглядело красиво и легко, Маша залюбовалась.

Ира заметила ее и сказала громко другой девочке: «Профессорша из Чухломы пришла!». Маше ничего другого не оставалось, кроме как уйти. Теперь она почувствовала не просто обиду, а что-то вроде ненависти к этой холеной девочке с распущенными кудрями. Попросить маму купить серсо? Куда там, хватило бы на хлеб! А здорово было бы, если б она пришла с Севой и Лелей в этот самый парк — парк общий, всем можно играть в нем — и тоже перекидывала бы и ловила цветные Колечки! Хорошо бы утереть нос этой воображалке... Но серсо нет. Не сделать ли его самой? Но в городе нет лозняка, прутьиков, из которых можно было бы сплести такие кольца.

— Нам надо экономить, — объясняла мама Маше, посылая ее на рынок. — На тебе шесть копеек и купи фунт бурака. Только здесь его называют «свекла», так и спрашивай, а то засмеют. Он стоит в одних лавках шесть копеек фунт, а в других пять. Если ты купишь за пять и не хуже, то копейку можешь взять себе на ириску. Иди.

Маша крепко зажимает в кулак две трехкопеечные монеты и идет на рынок.

Прежде чем пройти к зеленым рядам, она обходит ряд, где сидят старухи в темных наколках и старомодных шляпах. На маленьком бетонном возвышении вдоль стены крытого рынка расстелены газеты, на них — чистые тряпки, а на тряпках лежат разные сокровища. Здесь —

вышедшие из моды веера, черепаховые гребни и пряжки, перламутровые пуговицы, отливающие розовым и зеленым, старые кружева, цветные почтовые открытки. Дольше всего Маша задерживается возле открыток: чистые стоят дороже, а те, на оборотной стороне которых что-нибудь написано, — дешевле.

Какие пестрые, забавные открытки! Вот девочка и мальчик в белых меховых шубках спрятались под огромный красный мухомор — идет серебряный снег, осыпая белую землю и красную шляпку гриба. Так не бывает, но это красиво, это же сказка! Едет весенний поезд, из каждого окна цветных вагончиков машут зелеными ветками разные жучки, комарики, мотыльки. Открытки для взрослых гораздо хуже, они просто глупые. Тетка обнимается с дядькой, а толстенький ребенок с крыльями стреляет в них из лука. Зачем? Неизвестно. Или — пасхальное яйцо, из которого вылезает полуголая дама, а внизу надпись «Христос воскрес!» Нет, на эти открытки Маша не смотрит, то ли дело зверюшки или деды-морозы с куклами и розгами, торчащими из мешка... Глаза разбегаются. А старухи-владелицы этой роскоши просят вкрадчиво: «Тебе нравится? Купи, девочка!».

Купи! Мама велела фунт бурака купить, а не открыток.

Вот и зеленные ряды. Всё здесь пестро и ярко. Бросается в глаза товар двух зеленщиков-китайцев: сочный длинный зеленый лук, чистый розовый редис без единой червоточинки, кружевные охапки укропа, мелкая листва и белые вымытые корни петрушки, толстенькие палочки спаржи, лохматые корни сельдерея с резными темнозелеными султанами листьев, нежная молодая морковь. Всё здесь — чистых, аппетитных тонов, всё красивое. Коренья все промыты под краном, на них ни комочка земли. Зелень у китайцев стоит дороже, но покупатель идет к ним охотно.

А почему нынче эта, как ее тут называют, свекла? Маша обходит лавки, потом лотки и, наконец, покупает свеклу за пять копеек. У частника. Частник заманивает покупателей любезным обращением, сбавляет цену. Копейку сэкономила, не худо.

Что же купить на копейку?

И вдруг все искусители Сытного рынка окружают Машу, словно узнали откуда-то, что у нее завелась денежка.

— Умирующий чёртик! Тиу-тиу-тиу! — кричит красноносый старичок, надувая зеленую резиновую голову с рожками.

— А вот американский житель! Американский житель!

Растерянная Маша тянет шею к стеклянной баночке с водой, в которой то всплывает наверх, то ныряет на дно какой-то уродец. Почему он американский житель? Неизвестно. То вниз, то вверх... Как маленький водолазик.

— Тещин язык! Тещин язык! — кричит рядом мальчишка. Он берет в зубы какой-то маленький бумажный свиток, надувает его — и свиток превращается в стремительно выброшенный вперед красный язык с перышком на конце... Вот так чудо! Кончик тещинового языка коснулся Машиной щеки и снова молниеносно исчез — мальчишка явно приглашает Машу купить его изделие.

— Сколько сто́ит?

— Три копейки!

— У меня одна только...

Мальчишка презрительно сплевывает — он мгновенно потерял к ней всякий интерес — и снова затягивает свою песенку: «Тещин язык! А вот тещин язык!».

Маша уходит с базара в унынии, сопровождаемая выкриками толстой торговли с десятками пестрых шариков на тонких, как нитки, резинках:

*Московский раскидай,
Знай покидывай-кидай,
Если делать нечего,
Кидай с утра до вечера!*

На копейку пришлось купить две тоненьких ириски себе и Севе.

Очень нравились Маше ленинградские газетчики. В большинстве это были мальчишки-подростки с толстой пачкой газет подмышкой. Они виртуозно выкрикивали названия газет и главные газетные Новости:

— Ичирние краснаэ газиита! Краснаэ ичирние га-зиита! Покушение на советского полпреда! Похороны наркомвоенмора Михал Васильича Фрунзе! Чрезвычайнай партийная конференция Ленинграда! Газиииита «Правда»! Краснаэ газиита ичирний выпуск! А вот налетай! Журнал «Бегемот» свежий номер — приключения Евлампия Надькина! Газиита «Пушка»!

То были времена, когда публику надо было заманивать читать газету. Юным агитаторам за советскую печать и не снилось, что лет через двадцать за газетами будет выстраиваться очередь у каждого киоска.

Маша с уважением и не без зависти смотрела на этих мальчишек. Им доверяют целые пачки газет, деньги! Знают, что никуда не удерут эти хлопцы, и выручку принесут сполна, гордые доверием и первым заработком.

Но попадались и другие газетчики. На Большом проспекте газетами торговала красивая, еще молодая дама в трауре. Черный креп свисал с ее черной шляпы, ресницы больших карих глаз опущены, тонкие губы всегда сомкнуты. Пальцы ее узких рук, красивые и нежные, быстро делали то же дело, что и руки мальчишек-газетчиков, но она всегда молчала. Маша однажды специально остановилась неподалеку от нее и долго ожидала, не закричит ли дама в трауре, как мальчишки: «Ичиирняэ краснаэ газиита!» Но она не кричала. И всё же, газеты у нее раскупали быстро. Всем было интересно купить газету у бывшей графини.

А рядом с графинею-газетчицей на маленькой детской скамеечке сидела девочка лет трех. Ее не с кем было оставить дома и она целые дни крутилась возле матери на улице. Девочка тоже молчала. И хотя про эту газетчицу все знали, что она — бывшая графиня и муж ее удрал за границу, потому что не ждал ничего хорошего от советской власти, однако граждане над ней не смеялись. Она-то не удрала. «Работает женщина, перековывается, — говорил о ней дядя Паля. — Конечно, она сейчас жертвой себя чувствует, но это пройдет. Ей же на пользу. По крайней мере из ее дочки человек может вырасти в трудовой обстановке».

Маша слышала эти разговоры и жалела, что не все «бывшие» перековываются. По улицам еще нередко прогуливались старухи-собачницы со своими моськами и болонками. Старухи не скрывали ненависти к большевикам, а в церковь ходили, чтобы поделиться друг с другом антисоветскими сплетнями и анекдотами. Те, что помоложе, посещали публичные диспуты архиерея Введенского с наркомом просвещения Луначарским и громко возмущались еретической мыслью о том, что человек произошел от обезьяны. «Пусть происходят от обезьяны, если им нравится, а нас создал бог».

Мама водила детей на Исаакий. Они долго взбирались по винтовой лестнице и задохнулись, увидев под собою огромный, шевелящийся город. Улицы лучами расходились в разные стороны, люди казались букашками. Нева уходила в море, в Финский залив. Сейчас она была величественной и спокойной.

Медный всадник скакал поблизости, в Александровском садике. Они спустились с Исаакия

и рассмотрели: он был грозный, сердитый, позеленевший от туманов и сырых ветров. Он раздавил змею и торжествовал, вздыбив коня над ядовитым чудовищем. Маша перечитала Пушкина: конечно, это всё мерещилось Евгению — памятники не скачут. Просто человек помешался после наводнения, никто не помог ему и Параше. Дяди Пали там не было, вот что!

Дядю Палю любили все ребята Машиного двора. Держался он обыкновенно, посмеется, поговорит с каким-нибудь хлопцем, даст, шутя, шлепка. В глазах мальчишек дядя Паля был героем еще и потому, что водил дребезжащие и гремящие на ходу трамваи — целых три вагона. Вечером на его трамвае зажигались два фонаря — белый и синий, это был световой сигнал маршрута номер двенадцать. Желтый и зеленый горели на восьмерке, два красных — на пятом номере. Под своды трамвайного парка, где стояли десятки вагонов, дядя Паля входил, как в собственный дом.

Дядя Паля был коренной питерец. Отец его служил на конке, дед был кучером дилижансов, курсировавших между Москвой и Петербургом — все в его роду любили дорогу, движение. До революции молодой дядя Паля успел принять участие в забастовке, и не только участвовать, но и товарищей своих настропалить против царского режима.

Сейчас он был секретарем партийного комитета у себя в трамвайном парке. Жена его не работала нигде, занималась домом и дочкой.

По воскресеньям дядя Паля всегда ездил за город или на острова с женой и Лелей. Как-то раз они пригласили с собой и Машу с Севой.

Трамвай довез компанию до островов, потом они долго шли куда-то по лесу, где за деревьями то и дело сверкали речушки и пруды. Вышли к морю — оно лежало широкое, серое, пропадая где-то за горизонтом. Далеко впереди белел крохотный парус рыбацкой лодки, над темными волнами взлетали чайки, взмахивая узкими острыми крыльями.

«Почему говорят: море синее? — подумала Маша. — Оно и не синее вовсе».

— Море у неба цвет берет, — сказал дядя Паля, словно отвечая на Машины мысли. — Небо синее — и море синее. А сегодня небо наше хмурое, северное, и море ему под стать.

Он подобрал лежащий на песке толстый кусок красной сосновой коры и начал строгать его перочинным ножиком. Кора стала лодкой. Сверху он воткнул мачту из крепкого сучочка, на мачту наколот листок из блокнота — получился кораблик. Дядя Паля отдал кораблик Севе:

— Вот тебе ленинградская игрушка.

Когда Сева отбежал с корабликом к воде, дядя Паля пробормотал ему вслед:

— На море живут, а моря не видели... Не соображают люди, куда семью привозят. И сами, небось, ничего не повидали еще.

Нет, это не был преходящий интерес к новым, приезжим ребятам. Просто дяде Пале до всего было дело. Он и два, и три года спустя, когда Маша и Сева уже говорили по-ленинградски, без акцента, и многое повидали, — попрежнему не забывал о них.

Как-то отец сказал, просматривая «Вечернюю газету»:

— Памятник Владимиру Ильичу Ленину поставлен у Финляндского вокзала. Вот фотография.

Маша взяла газету посмотреть. Фотография расплылась, выражение ленинского лица невозможно было уловить.

— Клише плохое, — объяснил отец, но слова его были непонятны.

Дядя Паля поступил совсем не так.

В одно из воскресений он послал дочку в первый номер к Лóзам, и она пригласила ребят пойти на Финляндский вокзал, посмотреть памятник Ильичу. «Вы же еще не видели, идемте. К нам двоюродный брат приехал учиться из Вологды, папа покажет ему и вам».

— Я был на вокзале в апреле, когда Ильич приехал в Петроград, — рассказывал дядя Паля

детям. — Народищу собралось — не протиснуться. Он так и стоял на броневику, как на памятнике. Стоял и говорил. Только росту был небольшого, простой, такой, шапка в руках.

Маша обернулась к памятнику. Ленин был виден издали, он держал речь. Без шапки, разгоряченный и озабоченный, он объяснял собравшимся людям, что надо делать. Он говорил, что революция продолжается, что власть должна принадлежать Советам рабочих и крестьянских депутатов.

— Мы, трамвайщики, хотели на руках его понести, как не раз потом носили, да не протиснуться было. Другие донесли его до броневика. Это вместо трибуны, он и говорил оттуда. Вот художник так и вылепил. Смотрите-ка да помните: вы в Ленинграде живете, в его городе. В таком городе как-нибудь жить нельзя. Надо так, чтобы не осрамиться.

Глава третья

— Ведите себя хорошо, и в воскресенье я поведу вас в театр, в оперу, — сказала мама. — Там будет петь дядя Тимофей.

Маша видела дядю Тимофея: высокий, всегда надушенный, большеротый, а нос где-то высоко надо ртом, будто дядя Тимофей воображает о себе невесть что. Но это обманчивое впечатление: он совсем не воображает, простой и добрый. Его простота даже ввела Машу в заблуждение: познакомившись, наслушавшись его дурашливых прибауток, она начала хлопать дядю Тимофея по руке, разговаривать с ним, будто с равным, и вдруг поймала на его лице усмешку и догадалась, что она смешно выглядит. Потому что он известный певец, ему целый театр аплодирует, а она — ноль без единицы. После того, как Маша поняла свою ошибку, она стала стесняться дяди Тимофея даже больше, чем следовало. И стала строже следить за своей речью, произносить букву «г» звонко, по-русски, а не глухо, по-украински, говорить «ф», а не «хв». Но больше всего ей хотелось услышать, как он поет. Может, и не так уж особенно? Вон, папа тоже по утрам напевает разные песенки...

Бывший императорский Мариинский оперный театр ошеломил богатством и красотой. «И это всё для нас, и мы в наших ситцевых платьях сядем на эти плюшевые нежноглубые кресла!» — думала она, зачарованно оглядывая нарядные ярусы, отделанные посеребренными лепными украшениями. Театр был, как сказка.

Сидели в десятом ряду, посередине. Красный с темно-золотыми разводами занавес был поднят, за ним оказался второй. Высокий, в прямых складках, он был похож на стволы корабельной рощи, подернутые утренним туманом. Музыканты в оркестре настраивали смычки, но оркестра не было видно, и Маше казалось, что это в складках огромного занавеса медленно зарождается музыка. Сначала беспорядочная, словно сыплется звуковой мусор, — она постепенно делалась всё стройнее, будто входила на приготовленные ей рельсы, и начинала литься плавно, мелодично, могуче. Таинственный переход от неясных шумов к прекрасному музыкальному взрыву нравился Маше еще больше, чем сама опера.

Опера называлась «Руслан и Людмила». Музыка ее казалась Маше знакомой, словно когда-то в раннем детстве девочка слышала эти мелодии, а сейчас только припоминала.

Но понять, что́ они там пели, было невозможно. В первом же действии на сцене собралось множество народу, все перебивали друг друга своими песнями... Правда, они красиво перебивали, словно на голос одного откликалось несколько разных эхо, но Маша сожалела, что все не хотят замолчать и не дадут высказаться кому-нибудь одному. Всё же, она кое-что разобрала из песни Баяна.

А потом началось еще более непонятное. Толстая крупная женщина в мужском костюме объяснялась Людмиле в любви, и никто не смеялся. Когда Людмилу украл Черномор, толстая

тетка очутилась в лесу и стала кричать: «Чудные девы, милые девы, слетайтесь!». Это было глупо. Если б она звала чудных юношей, Маша еще поняла бы, но девы... Сама же дева. Неужели не хватило артистов-мужчин? И взрослые не догадываются о том, что сразу бросилось в глаза ей? Кто же поверит, что это — красавец-юноша? Никто! Даже Сева не верил.

Маше не нравилась медлительность оперы. Уже всё понятно, а они поют и поют, точно никак не могут разобраться. Когда стали играть марш Черномора, Маша в каждом, появлявшемся под этот марш, ожидала видеть Черномора. А они шли и шли, какие-то арапчата, гномы, клоуны, а Черномора всё не было. Словно нарочно дразнились.

С самого начала оперы Маша стала искать глазами дядю Тимофея, но не находила. Увидев Руслана, она дернула маму за рукав и спросила шёпотом: «Это он?». Мама недовольно ответила: «Нет! Тише, не мешай слушать!» Пришлось замолчать. После первого действия в антракте Маша снова рискнула спросить, где же дядя Тима? В ответ мама ответила с досадой: «Ты же видела его, что ж ты спрашиваешь? Толстый такой, смешной... Фарлаф. Вспомнила?». Она вспомнила, но была разочарована. Верно его, считают неподходящим для красивых ролей. Знаменитый артист! А роль играет не главную.

— Зайдем к дяде Тиме за кулисы, он нас ждет после второго акта, — сказала мама.

Они прошли в маленькую дверь, назвав свою фамилию вахтеру, и увидели обыкновенную каменную лестницу, по которой вверх и вниз ходили актеры в гриме и костюмах. Внизу на стене висел телефон. У телефона стоял Руслан с жирно подведенными ресницами и говорил кому-то в трубку:

— Шурочка, я скоро приеду. Завари чайку покрепче, устал я сегодня. А варенья моего любимого, черной смородины. Хорошо, маленькая? Виталий не звонил? Ну, ладно!

Телефонная трубка в руках древнерусского витязя выглядела сверхсказочно. Еще более удивилась Маша, когда толстопузый и некрасивый Фарлаф поцеловал ее маме руку и пригласил их в фойе возле артистической ложи. Откуда-то появились шоколадные конфеты, Фарлаф смешил маму разными историями, но тут зазвонил звонок и артисты, отдохавшие и беседовавшие со знакомыми, поспешили на сцену. Словно. Золушка на балу, испугавшаяся, что часы будут бить полночь и карета превратится в тыкву, а лошади — в мышей.

Маша очень устала после оперы. Они долго стояли в очереди к вешалке, долго одевались, долго ожидали трамвая. Трамвай раскачивался на ходу, а в ушах звучал неприятный женский голос: «Чудные девы, юные девы!».

Дядя стал чаще приглашать на спектакли, и Маша несколько раз слушала оперу, сидя в артистической ложе. Ее уже обучили говорить «слушала оперу», а не «смотрела», научили вести себя скромно и терпеливо. Здесь иначе и нельзя было, дядя мог и не пригласить в следующий раз. Промелькнули одна за другой оперы «Кармен», «Севильский цирюльник», «Любовь к трем апельсинам», «Снегурочка»... Выяснилось, что дядя не мог выбрать себе роль, потому что композитором заранее было решено, что такую-то партию поет тенор, а такую-то бас или баритон. Маша это поняла и только никак не могла признать полногрудую, пышную актрису Травину подходящей для роли пастушка Леля или Ратмира.

Эх, хорошо бы сыграть самой! Не спеть, конечно, голоса у нее сильного нет. Спрашивала дядю, можно ли ей поступить в балетную школу, — отсоветовал. Сказал: «Стара, и дылда к тому же». Одиннадцать лет — и уже стара! Ужас.

Дядя Тимофей мало рассказывал о своей работе. Маша сначала даже не догадывалась, что яркое представление на сцене оперного театра — это не праздник и не развлечение для его участников, а работа. Каждый день у дяди Тимофея были репетиции, мама рассказывала, что дома по утрам он тоже поет, упражняет голосовые связки. Дяде нельзя было есть мороженое, пить вино, промачивать ноги, простуживаться, и еще много других-запретов наложили на него

доктора, хотя он был здоров и крепок, как молотобоец.

Но он работал не только горлом. Дядя Тимофей хорошо играл и, наверно, сильно переживал судьбу своих героев. Когда Маша посмотрела его в роли царя Бориса, сходящего с ума, она прониклась истинным сочувствием к артисту. Ничего, ничего не оставалось в нем от добродушного дяди Тимофея. Словно волшебник, он превращался в совсем другого человека, человека с нечистой совестью, мучающегося на своем смертном одре. Он там даже словно и не пел, он почти говорил, так естественно, что Маша забывала все свои претензии к опере.

Дядя Тима работал в театре. Ему за это платили жалованье, часть которого он ежемесячно посылал бабушке. Он ее очень любил, несмотря на ее богов.

А, наверно, приятно зарабатывать деньги? Именно зарабатывать. Если вдруг найдешь деньги на панели, это совсем иное. Нашел случайно, неизвестно чьи, а может, кто-то плачет, потеряв их? Совсем другое дело — заработать, только это трудно. Папа целый месяц работает свою научную работу, а денег получает всего девяносто рублей. И это — на всю семью, на всё. А хорошо бы и самой попробовать заработать. Хоть сколько-нибудь, хоть рубль. Своим трудом. Но каким? Что она умеет делать? И где взять работу ей, когда взрослые найти не могут? А время есть, в школу она все еще не ходит.

Во дворе дома, где жила семья Лозы, был пустырь. Когда-то там стоял деревянный флигель. В годы гражданской войны его разнесли на дрова. Полуразрушенный кирпичный фундамент порос крапивой и одуванчиками.

Мама записалась в очередь на бирже, но безработных много. Ей ничего не обещают. А денег дома нехватает...

— Знаешь, за кирпич платят по копейке за пять штук, — сказала как-то Маше ее новая подруга Леля. — Наши девчонки будут откапывать его, очищать и складывать штабелями. А дяденька со стройки придет, заплатит и заберет.

Копейку за пять штук? Это здорово! Маша поспешила на пустырь. Там уже возились две девочки постарше.

— Иди в нашу артель, — сказали они. — Вместе сподручней работать. А деньги поровну.

Маша взялась за дело с азартом. Она раздобыла толстый железный гвоздь, которым отковыривала один кирпич от другого, и железку, чтобы счищать известь. Вскоре руки ее огрубели, покрылись ссадинами и кирпичной пылью. Стопка кирпичей росла медленно.

Девочки не унывали. Одна из них, Муся, высокая, худая, с носом, торчавшим вперед вроде башмачка, напевала вполголоса:

*Было трудно мне время первое,
Но потом, проработавши год,
За весёлый шум, за киртчики
Полюбила я этот завод!*

Пела и постукивала своей железкой о кирпичик, и в такт ей отзывались еще две железки, сбивавшие известь. Сложенные в штабеля по тысяче штук, кирпичи были чистенькими и ровными, как шоколадки... Работа продолжалась уже третий день.

Севка тоже хотел войти в артель, но девочки не согласились. А Маша сказала ему:

— Ты лучше за Володей посмотри, пока я буду деньги зарабатывать.

Она уже вошла во вкус и освоилась с тяжелой работой. Один за другим вырастали штабеля кирпичей: тысяча, вторая, третья. Но вот приехал заказчик. Он приехал на платформе, запяженной битюгом с толстыми косматыми ногами. Битюг был крупный и добрый, точно

такой, как кони под богатырями на картине Васнецова в Русском музее, куда отец водил ее недавно.

Заказчик был дядька лет тридцати, в фуражке на затылке и черном жилете. Он ходил вокруг кирпичей, ковырял их кнудом, скинул два или три вниз и сказал:

— Как вы чистили? Грани пооббивали. Придется выкинуть по сотне из штабеля.

Девочки стали спорить. Все кирпичи были целые, он явно придирался, чтоб заплатить меньше. Муся шепнула Маше: «вот паразит!».

— Ну, ладно, так и быть... Скину полтинник за двести пятьдесят шпук, — сказал заказчик. — Поработали, теперь получайте. Это вам деньги, на камешки.

Он вручил Мусе пять рублей пятьдесят копеек и стал грузить кирпич.

Девочки убежали на пустырь и долго высчитывали, сколько придется каждой. Оказалось — один рубль восемьдесят три копейки. Сверх того, оставалась еще одна копейка, которая не делилась.

— А копейку — Мусе, за переговоры! — сказала Маша, и все засмеялись.

Деньги разменяли в ларьке с газированной водой, и Маша принесла домой рубль восемьдесят три копейки.

— Получи, мама.

— Это откуда?

— Я заработала. Сама.

В один осенний вечер папа с мамой пилили дрова на кухне. Когда подходило время готовить ужин, маму, обычно, подменяла Маша. Но пила у Маши гнулась и извивалась, как змея.

В дверь постучали. Мать отперла. На пороге стояли Зоя и два загорелых парня в старых солдатских шинелях.

— Зочка! — мама увидела только ее, прежде всего ее, и сходу обняла узкие Зоины плечи. — Что ж ты не написала, дала бы телеграмму, мы бы встретили...

— А я не одна, в компании, — сказала Зоя, выдвигая вперед стоявших справа и слева от нее спутников.

Маша узнала их: это были папины студенты Ильченко и Колесников. Папа бросил пилу, обнял их и поцеловал каждого троекратно. Студенты скинули шинели и взялись за пилу, к которой папу больше не подпускали.

Зоя была с чемоданом, упрятанным в холщовый чехол, вышитый у застежки украинскими узорами. Мама отвела ее в комнату и сказала: «Будешь спать вот на этой раскладушке».

Зоя и папины ученики приехали поступать в университет. Маша узнала, что Ильченко зовут Васей, а Колесникова — Авдеем, что они остановились в студенческом общежитии, а в женских комнатах места не было, и тетя Зоя пока будет жить здесь.

Дальше было очень весело. В горячей золе только что вытопленной печки пекли картошку, а мама колотила о стол золотистой воблой, чтобы сделать ее мягче. Картошка с воблой были на зависть всему миру. А потом пили чай с ситным и вспоминали фермы зоотехникума, его богатства — поля, огороды. Вспоминали весело, без сожаления.

Когда студенты надевали шинели, чтобы идти к себе в общежитие, каждый нашел в своих Карманах по золотистой вобле. Они рассмеялись, выразив удивление, и благодарно пожали руку Анне Васильевне. Они стали приходить чаще, стараясь помочь своему бывшему профессору. Приносили показать свою работу, которая давала им заработок: маленькие листочки ватмана с красиво выведенными надписями: «Не курить», «Бухгалтерия», «Заведующий»... На стипендию было не прожить.

С годами времена изменились. Студенты приходили уже не в шинелях, а в пальто. Теперь им никто не совал воблы в карманы. Напротив, сами они не появлялись в квартире Лозы без

того, чтобы не вытащить из кармана шоколадку или книжечку переводных картинок для детей. Севе и Володе этот порядок очень нравился.

Глава четвертая

У мамы было четверо сестер и все учительницы, кроме Зои, которая поступила в университет на исторический факультет. Одна из маминых сестер, тетя Надя, учительствовала в деревне под Смоленском. Анна Васильевна знала, что сестре живется неважно, и решила навестить ее летом. Она рассудила так: дети на воздухе, река и лес, дача бесплатная. И сестре помочь можно шитьем, — сельским портнихам всегда работы хватает; особенно, когда платить можно не деньгами, а натурой.

Катится телега с пригорка на пригорок, подымается из овражка на косогор, снова ныряет в низинку, заплетенную сочным зеленым орешником, лозняком, высокой травой в белых и желтых медом пахнущих шапках. Тощая лошадка знает, однако, свое дело. Идет неторопко, зато безотказно. Проехали Белую, Комаровщину, Глинище. Эге, вон опять какая-то деревенька... Не Лытки ли?

Изба, в которой жила тетя Надя, стояла на краю деревни, недалеко от реки. Маша ступила на порог и обомлела: пола не было. Крыша протекала, на земляном полу стояли лужи, как после дождя на улице. Возле печки сбоку дрожал привязанный веревкой за шею теленок. На земле у его тонких ножек лежал навоз.

Тетя Надя, маленькая, худенькая, с носиком вроде фасолины, весело вносила в избу узелки и плетеную корзину с бельем, обтирала тряпкой деревенские лавки, усаживала сестру и племянников. У печки возилась ее свекровь — старая беззубая женщина в поношенном холщовом платье, с кичкой на голове. Она положила на стол круглый черный хлеб, принесла из ямы, заменявшей погреб, кринку холодного молока. Сели завтракать.

В избе, принадлежащей Надиной свекрови, жили семьи двух ее сыновей с женами и детьми. Где было здесь поместиться приезжим родственникам — Анна Васильевна не представляла. В сарае на сеновале обычно спали две девочки, племянницы Нади, там же Анна Васильевна постелила на ночь и Маше с Севой. Сама она с маленьким Володей поселилась в избе. Сразу застучала швейная машинка, и в старую избу каждый день стали заглядывать девушки и молодки с немудреными заказами.

Бедно жила тетя Надя, сельская учительница, вышедшая замуж за бедняцкого сына. Муж ее работал сейчас в городе на кирпичном заводе, был он специалистом по обжигу. Домой приезжал по воскресеньям. А тетя Надя ежедневно ходила в школу за три версты, потому что в Лытках школы не было. Не одна ходила, за ней гуськом спешили ее школьники — целая орава лытковских ребятишек.

Много ли нужно городскому ребенку, чтобы почувствовать себя счастливым среди зелени, у реки, в лесу! Солнышко греет, у рыхлого пенька из-под земляничного трилистника выглянула яркокрасная ягода. В рот ее скорей! А выше, на пригорке голубеет лес, — туда ходят не каждый день, он только кажется близко. Идешь-идешь, аж колени заломит, пока доберешься. Полежишь на траве у опушки, пока какой-нибудь муравей не заберется тебе под рубашку, и снова вскочишь, как ни в чем не бывало. А в лесу — малина, грибы, в лесу птицы поют, а под кустами шныряют какие-то зверьки, — то рыжий хвостик метелочкой мелькнет, то серый круглый, заячий.

В Лытках не было ни одного богатого дома. В каждой семье рождались дети, становилось теснее, а земли не прибывало. Тетя Надя поначалу чувствовала себя одиноко, проповедуя необходимость культуры и образования. К ней не очень-то прислушивались даже в своей семье, невестка — существо подчиненное. Но в школу детей всё-таки сдали посылать, и даже девочек.

Совершенно непохожая на своих деятельных сестер, маленькая и смиренная тетя Надя вскоре по приезде в Лытки заболела чахоткой. Профсоюзный комитет учителей выхлопотал ей путевку на курорт, где ее лечили кумысом. Она и больная не жаловалась, подшучивала над своей болезнью. Тетя Надя вылечилась, хотя продолжала жить в тяжелых условиях. Вылечилась, благодаря своему выносливому жизнерадостному характеру.

В Лытках начались дожди. На сеновале подтекало, в избе всегда было тесно и тоже текло невыносимо. Как-то в избу прибежала старшая племянница тети Нади. Она сообщила, что отец ее в субботу ночью во дворе напоролся пяткой на сучок, нога распухла и начался сильный жар.

У тети Нади был градусник, которым пользовалась вся деревня. Она схватила градусник и флакон с йодом и отправилась к шурина. Изба его стояла чуть повыше, на косогоре. Как старший сын, он первый выделился после женитьбы и справил себе собственную избу.

Маша пошла с тетей Надей, заглянула в дверь. Дядя Федор лежал на полу, на овчине, покрытой полосатым рядном, и стонал. Сильная, крупная нога его посинела и набрякла.

— Доктора вызвать надо, — сказала тетя Надя, осмотрев ногу. — Я здесь сама ничего сделать не смогу. Надо резать, чтобы гной вышел. А то может случиться заражение.

— О докторе мы без тебя знаем, — ответил ей сидевший на лавке старик, родственник Федора. — Не можешь вылечить, — иди с богом. Резать мы не дадим.

— Как знаете, Сидор Васильевич. А только помощь нужна скорая.

Она поклонилась и вышла. В сенцах с ней пошучукалась жена Федора. Маша слышала только одну фразу: «Колдуна из Глиниц просить будем. На синей бумаге ворожит».

— Доктор нужен, а не колдун, — настаивала тетя Надя. Из горницы донесся приглушенный стон Федора.

Вечером Маша пробралась по лужам к избе дяди Федора. Вся его родня столпилась у крыльца. Все молчали. Колдун только что прошел в избу к больному. Маша опоздала.

«Как это он колдует на синей бумаге? — думала она. — Люди верят, может и правда, есть такая сила?»

Прошло полчаса, час. В сени с крыльца заглянула жена Федора и быстро сделала знак собравшимся: «Уходит!» Все бросились врассыпную и попрятались — кто в сарае, кто за забором. Колдун не любил, чтоб на него смотрели.

Маша увидела колдуна: он сошел с крыльца, высокий, худой, в коричневом зипуне, в валяной шапке. Из-под шапки свисали сивые клочья волос, такие же клочья росли на подбородке и под носом. Колдун, нахмурясь, оглядел улицу и пошел прочь. В руке он нес узелок из новой холстины — Федорова жена завернула туда ошипанную курочку, два десятка яиц и пять рублей деньгами.

Тетя Надя весь вечер проговорила с мамой о больном Федоре. Развязка могла прийти очень скоро.

Утром Маша побежала узнать, как дядя Федор. Может быть, всё-таки, колдун помог ему?

В доме сутились, на Машу никто не посмотрел. Она вошла в горницу. Дядя Федор метался на полу, бредил, терял сознание. Его голая нога, местами уже лиловая, стала вдвое больше. На пятке чернело место, над которым колдун водил синей бумагой.

Жена Федора сидела рядом на полу и плакала. Подняв на Машу распухшие глаза, она что-то вспомнила и быстро сказала ей:

— Беги к Наде, скажи — просим доктора, лошадь ей запрежем, пусть привезет. Господи, хотя бы спасти его!

Маша помчалась домой, не замечая, как на ее макушку стали всё чаще падать крупные капли дождя.

— Я поеду с тобой, тетя Надя. Возьми меня! — взмолилась Маша. Ей захотелось

действовать, делать что-нибудь трудное и нужное.

— Ты же промокнешь, дождь идет.

— Ничего, я брезентом укроюсь, возьми!

Маленькая тетя Надя в сером платке, завязанном вокруг шеи, и Федоровой дождевом плаще легко вскочила на телегу и взяла вожжи. Маша поместилась сзади нее на сене, укрывшись брезентом, и они поехали.

Дождь лил такой, что в воздухе потемнело. Иногда небо трескалось, как перегретая земля, и в трещину был виден другой, далекий огненный край. Раздавался грохот, словно куча булыжников обваливалась сверху на дно оврага, и снова темнело. Лошадка, выдавшая виды и не раз выручавшая хозяев, трусила мелкой рысцой, не пугаясь грозы.

— А, чтоб твою душу на колючую грушу! — ворчала тетя Надя, когда лошадка не могла взять крутого подъема. Копыта скользили по глине, съезжали вниз. — Иди же, Серый! Доктора искать будем Федору, слышишь?

Серко напрягал силы и взбирался на глинистый пригорок. Маша была убеждена, что лошадь — в курсе дела, знает, что с хозяином беда.

Далекие зарницы осеняли поля и гасли, небо полыхало, ветер гудел в ушах и леденил мокрый лоб.

Наконец, дождь притих. С большим трудом добрались до большого села, где жила фельдшерица. Дверь открыла хозяйка.

— Уехала Петровна, отпуск ей дали на месяц, к сыну уехала в Смоленск, — доложила она тете Наде.

— Ой, что вы говорите! Человек умирает, а ее нет! Нельзя его без помощи оставить.

Покачивая головой, хозяйка слушала рассказ о Федоре:

— В Привалове дачница приехала из Москвы, доктор. Попросите, может согласится поехать. Погода-то не больно хороша, да и дорожка ай-ай!

Тетя Надя повернула Серка в Привалове. Еще неизвестно, какой специальности этот доктор. И захочет ли она тащиться бог весть куда? Но надо попытаться.

Чтобы приободрить Серко, тетя Надя встала на телегу и правила стоя. Она рассказывала лошади, что они непременно найдут московского доктора и упроят его спасти Федора.

В Привалове врачуху нашли сразу же. Она приехала всего два дня назад и спала чуть ли не сутки напролет. На этот раз повезло — врачуха была по специальности хирург, и хозяйка видела у нее никелированный ящичек с инструментом.

— Сказала — никого принимать не будет и никуда не поедет, — предупредила хозяйка, прежде чем впустить тетю Надю в избу.

— Ладно, это уж моя забота.

Они вышли обе, тетя Надя и дачница, минут через десять и сели в телегу. Маша с уважением разглядывала металлический ящичек, который врачуха держала на коленях. Эти руки этим инструментом могут спасти жизнь человеку!

Дорога назад была легче. Дождь прошел, я только где-то вдаль, на краю потемневшего неба вспыхивали зарницы. Гроза уходила к востоку.

Смотреть на операцию Машу не пустили. Потом тетя Надя рассказывала: Федор лежал без сознания. Кипятили инструмент, а жена его всё просила: «да бросьте вы это баловство, и так ножик чистый, режьте уж, видите, помирает человек!».

Сделав операцию, врачуха сказала: «Завтра было бы поздно!». Ничего не взяла и уехала, обняв на прощание тетю Надю и улыбнувшись ей большими усталыми глазами.

Утром Федор послал за тетей Надей. Ему сразу полегчало, и он торопился сказать снохе спасибо.

— Ты поправляйся — и ладно, — ответила она. — Только ты скажи им всем — жене, старику и прочим, чтобы никогда больше колдуна не звали. Ты одной ногой уже в могиле был по его милости. Мне «спасибо» не надо, ты им скажи, чтобы поняли...

Федор обещал сказать.

* * *

Папа писал из Ленинграда, что ему совсем не нравится такой отдых жены и детей, что нельзя же вечно забывать о себе и что надо же ей наконец отдохнуть по-настоящему. «Июнь вы пробыли у Нади, остальное время отдохните», — настаивал он и перевел маме тридцать рублей.

Поближе к железной дороге в лесу был расположен питомник, в котором выращивались молодые деревца для садов и парков. Заведующий питомником с женой и двумя детьми занимал четырехкомнатный дом и охотно пускал на лето квартирантов.

Заведующий питомником Тихон Николаевич был знаком тете Наде, и в середине июля Анна Васильевна с детьми перебрались на новую дачу. Здесь можно было отдохнуть от телячьего мычания, грязи и протекающей крыши. Кстати, наступила солнечная погода.

Маше нравилась новая дача. Дом, в котором они жили, а с ним и вся территория питомника были окружены высоким деревянным забором и оградой из желтой акации. А вокруг был лес, рощи, вырубки, заросшие малинником, луга, дышавшие солнцем и медом. Ближняя деревня находилась за две версты.

Стройными длинными рядами, как по протянутой нитке, выстроились здесь маленькие деревца, похожие пока на цветы. Меж деревцами кое-где были врыты в землю горшочки с водой. Туда сваливались медведки — вредители, перекусывавшие молодые деревца. Маша с Севой рассмотрели одну: противная, страшная, вроде мягкого рака! Они бросили ее обратно в воду: вредитель, так ей и надо.

Целыми днями Маша бродила со старшим братишкой по лесу, собирая лесные сокровища. Строили шалаши, украшали головы коронами из цветов, собирали ягоды, грибы, разноцветные перышки лесных птиц.

Птицы были любопытны и неосторожны, они подпускали детей совсем близко. Пестрый угод с веером на голове слетал на тропинку у самых Машиных ног, удивленно глядел на неподвижно замершую девочку и докладывал: «У-дод! У-дод!». По высокой траве бродили аисты в форменных мундирах, похожие на картинки к «Петербургским повестям» Гоголя. Они поджимали белые, отороченные черным крылья и время от времени опускали в траву длинные, как канцелярские ручки, красные клювы.

Маше очень захотелось поймать аиста, чтобы поддержать его, рассмотреть и выпустить. Один из них бродил совсем рядом, в четырех шагах. Маша стала подкрадываться сзади к задумчивой птице. Мысленно она говорила аисту: «Ты не бойся, ябольно не прижму. Я только потрогаю тебя немножко, рассмотрю и отпущу обратно».

Аист наверно подслушал ее мысли. Он обернул голову — с его длинной шеей обернуться не составляло труда — и посмотрел на девочку, словно хотел сказать: «Ты детеныш человека. Кто знает, что взбредет тебе на ум, когда ты будешь сжимать мои перья своими голыми цепкими руками...»

До него оставалось всего шага два, Маша протянула руки вперед и бросилась на птицу. В тот же миг над ее головой шумно захлопали сильные крылья улетающего аиста. Он удалялся, вытянув назад длинные ноги в красных лакированных сапожках.

Маша валялась на траве, смотрела в небо и думала: «Почему одни люди красивые, другие

нет? Чем я виновата, что мне достались такие толстые, словно распухшие губы? Я хочу тонкие. Но мне досталось именно это лицо, а не другое. Значит, есть судьба? Неужели нельзя ничего изменить и надо подчиняться?».

Удивительная женщина тетя Надя. Смелая, энергичная, умная, а с виду пиголица, лицо с кулачок, нос фасолинкой... Как она стоя правила лошадьё, когда спешила спасти дядю Федора! Она тогда казалась Маше и ростом повыше, и лицом красивей. Это смелость, настойчивость сделали ее такой. Если человек хорошо поступает, он делается красивее. Ну, хоть немножечко, самую малость, но всё-таки делается. А ведь тетя Надя — сильная. Она же всегда одна в этой деревне, одна против этой темноты, отсталости.

Маше делается стыдно: как это она, городская, грамотная девочка поверила на миг, что колдун поможет дяде Федору! И родители у нее такие ученые, а она поверила. Что же спрашивать с неграмотных! А тетя Надя не поверила ни на минуту. Если б не она, дядя Федор умер бы и лежал зарытый в землю, на кладбище. Вот такая тетя Надя!

— Маша! Машенька!

Мама вышла за ворота и зовет свою помощницу. Помощница валяется в траве, совершенно забыв о том, что обещала маме принести вязанку хворосту.

«А я вот какая! Довольно неважная. Посулила маме помочь и забыла».

— Иду!

Маша прихватывает Севу, они берут у мамы две веревки и уходят в лес. Под высокими темными сводами на земле валяются сухие ветки. Дети собирают хворост в кучу, связывают одной веревкой и оставляют на месте. Идут дальше, собирают еще и приготавливают вторую вязанку, побольше.

Теперь мама будет довольна! Они взваливают на спину хворост и несут домой. Это — ежедневная трудовая повинность. Когда приехали, Тихон Николаевич сразу сказал: «Дров для вас нет, в лесу хвороста много, собирайте!».

«Дача» у них простая, но по сравнению с избой тети Нади — чертог: чисто выбеленная комната, в которой стол, стул, а на полу — три полосатых мешка, набитых сеном — постели. А чего еще надо летом?

Дача хорошая, но хозяин, Тихон Николаевич — плохой. Он хитрый, всё время щурится, так и жди от него неприятностей. «Вы не видели, Анна Васильевна, кто это потоптал табак? Это не Сева, случайно?» А потоптал собственный его пятилетний сын. Сева достаточно умный парень, чтобы не прыгать по цветочным клумбам.

Тихон Николаевич решает сейчас сложную задачу: на желтой акации созрели стручки, надо запастись семенами для посадок, на них большой спрос. Нельзя ли воспользоваться услугами этих детей? Работать по дому они приучены...

Маша и Сева с интересом выслушивают его предложение — говорит он с ними наедине, когда мама ушла с Володей в лесок. Маша помнит первые заработанные ею рубль восемьдесят три копейки. Как дома радовались! Не столько даже деньгам, сколько Машиной выдумке. Отчего бы и здесь не заработать? Севе в тот раз не удалось, и потому сейчас он готов принять заказ, невзирая на условия.

— Желтая акация растет у меня всюду, вам только собрать, — объясняет Тихон Николаевич. — Соберете пищики, потом вылучите зерна и просушите их на чердаке, на газете. Там солнце печет, крыша горячая, семена высохнут скоро. На чердаке стоят жестяные формы для хлеба, — в них можно ссыпать просушенные семена.

— А сколько вам надо семян? — опрашивает Сева, деловито задирая голову — Тихон Николаевич очень высокий.

— Там пять таких форм. Вот наполните все, и достаточно. А я вам заплачу.

«А сколько вы заплатите?» — хочет спросить Маша, но стесняется. Сам он не говорит, а спрашивать неловко. Еще подумает, что они жадные. А они нисколько не жадные, просто у мамы мало денег, и им охота помочь.

Сделать всё по секрету от мамы не удастся. Вскоре она замечает страшную суету: Маша и Сева с заговорщическим видом пробегают под окнами туда и обратно, в руках — кошёлки и корзиночка для ягод, сверху всё прикрыто лопухами. Дети поминутно лазят по приставленной к дому лестнице на чердак.

— Чего вы лазите? Упадете еще, — беспокоится мама.

— Ты не беспокойся, не упадем, — говорит Сева. — Мы ж привыкли лазить. Мы играем...

«Скажем ей, когда деньги получим», — сговариваются они на чердаке, ломая пищики и высыпая зернышки на газету.

Оказывается, набрать полную форму — дело не легкое. Уже общипаны все близлежащие кусты акации за чертой забора и внутри двора. Зернышки усыхают, их помещается в форме очень много.

Дети отправляются в экспедицию на дорогу, ведущую к деревне. Когда-то здесь была аллея, соединявшая усадьбу с селом. Дорога окаймлена кустами желтой акации. Дети набрасываются на нее, как голодные козы, и сразу наполняют кошёлки.

— Я отнесу, а ты пока собирай.

Сколько раз пришлось Маше курсировать вдоль этой аллеи! И не сочтешь. Всё носила, носила, носила, всё лазила и лазила по лестнице на чердак...

Когда всё было готово, они позвали Тихона Николаевича.

— Молодцы! — сказал он, улыбнувшись. — Честно поработали! Это куда лучше, чем без толку гонять по лесу или мять цветочные клумбы. Ну, получайте за работу. Четыре копейки за каждую форму, итого шестнадцать копеек.

И он выдал оторопевшей Маше серебряный гривенник, медный пятак и копейку.

Маша посмотрела на Севу. Он еще плохо понимал цену денег и не знал, много или мало заплатил Тихон Николаевич. Но увидев вытянувшееся лицо сестры, понял, что взрослый Тихон Николаевич их надул.

— Даже неудобно давать маме такие маленькие деньги, — сказала тихо Маша. — Неужели эти семена так дешево стоят?

Она отдала деньги матери, но это не получилось так празднично, как хотелось бы.

— Это мы заработали с Севой, — сказала она, опустив глаза. Мама не поняла. Пришлось всё объяснить.

— Дурачки вы маленькие, — сказала мама, посмотрев на своих детей. Они были не очень-то маленькими: Маша вытянулась, стала длинноногой. Волосы ее, зачесанные назад и заколотые круглой бабушкиной гребенкой, отросли до плеч. Пожалуй, ее уже нельзя было называть маленькой. Но мать судила по уму...

Наступил август. Лесные богатства умножились: ребята каждый день приносили домой корзины грибов и малины. Это было пенное подспорье: папа что-то долго не высылал денег, хотя прежде он делал это аккуратно, сразу после получки.

Мама получила какое-то странное письмо. Прочитала его и расстроилась. Вышла за ворота и стала ходить по дорожке, туда и обратно, словно обдумывала, как поступить. Маша искоса взглянула на брошенное письмо: тети Нади почерк! Секретов тут быть не может, да и коротенькое. Она не устояла и прочла:

«Милая Нюсечка, как здоровье твое и детишек? Боря выслал 20 рублей на мой адрес, и я передала Тихону Николаевичу, так что теперь ты богатая. У нас всё по-прежнему. Целую крепко — Надя».

Хорошее письмо! Отчего же мама расстроилась? Непонятно. Или Тихон Николаевич не отдал до сих пор денег? Забыл, значит. Отдаст, никуда не денутся.

Мама прошла в комнату, посидела там молча. Встала и подошла к двери директора питомника:

— Разрешите, Тихон Николаевич?

— Пожалуйста.

Они были дома оба, муж и жена. В ответ на мамин одинокий голос раздавались сразу два: визгливый женский и резкий начальственный — мужской.

Маша хотела узнать, в чем дело. Она подошла к полуоткрытой двери и услышала обрывок речи Тихона Николаевича:

— Я далек от того, чтоб отпираться: да, получил. Но я погасил ваши долги. Два раза вы пользовались нашей плитой — за дрова рубль восемьдесят. Примус жена вам давала, извели два литра керосина — пятьдесят копеек. В воскресенье полкурицы — рубль. За доставку воды из колодца нашей прислугой — три рубля. За август месяц за квартиру — десять рублей. Август, правда, еще не прошел, но я взял вперед. Что же остается?

— Боже мой, но в воскресенье вы же сами угостили нас курицей, уговаривали покушать! Если б я знала...

В это время подошел Сева и тоже сунул нос в дверь. И дверь скрипнула.

Мама обернулась и увидела детей. Она взяла себя в руки и сказала Маше почти спокойно:

— Иди, погуляй возле дома с братьями. Я скоро приду.

Маша ушла, но отойти от дома дальше, чем на несколько шагов, не решалась. Тревога вселилась в ее сердце.

— Они нападают на маму, — сказала она Севе, не выдержав.

— Знаешь, они вообще нечестные! — сказал Сева напрямик. — Я давно замечал это, только стеснялся сказать.

Из окон долетали обрывки фраз. Голоса делались всё громче. Вдруг на крыльцо выбежала их мама, но в каком виде! Она подымала вверх свои голые по локоть руки, лицо ее было в слезах, она кричала:

— Не могу, не могу больше! Здесь унижают! Маша кинулась к ней, но мама неожиданно стала падать, чуть не повалив Машу, тяжелая и бессловесная. Задев Машино плечо, голова ее стукнулась мягко о деревянную ступеньку.

— Что вы сделали! — закричала Маша, бросаясь на колени перед матерью. Выскочившие на крик хозяева воровато смотрели на лежащую на земле квартирантку. — Подлецы, что вы сделали!

Испуганная хозяйка подошла ближе.

— Ничего, у нее обморок, — сказала она, — сейчас я дам лекарство.

— Я убью вас всех! — кричала Маша. — Теперь несите мне ее в комнату сейчас же! Несите!

И они покорно подошли к лежащей на земле Анне Васильевне. Подхватили ее и вдвоем внесли в комнату. Хозяйка сунула Маше в руку флакон с валерьянкой и ушла вместе с мужем.

Маша подложила маме под голову подушку и положила на грудь платок с холодной водой. Мама открыла глаза.

— Какие подлые! И Бори нет, некому вступить...

Это прозвучало, как призыв.

— Мы не останемся у них ни минуты! — решительно сказала Маша. — Ты лежи, а мы с Севой вынесем вещи в лес. Ты не волнуйся, мы всё сделаем. А потом я найму лошадь и поедем к тете Наде. А оттуда домой.

— Как же вы сами... — пробормотала мама, но они уже выносили матрацы, плетеную

корзинку с бельем, голубой эмалированный кувшин. Вещи они складывали за воротами питомника, сторожем сидел двухлетний Вовка. Когда вынесли всё, кроме матраца, на котором лежала мама, Маша хотела сделать передышку, чтобы не мешать ее отдыху. Но мать встала, опираясь на ее узенькое плечо.

— Как же ты наймешь извозчика? — недоверчиво спросила она девочку. — Разыщи Прокопа, он в конце деревни налево живет, за журавлем. Да не соглашайся за два рубля, это нам не по средствам. Рубля за полтора можно. Тогда хватит на билеты домой.

И Маша пошла в деревню, оставив Севу и Володю возле мамы. У них был непочатый каравай хлеба и большая кринка топленого молока, — сыты будут!

Маша чувствовала себя гордо, воинственно. В ней закипала такая энергия, что она дошла бы не только до деревни, но хоть до самого Смоленска. Подлые хозяева! На всю жизнь запомнилась Маше стройная, красивая фигура ее матери с возмущенно поднятыми вверх руками: «Здесь унижают!».

Назад она уже не шла пешком, а ехала. Погрузила вещи, усадила маму и братьев, и так они добрались до тети Нади, а оттуда домой. Маша слышала потом не раз, как мать хвалила ее: «Такая умная девочка, не растерялась и извозчика сама наняла...». А всё-таки, приятно, когда хвалят! Особенно, если знаешь сама, что хвалят не зря. Теперь Маша жалела, что не потребовала у хозяев обратно всех денег — не додумалась. Они всё-таки отдали только пять рублей, за половину августа.

Глава пятая

— Аня, почему ты не отправишь Марию в школу? Смотри, какая она долговязая стала, — сказала как-то Зоя, навестив сестру в праздничный день. Зоя жила уже в общежитии университета, целые дни просиживала в библиотеке и сестру навещала не часто.

— Я дома с ней занимаюсь, — сказала мама, уклоняясь от прямого ответа. — Она у меня грамотная девочка, и счет знает, и диктовку может написать.

— Но почему ты не запишешь ее в школу?

— Заведешь семью, Зоенька, и тогда поймешь меня. На домработницу денег у нас нет, детей трое. Маша помогает мне по хозяйству. Но она не в накладе, я с ней систематически занимаюсь. Вот подрастет Севочка и пошлю в школу сразу двоих.

— Так-то так, а в коллективе девочка воспитывалась бы не такой замкнутой.

Маша слышала этот разговор, и ее давняя любовь к тете Зое сделалась еще сильнее. Правильно! В школу надо поступать.

Когда папе повысили жалованье, родители решили учить детей иностранным языкам.

В «Вечерней Красной газете» появилось объявление о том, что профессор Лоза ищет воспитательницу, учительницу иностранных языков для своих детей. Заходить вечером, адрес такой-то. «Заодно обещутся мои птенцы, научатся правилам вежливости», — думал он, вставляя в текст объявления слово «воспитательница».

На объявление откликнулись многие. Первой зашла старушка, гулявшая по переулку со шпиками. Увидев бедно обставленную квартиру, она сразу же откланялась. Папа и мама были довольны: не могли же они нанять в учительницы даму, покупающую ежедневно два фунта печёнки для собак!

Другая «учительница» пришла на следующий вечер. Сева уже лег спать, Маша чистила зубы на кухне. Услышав звонок, папа открыл дверь и отступил на шаг.

Перед ним стояла молодая особа в тюрбане из розовой парчи, в платье выше колен. На ней были лаковые лодочки на высоком каблуке.

— Это вы — профессор? — певуче спросила дама, улыбнувшись ярко накрашенным ртом. — Я по объявлению.

— Пройдемте в мой кабинет, — пригласил папа.

Дама охотно пошла за ним, чуть покачиваясь на ходу.

Папа пригласил ее сесть, но она продолжала ходить по комнате, точно красовалась перед ним. В это время вошла мать: она уже уложила мальчиков и хотела побеседовать с учительницей. Увидев маму, особа в парчовом тюрбане удивленно вскинула брови:

— Я не знала... Я полагала, что вы ищете помощницу в воспитании своих крошек. Я действительно умею по-французски. Впрочем, всего хорошего. Может быть, оставить мой адрес?

— Не надо, — сказал папа, улыбаясь как можно более приветливо. — Всего хорошего.

Он закрыл за ней дверь, и долго потом Маша слышала, как из отцовского кабинета доносился веселый смех.

Наконец, родители нашли, что хотели. Это была пожилая дама в очках. Она была близорука, ходила в сереньком платье и носила на левой руке большой кожаный ридикюль. Оттуда она иногда доставала чистый, сложенный вчетверо носовой платок, оттуда же извлекла коробку лото с цветными картинками и надписями по-немецки.

— Я не буду задавать уроков, мы будем беседовать, играть, петь песенки — таков мой метод. Этот маленький понемногу тоже будет учиться, — кивнула она благосклонно в сторону Володи.

Начались уроки. Елизавета Францевна сразу же заговорила с детьми на незнакомом языке, но они скоро стали понимать ее. Говорила она о пустяках, помогая жестами понять смысл сказанного. Водила детей в парк и объясняла: «это дерево, это цветы, это скамейка, дети играют в мяч». Кудрявая Ира, увидев Машу и ее братьев с учительницей, удивилась и сделала вид, что в первый раз заметила их. Всё-таки, одеты они были неважно, в каких-то ситцевых клетчатых рубашечках, а Маша — в рябеньком сатиновом платье. Зато учительница была настоящая.

На уроки Елизавета Францевна приносила лото. Сначала она раздавала им большие карты с квадратными картинками, а потом вынимала из коробки мелкие картинки и читала надпись на обороте. Надписи были странные. «Фабричные трубы дымят» — это понятно, а что значит картинка, изображавшая вокзал с подписью: «Теперь будем ездить в Данциг»? Не скоро Маша узнала, что безымянные составители лото таким образом выражали свой восторг по поводу незаконного перехода польского города Гдыни в руки буржуазной Германии.

Между тем, Леля часто приходила к Маше поиграть. Она приносила свою газету «Ленинские искры». Маша и Сева, дождавшись ухода немки, прочитывали пионерскую газету от заголовка до фамилии редактора. Большой мир понемногу раскрывался перед ними. Однажды они прочитали о забастовках горняков в Англии.

— А как будет по-немецки «забастовка»? — спросила Маша у Елизаветы Францевны.

— Streik. А зачем тебе? Это нехорошее слово.

— Это хорошее слово, — ответила Маша. — Если б не было забастовок, рабочие никогда не победили бы буржуев-капиталистов.

— Замолчи, глупое дитя! — Елизавета Францевна даже покраснела от волнения. — Что ты понимаешь? Это только большевики нарочно будоражат рабочих, поднимают их против хозяев. Фабриканты — отцы своим рабочим.

— Тогда бы революции не было, — возразила Маша. — Рабочих угнетали, мучили, вот они и устроили революцию.

— Молчи, ты еще соску сосала, а я видела всё как было. Дядя моего мужа имел много рабочих. По воскресеньям они гуляли в розовых и синих сатиновых рубашках и играли на

гармонике. Я сама видела. А газеты врут.

Маша попробовала доказывать, что газеты не врут, что читают их повсюду и всегда можно проверить, правда ли напечатана. Если б всё было хорошо, тогда бы и царя не свергли. А ведь нет его, царя, нет жандармов, нет князей и баронов. Значит, были причины для революции?

И всё-таки Елизавете Францевне легче было доказывать свое: действительно, она всё видела своими глазами, а они знают только из газет и из книг. Маша понимала, что слепо верить взрослым нельзя. А Елизавета Францевна даже газет не читает. И всё же, слова «я сама видела» звучали убедительно.

Откуда взять доказательства? Они долго совещались вдвоем с Севой, установив, что учительница отсталая. Они раскрывали Лелину газету с надеждой, что там найдут помощь. В одной из газет прочитали, что в Америке на заводах Форда происходят забастовки. Ну, что она скажет на это?

— Даже у Форда забастовка. А вы знаете, какой Форд? У него рабочим платят больше, чем на других заводах, — сказала учительнице Маша. — Значит, рабочие не признают Форда своим отцом и благодетелем.

— Прекрати! — завизжала Елизавета Францевна. — Если ты будешь говорить дерзости, я перестану заниматься с вами немецким языком! Нельзя спорить со взрослыми. Я пожалуюсь вашему папе.

Это уже было ни к чему. Маша и Сева переглянулись и умолкли. Столько времени родители искали хорошую, недорогую учительницу, и вот она уйдет... Отец не похвалит.

Больше они не спорили, дожидаясь конца урока. Елизавета Францевна ушла, засунув в ридикюль свое пестрое лото и сказав детям по-немецки «до свидания».

— Как ты думаешь, она буржуйка? — серьезно спросил сестру Сева.

— Сейчас она не буржуйка, — ответила, подумав, Маша, — но она против нашей советской власти. Помнишь, я просила ее рассказать про себя? Слыхал? Выросла в приюте, родителей не знала. Вышла замуж за своего Вильгельма, а он был наследник одного богача, хозяина завода «Красный треугольник». Ну, что мячики выпускает и галоши. И муж ее умер скоро. Так что, если б революции не было, она бы стала хозяйкой «Красного треугольника» и все мячики и все галоши были бы ее. А получилась революция и завод стал общий, не чей-нибудь, а всех. Ей теперь и обидно.

— Если б завод был мой, я взял бы себе два мяча, большой и маленький, и одни галоши. Больше мне и не надо. Ей-то зачем столько?

— Она бы торговала галошами, ты не понимаешь. Деньги бы наживала. Она отсталая.

— А если ее агитировать? — неуверенно предложил Сева.

— Нет, агитировать ее не стоит. Пускай себе учит нас немецкому языку и не суется не в свое дело.

Но Елизавета Францевна с этих пор не могла удержаться от разговоров о политике. Ни с того, ни с сего она в середине урока начинала возмущаться современной молодежью:

— Какая распушенность! Идут толпой и кричат: «Мы на небо полезем, разгоним всех богов!» У них нет ничего святого!

Маша слушала, наморщив лоб и сжав зубы. Мысленно она спорила. Она вспоминала свою исповедь и попа, облизовавшего губы после рассказа болтливой бабенки о снах, вспоминала голодных деревянных богов бабушки, церковные иконы. Она молчала. Не на всякое суждение Елизаветы Францевны нашлась бы она ответить. Но это не лишало ее и Севу уверенности в своей правоте. Пожалуй, не попадись им такая учительница, они бы меньше думали о политике и о серьезных вещах. Но она попала в самом начале их жизненного пути, сама не подозревая, что разговоры ее, ее тупая, нескрываемая злость против новых советских порядков окажут

совсем иное действие. Нет, детские души не были «чистыми досками», на которых каждый мог писать, что хотел. Учительница не догадывалась, что характер, сознание ребят начинают складываться с первых слов и поступков, с первого опыта жизни среди других людей. Вынужденное молчание помогало им еще упрямей стоять на своем.

В квартире дяди Пали Маша видела фотографию, на которой он был снят вместе с будущей своей женой на катке, с коньками на ногах.

Маша долго рассматривала карточку, а потом спросила:

— Разве в царское время на коньках катались... рабочие? Разве у вас были деньги на коньки?

— А что ж, — отвечал дядя Паля, — коньки — они пустяки стоят. Был холост, находил время... Я механиком был в трамвайном парке, а дядя мой слесарную мастерскую имел. Мы еще прилично жили. Рядом с нами фабричный народ — ткачи, металлисты — из тех жестоко выкачивали. Очень туго тем приходилось, у кого семья. Жили чёрт-те где, чтобы за квартиру дешевле платить. Мои семейные друзья в подвалах жили. Но ты не думай, что если в подвалах, так всюду грязь, мусор. Рабочие жены геройски боролись за чистоту. У хорошей хозяйки и на комодке белая вязаная накидка и кровать белым покрыта, — собственной работы изделия. А выгонят мужа с фабрики — и покрывало идет на толчок, и скатерть. Ну, если со стен течет, это уж не от хозяйки зависит, а чистоту народ любил. Старались скрыть свою нищету. Это дела не меняет. Власть была у богатых, все льготы богатым были, и учились только их дети. Нас никто и за людей не считал. А теперь власть рабочих. Рабочих-то много, как ты думаешь? Значит, власть наша многим выгодна, народу выгодна, а не кучке хапуг. А буржуев мы прижали. И нэпманов прижмем понемногу, подожди. Все пойдут работать. А ты кем хочешь работать, когда вырастешь?

— Я? Учительницей наверно...

— По мамашиней линии, значит? Ну, давай, давай.

— Вам хорошо, — сказала Маша смущенно, — вы коммунист, всё понимаете... счастливый. Дядя Паля рассмеялся.

— Ты так говоришь, словно меня фортуна наградила. Будто я с малых лет всё соображал. Коммунистом никто не рождается, коммунистом можно стать.

Хорошо сказал дядя Паля, запомнились его слова: коммунистом никто не рождается, коммунистом можно стать. Одно было не ясно: а как это — стать? Что для этого делать надо? Неизвестно. Ладно, раньше вырастем, тогда и разберемся.

* * *

Маме уже обещали в какой-то школе полставки на будущий учебный год. А пока она давала в школе уроки бесплатно, чтобы зарекомендовать себя. Это отнимало у нее немало времени, и Маше приходилось помогать ей по дому.

— Мама, когда я пойду в школу? — не раз спрашивала Маша.

— А зачем? Учебники у тебя есть, немецкий язык тоже учишь...

— В школе весело, там пионеры, стенгазета...

— А разве дома скучно? Хотите стенгазету выпускать — пожалуйста! В этом году поможешь мне по хозяйству, в следующем пойдешь.

Разве она беспокоится об образовании! Не в нем дело. В чем-то другом. Дома тесно. Всё тут известно наизусть, всё одно и то же.

Стенная газета... Маша помнит смешные карикатуры в стенгазете на углу «Невского». Ту

газету выпускали студенты. Потом вспоминается детская стенгазета «Галчонок», о которой прочитала в каком-то журнале. Еще там сбоку был нарисован галчонок с большим клювом, а заметки все были о квартирных происшествиях.

— Назовем ее «Птица-перепелица»? — спрашивает Маша брата, посвятив его в свой замысел.

— Назовем! А кто будет сочинять заметки?

— Ну ты, я, Леля... Я буду писать под разными именами, будто у нас много сотрудников. Только ты никому не говори. Про что ты напишешь?

Про праздник Октября.

— Ну, пиши...

«Что у него получится, он еще малыш, — задумывается Маша. — Ладно, главное — не унывать. Потом всех вовлеку, и маму, и папу... И про Елизавету Францевну напишем».

— Я стих сочинил...

Взволнованный и смущенный Сева сует ей листок бумаги, исписанный корявыми печатными буквами. Она читает:

*Об Октябре
Да здравствует Октябрь,
Октябрь мировой!
Он выковал могучую Республику Труда!
Вперед туда,
Где горит пятиконечная звезда!*

— Ты сам? Здорово...

Он даже забыл подписаться, так восхитил его первый литературный опыт. Маша села писать сама. Писала статьи, сочиняла ребусы и шарады, рисовала картинки. Вывесила стенгазету в столовой. Леля прибежала посмотреть, потом сама написала статейку о том, что у них в классе глуховатая учительница, она неправильно поставила Леле неуд, просто ответа не расслышала. Конечно, учительница этой заметки никогда не увидала, но Леле стало легче уже оттого, что она высказалась.

В стенной газете отводили душу. Тут писали обо всем. Маленькая домашняя стенная газета, помещавшаяся на двойном развернутом листе из папиных бумажных запасов была окошком в мир, в жизнь. Побывали в опере — и тотчас в стенгазете появились рисунки с натуры: смешной дон Вазилио уходит из замка, над ним смеются Розина и Фигаро... На улице манифестация, первомайский праздник, и в газете — статья. Где-то далеко на Северном полюсе советский летчик Чухновский спас ученых-итальянцев, потерпевших аварию на дирижабле, советский ледокол «Красин» спас там же корабль «Монте-Сервантес». Все газеты мира написали об этих событиях, и среди них — самая маленькая, по количеству читателей, газета «Птица-перепелица».

Дома отец рассказывал, что когда в Ленинград пришел ледокол «Красин», встречать его собралась половина города. Маша тотчас села сочинять балладу о Чухновском:

*Воздух сечет дирижабля пропеллер,
Летит экспедиция на север...*

Плохая рифма! Маша зачеркнула строки и написала заново:

*Сечет пропеллер воздух на воле,
Двенадцать человек в одной гондоле...*

— А ты уверена, что у них был пропеллер? — спросил Сева, заглядывая через плечо. — Это ж не самолет, а дирижабль.

Маша не ответила, но на всякий случай снова перечеркнула свои строчки.

— Давай поместим просто статью, а? — спросил покладистый Сева.

— Нет, я — балладу...

И она написала. Из упрямства, конечно. Но газета вышла всё-таки с балладой о Чухновском, о советских людях-героях. Потому что они поступили очень хорошо, смело: в темноте, в холоде, ничего не боясь, спасали других. Пускай теперь не болтают про нас в иностранных газетах, что мы дикари и разбойники. А страшно было на полюсе! Маша вспомнила, как на каком-то вечере в учительском клубе, куда ее водила мама, какой-то дядька декламировал стихи о севере. Он тарачил глаза, делал ужасное лицо и медленно выговаривал:

*Стынь-стужа, стынь-стужа, стынь-стынь-стынь.
День-ужас, день-ужас, день-день-день...*

Сева очень поумнел и вырос за время своей корреспондентской деятельности. Весной ко дню Красной Армии он написал такую заметку, что «Птице-перепелице» могла бы позавидовать даже школьная газета. Для ориентации он заглядывал, конечно, в «Ленинские искры», которые брал у Лели. Статья была короткой и достаточно ясной:

«23 февраля — день Красной Армии. В этот день рабочим удалось переменить Красную Гвардию на Армию. Красная Гвардия не могла бы преодолеть буржуазию: она должна была иметь поддержку, поэтому рабочие и организовали Красную Армию. Красная Армия преодолела на своем пути и холод и голод, но наконец выиграла эту страшную игру войны, из-за которой погибло такое множество людей. Так к десятилетию Красной Армии вольемся же все в ряды пролетариата!»

Маша писала в газету обо всем. Тоскуя по школе, еще неизвестной, но давно заманчивой и желанной, она сочиняла стихи о том, как идет на урок в школу, где ее ждут, как там много ребят. Она выдумала себе школу и уже не могла обходиться без этой выдумки.

Маша снова смастерила себе кукольный театр, вырезала картонных актеров — Синюю Бороду, его жен, Красную Шапочку и волка. Всё это было не то. Леля, правда, с любопытством смотрела представление, но сама Маша знала уже цену этой детской игрушке. Если бы сыграть самой...

Они попробовали устроить спектакль дома. Повесили одеяло вместо занавеса, разделив пополам спальню, разыграли маленькую пьеску, исполнили песенки на немецком языке... Елизавета Францевна присутствовала и была очень довольна. А Маша довольна не была. Народу мало, играть некому, даже смотреть некому. Простора нет никакого, четыре стены.

Возвращаясь с работы домой, папа всегда рассказывал жене о своих делах. Он рассказывал очень потешно: каких-то двух старичков называл «ископаемые», а других «зубры». Он был самым молодым научным сотрудником в Институте, его избрали председателем месткома, и уборщицы почему-то прозвали его «наш красный директор».

— Надо показать детям настоящий музей, — сказал он как-то маме. В воскресенье осмотрел одежду ребят, заставил вторично вымыть руки, пригладил сыну вихры, а дочку подстриг большими ножницами и повел ребят в музей. И Зою прихватили, пришла во-время, не опоздала.

Ничего похожего на «Музей имени профессора Лозы»! Под огромным сводом вестибюля тянется бесконечный скелет кита. Дальше — птицы и звери под стеклом, как живые, сидят на воде, на камнях или на деревьях. И мамонт, огромный, настоящий, гордость музея...

— А вот посмотрите, это мой приятель сделал витрину, единомышленник мой: вот птички, у которых оперение изменило цвет после того, как в этих краях настали холода... А дети их, птенцы, с тех пор тоже стали такими... Им передается по наследству приобретенный признак.

Слишком умные вещи говорит папа. Маша и Сева пропускают их мимо ушей. Что там Маша и Сева! Эти папины мысли пропускают мимо ушей и почтенные ученые, сотрудники института. Какая ересь! Если верить этому «ученому месткомовского масштаба», как они за глаза называют Бориса Петровича, то человек по своей прихоти может изменять природу, навязывать ей свои требования. Шалишь, молодой человек. Природа пока что посильнее нас с вами, она решениям месткома не подчиняется...

Борис Петрович хорошо знает об этих насмешках. На каждый чих не наздравствуешься, «зубры» — это «зубры». Им смешно, что Борис Петрович пишет, кроме научных работ, еще и статейки в газеты и журналы. Выкопал какого-то малограмотного агронома-самоучку и восхваляет: Мичурин, Мичурин! Ученым его называет, а какой же это ученый? Где написанные им тома? Садовод. Наверное, знакомый или родственник, вот и рекламирует.

Зоя слушает рассказы Бориса Петровича о его институте и посмеивается тому, как он изображает своих противников в лицах. Зоя знает: у «зубров» есть все основания ненавидеть Бориса Петровича. В институте он без году неделя, а как только началась чистка, он о таких вещах рассказал... И вычистили из института почтенных людей, научных сотрудников. Подумаешь, ну служил человек в святейшем синоде, ну и что же такого? По крайней мере, образованный человек был, не агроном какой-нибудь. Или вот, вычистили Флигенгофа за переписку с бо-фрером, эмигрировавшим в Париж. Отчего бы родственникам не переписываться? Наговорили, что бо-фрер там, за границей, продал кому-то свой завод на Выборгской стороне, и что теперь на заводе появились листовки с угрозами большевикам. Но при чем же Флигенгоф? Всю жизнь занимался жестоккрылыми, ни за что опорочили человека! И всех больше отличился этот выскочка-провинциал Лоза.

Борис Петрович не удивляется ненависти «зубров», как не удивляется ей взрослая Маша, вспоминая те годы. Отец был первый, кто принес в институт «Диалектику природы» Энгельса и томик Ленина в картонном коричневом переплете. Да еще какое издание выбрал — взял «Диалектику природы» на двух языках, в оригинале и в русском переводе, да со словарем и проверял несколько дней, точно ли переведено. Дома вечером спросил детей, как они учат немецкий язык. Рассказали. А он им: «Мне бы ваши условия! Меня в детстве сапожник шпандырем учил... Смотрите, злей учитесь! Помогать мне станете, переводить».

Зоя ходит по музею и рассказывает об успехах Ильченко и Колесникова.

— Вот подрастет молодежь, пополним состав научных сотрудников. — Борис Петрович останавливает своих «экскурсантов» возле витрины, за стеклом которой множество мелких пестрых пичужек — колибри. — Смотрите, ребятки, какая пернатая мелочь живет на свете...

Маша визжит от восторга — какие хорошенькие птички! Сева рассматривает их задумчиво. О чем он размышляет — неизвестно, но сейчас весь свет перестал существовать для него за исключением крохотной птички в шелковом зеленом оперении.

— С Елизаветой еще не расстались? — спрашивает Зоя.

— Ты левая загибщица. Ничего страшного в Елизавете нет для ребят.

— Типичная мелкая буржуазия...

— Ленин несколько языков знал. Его, небось, тоже не Энгельс немецкому учил, а какая-нибудь вроде нашей Елизаветы.

Зоя смеется:

— Ловко повернул! Тебя теперь не узнать, Бориска. Действительно, «красный директор»! Книгу-то твою «Об использовании сорняков» ругают, а?

— Кто ругает? Ты обратила внимание, кто ругает? — загорелся Борис Петрович. — Старый заскорузлый сторонник Вейсмана-Уоллеса, профессор Кривицкий! Засоряет студентам головы отжившими теориями... Не понравился я ему за мою главную идею: приобретенные признаки наследуются. А ты представляешь, какие просторы это открывает для селекционеров? Практическая польза!

— Студенты понимают, ты не огорчайся. Читают твою книжечку. Зачитывают, Авдей рассказывал.

— Меня комиссар наш, Медведев, поддержал: письмо прислал, благодарит. Я ему авторский экземпляр отправил, а он просит для молодежи штук двадцать...

— Жаль, что рецензию Кривицкого прочтут тысячи, а твоего комиссара — ты один.

— Ладно, зато он — практик. Зря ты, Зоя, не пошла на биологический.

— Историки тоже нужны.

Сегодня вечером папа пришел очень поздно. Он был в новеньком темносинем костюме, чисто выбрит, в обшлагах рубашки — новые, серебряные запонки в виде маленьких самолетов. Мальчики уже спали, а Маша лежа читала в постели, когда мама подала ему ужинать. Он ел, то и дело отбрасывая рукой спадающую на лоб прядь, и рассказывал о том, как прошло празднование юбилея научно-исследовательского института, в котором он работал. Он рассказывал об иностранных гостях-ученых, приехавших на юбилей. Среди них были видные палеонтологи, ботаники, специалисты по беспозвоночным.

— Между прочим, любопытное совпадение. Помнишь мою скоротечную службу в «Заготпроде»? Шефом там был некто Гродзенский, с виду рафинированный интеллигент, — рассказывал папа. — Высокие залысины, на макушке реденький рыжеватый пушок, а по бокам точно по аккуратному куску рыжеватого моха приклеено. Черты лица тонкие, правильные, а неприятен, отталкивал сразу. Так вот, приезжают наши гости, смотрю я — батюшки мои! Гродзенский, и конец. Вылитый он, только пух на макушке весь вылез, блестит лысина, как полированная кость. А нам сопровождающий его представляет: профессор Шарло... Я смотрю на него — похож! Вылитый Гродзенский. Он на меня даже внимания не обратил, и я сразу устыдился: фантазия у меня всё еще мальчишеская. Ну каким это образом мог бы Гродзенский в Шарло переделаться? И зачем?

— Гродзенский никак не мог, конечно, их же всех посадили тогда, весь «Заготпрод». Выяснилось, что они организовывали казачьи восстания. Помнишь?

— Не всех. Именно его-то и не арестовали, Зоя говорила. Сбежать успел.

— Разве?

— Конечно. Потому я и подумал. Но, может, мне показалось.

— Может быть, Боренька. Да мало ли похожих людей на свете? А этот француз по-русски умеет говорить?

— Не умеет, так сообщил переводчик. Однако, все речи наши очень внимательно слушал. Он кому-то говорил, что начал брать уроки русского языка за месяц до отъезда сюда, так что отдельные слова понимает.

— Ну, вот видишь. Фантазия у тебя богатая... Ну, да без фантазии ученый немислим. Сам

посуди, зачем шпиону нужны ваши палеоботаники, физиологи растений и прочие почтенные ученые мужи? Шпиону интересна промышленность, разные военные секреты...

— Вероятно, ты права.

И они стали говорить на другие темы. А Маша почувствовала досаду: было бы куда интересней, если бы этот Шарло был шпион, его ловили бы и поймали. А то пишут в газетах и книжках про классового врага, а как он в жизни выглядит — она и не знает, не видела никогда.

Глава шестая

На следующее лето отец нашел дачу под Ленинградом. Снял комнату у сторожа, жившего на заброшенной мызе. Двухэтажный каменный помещичий дом был заколочен досками, и детям запрещалось лазить туда под предлогом того, что дом может развалиться. Конечно, они всё-таки залезли через окно, обследовали дом и нашли, что он в хорошем состоянии, хоть сейчас заселяй. Но их выводами никто не поинтересовался.

Сад, окружавший мызу, напоминал чем-то запущенный сад зоотехникума. Посреди клумбы, заросшей травой и маргаритками, торчал белый мраморный пьедестал с маленьким амурчиком. У амурчика была отбита левая рука. Пальчиком правой он прикрывал рот, призывая молчать и не выдавать какие-то тайны.

Одичавший сад, лес, луга... Опять Маша попала в этот заманчивый плен, в объятия природы, многоликой, могучей, успокоительной. Как добрый великан, природа охотно подбрасывала на своих ладонях-дорогах горстку ребят, торопившихся в лес, раздвигала перед ними кустарник, показывая кустики спелых ягод, опускала пониже ветви орешника. То и дело она подшучивала над детьми, удивляя волшебными переменами: утром вошли в лес узенькой голой тропкой, побродили до обеда, прошел мелкий дождик. Идут обратно, — а знакомая тропинка вся утыкана только что родившимися подосиновиками, точно пальчиками в оранжевых наперстках. Молодые крепкие грибки, сколько их! А в глубине леса, на просеке Маша находила большие семьи этих грибов — оранжевые шапки горели в траве, круглые, как панцыри черепах.

Проста и обыкновенна была эта земля, но она заставила любить ее. Любить эти солнечные просеки и сырые темные своды леса, этот осинник с клоком серой шерсти на ветке и сухой лепешкой навоза у корней — здесь ходит стадо на пастбище. Шелковые зеленые листки березы дрожат от легкого дыхания ветра. Теплый воздух пахнет можжевельником, — вот они, мягко-колючие кустики с зелеными и синими ягодами, — эти ягоды мама всегда находит в зобу у тетерок, когда потрошит их к обеду.

Огромные мшистые валуны, наполовину сидящие в земле, и прямые, бегущие к солнцу сосны! Полевой шиповник, певучие мелкие колокольчики, млечный путь ромашек на зеленом лугу! Бойкий ручей бежит меж высоких трав, и берега его краснеют от окиси руды, — что еще прячешь ты, земля, в неразведанных глубинах?

Проста и обыкновенна была эта земля, но она привязала к себе навсегда. Цветными нитками пестрых своих лугов она прошила детскую память так, что и лет двадцать спустя, в эвакуации во время войны, в далекой Туркмении Маше снились всё те же луга в русских колокольчиках и ромашках, снились жёлуди на жестких дубовых ветках, березовая роща и высокие травы, поющие на ветру, как свирель.

А мальчик, бегавший с сестрой по лугам и лесным оврагам, лет двадцать спустя не задумался отдать свою жизнь, увидев горе и беды родной земли. Под этими березами с шелковой листвой, на эти суглинки, на эту лесную тропу пролилась его молодая кровь, когда с оружием в руках загородил он врагу дороги, ведущие к сердцу страны. Не наймит, не пришелец

из других краев, — плоть от плоти этой земли, кость от ее кости был советский солдат в годы великого испытания, в канун великой победы. Когда же, с каких пор он стал это ощущать? С рождения, с детства? Кто знает!

Мыза располагалась вдали от деревни, окруженная высокими елками. словно сестры, взявшись за руки, стояли елки, спутавшись одна с другой темнозелеными бархатными ветвями. Макушки их были осыпаны яркорозовыми и изумрудно-зелеными маленькими шишками. У подножья — ковер золотисто-рыжей хвои.

Розовые шишки напоминали тот изумительный цветок, который вырос из дедушкиных семян. Мясистые розовые цветы качались на коротких толстых стеблях, прохожие заглядывали в окно.

У сторожа был огород. Небольшой, чтобы прокормиться семье. Иногда к сторожихе приходила в гости женщина, похожая на сутулую черную птицу: она была в черном платье, черной круглой косынке на голове, с маленькой кошёлкой, обшитой черным сатином. Ее звали мать Мелания. Она была монашка, — оказалось, что рядом с деревней находится женский монастырь.

Смешанное чувство любопытства и отвращения испытывала Маша, поглядывая на монашку. Из черной кошёлки гостя извлекала разные чудеса: вырезанную ножницами белую бумажную кружевную занавеску на окно; бисерный кошелек самодельной работы; бутылку, в которой помещался большой зеленый огурец, неведь как попавший туда через узкое горлышко. Позже Маша узнала: еще весной, когда огурчик был маленький и рос на грядке, монашка засунула его вместе с веточкой в бутылку и оставила бутылку на грядке. Огурец рос в своей оранжерее, пока не заполнил всю бутылку. Тогда его сорвали с ветки и он стал удивлять людей. Пользы от этого не было никому, кроме монашки, которая ходила по домам показывать это чудо, а попутно обедать и пить чай.

У монашки была и другая бутылка, еще любопытней: в ней помещался целый деревянный домик яркокрасного цвета, с заборчиком, кустиками и яркозеленым деревом. Всё это было искусно вставлено по частям через горлышко бутылки, склеено в одно целое и закреплено, но об этом тоже не всякий догадывался, а Меланья не объясняла. Показывая эту бутылку, она говорила; «Терпение всему корень. Христос учил терпению. И мы должны терпеть советскую власть: мученикам в раю место уготовано».

Сторожихе она иногда помогала на огороде. Повозившись на грядках, шла в дом обедать, потом уходила, бормоча на прощанье, что теперь с неделю не придет, что помогать ей приходится многим добрым людям, тем, кто бога не забывает.

— А кто же записывается теперь в монастырь? — спрашивала Маша сторожиху.

Сторожиха посмеивалась. Не очень-то она верила в бога, а мать Меланью пускала к себе больше для развлечения. На Машин вопрос отвечала:

— Думаешь, они, монашки, промахи? Как наступит лето, к ним полдеревни, чуть ли не все бабы в монастырь идут. С мужьями рассорятся — и туда. А монастырю в летнее время руки нужны — и огород, и грибы-ягоды запасть, сушить... А мужьям тоже охота баб вернуть домой, работа стоит, вот и мирятся... И снова выходят оттуда. И у нас такие есть, как же. А постоянных у них немного. Меланья — постоянная, у ней семьи нет.

Маша иногда ходила в деревню, в лавочку. Она видела монастырь: двухэтажный дом с окошками в решётках, как тюрьма, замыкал собою некую крепость, внутри которой были и церковка, и сад, и огород, и флигеля, и склады. Забор позади крепости был высокий, глухой, сверху оплетенный колючей проволокой. На монаший огород сторожиха дважды ходила с Машей за морковью и петрушкой, — в деревне этих овощей не сажали.

Несмотря на всё свое видимое могущество, монастырь вынужден был понемногу отступать.

Сельсовет потребовал освободить часть двухэтажного здания под школу и детский интернат, — школа теснилась в крохотной, разваливающейся избе.

Хочешь, не хочешь, монастырь освободил требуемую часть помещения. С шутками и смехом вносили туда подростки старые парты, столы, портреты вождей, книги. Интернат разместился в двух комнатах верхнего этажа — для девочек и мальчиков. Поставили топчаны, устроили постели, внесли столы, чтобы было где уроки готовить. Жизнь закипела.

В деревне стали поговаривать о том, что скоро школа оттягивает всё помещение. Теперь сюда потянулись крестьянские дети из других деревень — благо, было где жить. Школьники устраивали в дни церковных праздников свои вечера, пели песни, ставили спектакли.

Один из таких вечеров был приурочен ко дню местного престольного праздника — спаса. В лавочке Маша увидела объявление, приклеенное хлебным мякишем к стене. В нем было сказано, что в школе состоится концерт силами школьного драмкружка, а после концерта — танцы под баян. Маша попробовала получить у мамы разрешение пойти на этот вечер, но мама ответила, что ей рано ходить на вечера, что она мала, что танцевать она не умеет, и вообще, провожать ее вечером домой некому, а идти назад будет темно и страшно.

Маша сидела на маленькой веранде у стола и смотрела вдаль, за высокие островерхие елки. Вечер давно уже спустился на землю, хозяйка подоила корову, и мать напоила детей парным молоком. На столе стояли керосиновая лампа и пустые чашки. Тянуло смолистым дымком — это закипал во дворе самовар, роняя под себя на землю рубиновые угольки. Небо уже всё потемнело, и только на западе низко над землей задержалась узкая алая полоска.

Эх, весело, наверно, в школе. Долго ли еще эти родители будут привязывать меня к ножке стола? Всякое терпение лопается.

Она взяла какую-то попавшуюся под руки книжку и села поближе к лампе. Вокруг лампы летали ночные бабочки. Они ударялись о горячее стекло и падали на пол, трепыхая крыльями, но их беда не останавливала других. Бабочки летели на свет.

— Всеми главная заводила — учительница Галина Игнатьевна, — рассказывала сторожиха маме, сидя на ступеньках веранды. — Ох и смелая, самой игуменьи не побоялась, когда за помещение войну начала. Она у них, как бельмо в глазу. Еще молоденькая, лет тридцати. И свой ребеночек есть, мальчик. А мужа нет, говорят — ушла она от мужа, он из богатеньких, у отца галантерейная лавка в Питере.

— Давно она у вас?

— Лет шесть будет. Так и приехала с мальчонкой. — «Ни за что отцу не отдам, — говорит, — выращу нового человека...»

Маша дочитывала книжку, одним ухом прислушиваясь к рассказу сторожихи. Закат погас, и только откуда-то с поля слышались неясные шорохи. А где-то вдали, за стеной монастыря, в комнатах, отвоеванных смелой учительницей, шло веселье...

Наутро, когда Маша умывалась из подвешенного на веревочке глиняного ручомойника, к дому подошел милиционер и с ним — человек в коричневом кожаном пальто. Они о чем-то расспросили сторожиху, потом быстро ушли в сторону монастыря.

— Слыхали? Ужаси какие! — сторожиха подбежала к маме так поспешно, словно боялась опоздать с тревожной вестью. — Учительницу-то нашу... В канаве нашли сегодня утром, мертвой. Милиция признала — задушили ее. Руками задушили — следы от пальцев остались, синяки.

— Учительницу? Ту самую? — мама всплеснула руками.

— Ее, Галину Игнатьевну. Вы подумайте только!

— А как же теперь... мальчик ее? — спросила Маша. Она помнила вчерашний рассказ — учительница ни за что не хотела отдавать мальчика отцу.

— Сирота мальчик, — рассудительно сказала сторожиха. — Наверно, отца искать будут, или в детдом.

— Но кто, кто это мог сделать? С какой целью? — взволнованно спросила Анна Васильевна.

— Кто знает... Следствие будет — найдут. Говорят, следы от калош в грязи остались. И еще нашли что-то рядом, тесемочку какую-то.

Тесемочка помогла распутать весь клубок. Спустя месяц состоялся суд по обвинению бывшей домовладелицы Меланьи Сипаевой и двух других монашек в убийстве сельской активистки учительницы Галины Игнатьевны Евдокимовой. При обыске на складах монастыря были обнаружены большие запасы муки, сахара, водки и других продуктов, необходимых для праведной жизни.

Монастырь перестал существовать.

Родная, прекрасная земля... Прямые, бегущие к солнцу сосны, трепетные листки березы, алая полоска на потемневшем вечернем небе... И вот — гроб на телеге, покрытый красным кумачом, и сидящий возле гроба мальчик со вспухшим заплаканным лицом... Ничто не проходило бесследно: все впечатления оставались в памяти Маши, их становилось всё больше, словно в просторной библиотеке ставили на свободные полки всё новые и новые книжки. Всё богаче и богаче становилась эта «библиотека воспоминаний», и каждый год Маша по-разному вспоминала и осмысливала любое из этих маленьких событий ее жизни. «Вот глупая-то была!» — думала она о себе, вспоминая, как бегала по студенческому общежитию в поисках «Петруся». Теперь она писала Лиде без робости, рассказывая о своих переживаниях. Теперь она знала о Ленине и революции не только от Лиды, теперь она не пропускала ни одной новой песни!

И всё-таки, в жизни чего-то не хватало. Она была всё еще не школьница, не пионерка, а какая-то никому кроме семьи не нужная, незаметная единичка, «профессорская детишка».

Глава седьмая

В город вернулись рано, в середине августа. Настал день, когда мама повела детей в школу. Она заранее узнала, какая школа в районе пользуется самой доброй славой, и привела Машу и Севу именно туда. Их проэкзаменовала. На вопрос: «кто такой Ленин?», Сева ответил без запинки: «вождь рабочих и крестьян».

— Его можно сразу во второй класс. Девочку — можно бы в пятый, да она по обществоведению слабо подготовлена. Лучше им в одну школу, вместе. А там пятого еще нет. Запишем в четвертый, крепче знания будут.

— В какую же школу вы их направляете? — с тревогой спросила мама. — Я хотела бы в эту.

— Здесь нет ни одного места. Мы записали их во вновь организованную школу, это близко от вашего дома.

Класс, куда приняли Машу, был сборный, в него попало не мало переростков и второгодников. Класс был старшим в школе и оставался таким до окончания учебы. Откуда же, как не из него, было черпать кадры школьных активистов! Маша оказалась в роли того ребенка, который быстро научился плавать, потому что его бросили в воду.

В класс она вошла, замирая от робости. Стараясь быть незаметной, прошла в самый конец и села на последнее место на ломаной скамейке, рядом с тихой девочкой в белом, цветочками, ситцевом платье и мальчиковых ботинках.

Класс был уже полон учеников. У Маши даже голова закружилась: впервые попала она в коллектив, да еще в такой большой коллектив. Десятки мальчишек, девчонок!

Но вот вошел учитель. Он был среднего роста, худенький, лысый и в пенсне. Все сразу

притихли. Учитель взял в руки журнал и стал читать вслух фамилии учеников. Тот, чью фамилию называли, вставал, чтобы все его видели. Маша встала в свой черед, зардевшись от смущения.

«Сейчас он вызовет меня, теперь он знает мою фамилию! — с ужасом подумала она. — Вызовет, а я не смогу говорить при ребятах. Я застесняюсь».

Она сама не знала, чего боится и чего стесняется. Всё трудно впервые. Здесь произошел целый переворот в ее жизни: теперь она была не просто чьей-то дочкой, а членом коллектива, хотела она того или не хотела. Что бы она ни делала, что бы ни говорила теперь, на нее всегда смотрели глаза тридцати ребят, ее поступки оценивали тридцать человек. И хотя каждый из учеников, сам по себе был обыкновенным парнишкой или девчонкой без особых выдающихся качеств, — вместе они составляли коллектив — новую, неизвестную Маше силу.

— Ильина, к доске.

Девочка в платье с матросским воротником и с большим синим бантом на голове бойко встала с первой парты. Она пришла сегодня в школу раньше всех, сразу вслед за нянечками. Она успела обежать все помещения школы, заглянуть в другие классы, узнать имя-отчество учителя математики, ведущего первый урок, и занять себе место на первой парте. Она приехала из Ростова, где прежде училась в школе, и никакого смущения на лице ее прочесть было нельзя. Коротко подстриженная, с чёлочкой, она бойко ответила на заданный вопрос и села на место.

Машу не вызывали, но когда вызвали ее соседку, Зину Делюнову, Зина встала и ничего не сказала. Ее сковало смущение, то самое, которого так боялась Маша. Зина молчала на первый вопрос учителя, и на второй, и на третий. И он, не дождавшись ответа, сказал ей: «садись».

Впереди Маши сидели мальчики. Один из них читал какую-то книгу, прикрыв ее рукой от учителя. Маша заглянула через его плечо: Ункас, знакомое имя... Не Фенимор ли Купер? Интересная книга, Маша не успела еще рассмотреть лицо мальчугана, но уже начала проникаться к нему уважением.

— Сорокин Николай, — вызвал учитель.

Мальчик захлопнул книгу и встал. Учитель задавал примеры для решения в уме. Условия он произносил отчетливо и медленно: двести разделить на четыре прибавить тридцать и разделить на два. Но Сорокин не слышал их, так как мысленно скакал на коне по прериям. Он стоял понуро, оглядываясь на товарищей, как бы ожидая помощи.

— Сколько же будет, Сорокин?

— Сорок, — шёпотом сказала Маша, но Сорокин не услышал. Вот не ответит и попадет ему, как его будут ругать, стыдить при всем классе! Очень уж книга хорошая... И Маша повторила несколько громче: «сорок».

Учитель сердито встал из-за стола.

— Кто это подсказал? — спросил он строго, всматриваясь в лица ребят.

И тогда Маша поднялась, красная и пристыженная.

— Ты хотела помочь товарищу? — спросил учитель. — А сама помешала. Он бы сообразил и ответил. Ему и самому хочется подумать, как по-твоему? Ведь это же интересно самому решить.

Маша выслушала, не отвечая, и села. Неважное начало!

Во время перемены класс заговорил тридцатью голосами. Осмелели даже самые тихие. Группа ребят толпилась возле первой парты, где сидели Ильина и Тамара Петрова, хорошенькая девочка с пышными волосами, украшенными бантом. Тамара разговаривала крикливо и резко, она бойко отвечала на реплики мальчишек, гримасничала и вертелась. Когда на следующем уроке — это был урок географии — Тамару вызвали к карте и спросили, где будет запад, а где восток, она посмотрела на ребят, засмеялась и расставила обе руки, указывая сразу направо и

налево. Вскоре все узнали, что Тамара Петрова — страшная лентяйка и что она берет пример со своей взрослой сестры, которая нигде не работает, а по вечерам ходит в кино с кавалерами. «Хорошенькой незачем работать, — объяснила Тамара подругам. — Хоть бы скорее кончить эту семилетку! Папа заставляет...»

По расписанию подошел урок пения. Все собрались в зале, возле рояля. Учительница, чопорная и затянута в корсет, проверяла, у кого какой голос.

— Мария Лоза, — назвала она.

Маша встала и опять покраснела. Надо петь перед всеми! Это было и страшно, и стыдно, и просто невозможно. Сама не понимая, откуда набралась храбрости, Маша запела чужим, неестественным голосом:

*Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры, дети рабочих...*

— Во второй голос, — сказала учительница, и Маша села рядом с мальчиками.

Когда туда же, во второй голос послали Тамару и Веру Ильину, они стали жеманиться и ворчать:

— Мы не хотим сидеть с мальчишками...

Мальчишки презрительно повели плечами — очень надо таких! Маша удивилась. Дома она привыкла к равенству. Не всё ли равно, мальчишки или девчонки? Она не стала проситься в первый голос и продолжала петь вместе с мальчишками. Да по правде сказать, и голос у нее был мальчишеский, низковатый. Она им тоже была недовольна, как и своей наружностью. Но ничего не поделаешь.

После уроков выбирали старосту. Выбрали Мишу Ершова, веснушчатого неразговорчивого парня. Он приступил к своим обязанностям рьяно. На всех переменах выбрасывал ребят за шиворот из класса, открывал форточку и запирал класс на ключ. Ключ он носил в кармане. Другие обязанности старосты были ему не по вкусу, но наводить порядок он любил.

Учитель математики Петр Николаевич оказался их классным воспитателем. Через несколько дней после выборов старосты он рассказал, какая работа будет вестись в школе, и предложил всем найти себе дело по душе. Всё в этой школе начиналось с начала. Учитель начинал с того, что старался узнать своих учеников, их характеры и наклонности.

Маша попросила записать ее в школьную стенгазету.

— В редколлегия, — поправил Петр Николаевич. — Хорошо. Потом, позднее, редколлегия будем выбирать на общем собрании. А пока — по собственному желанию.

Он собрал редколлегия и рассказал, о чей прежде всего надо было бы написать:

— Выявить надо, кто у нас может писать занозисто. Выпустите первый номер, а потом объявите конкурс на фельетон, или, вообще, на самую лучшую, живую заметку.

Члены редколлегия приглядывались друг к другу. Вера Ильина сразу села писать заметку о том, какими надо быть всем дисциплинированными, как надо хорошо учиться. А вот некоторые мальчики, — писала она, — этого не понимают и позволяют себе бузить и баловаться.

На редколлегия, обсуждая эту статью, Веру поправили:

— Почему мальчики? — спросила Маша. — А разве среди девочек у нас нет бузил? Есть. Сама знаешь.

— Есть-то есть, но мальчишки вообще... — начала Вера и остановилась. — Ну ладно, исправляйте: «некоторые мальчики и девочки».

Маша вспомнила одного очень тихого мальчика из своего класса: это был Шурик Каретин.

Верно, сидел он всегда тихо на уроках и на перемене вел себя незаметно. А какой он был человек, вот вопрос? Круглолицый, сытый, одетый в хороший шерстяной свитер и такие же рейтузы, он всегда приносил с собой обильные завтраки и долго старательно ел на каждой перемене. Однажды он забыл взять из дома завтрак. После первого же урока в школу пришла домашняя работница Каретиных с большим пакетом. Она подошла к классу и через стеклянную дверь стала делать Шурику какие-то знаки. Учительница разрешила ему встать и выйти на минуту. Каретин возвратился с бутылкой молока и кульком, из которого торчала французская булка, разрезанная вдоль и чем-то намазанная.

— Маменькин сынок! — бросила ему насмешливо Маша. Он мешковато обернулся, ища, кто это сказал. Нашел и ответил Маше:

— Папенькина дочка!

Она не обиделась, а к нему прозвище «Маменькин» прилипло. Когда выбирали санитарную комиссию, кто-то из ребят совершенно серьезно предложил:

— Предлагаю «Маменькина». Он аккуратный, будет смотреть, чтоб все руки мыли...

Каретин долго обижался на это прозвище и не знал, как бы задобрить ребят. Наконец, придумал: принес в класс целую пачку альбомных открыток с цветами и стал раздавать их. Маша сидела на перемене над какой-то заметкой и не сразу увидела, что творится возле «Маменькина». Подбежала, но поздно, Каретин отдавал уже Вере Ильиной последнюю открытку.

— А мне? — спросила Маша.

— Что ж ты зевала... Ладно, я принесу тебе две розы, только не дразнись...

— Принеси, «Маменькин»! — попросила насмешливо Маша.

Она задумалась: откуда у него столько открыток? И все новенькие, не надписанные?

Вера Ильина объяснила ей (она про каждого ученика знала что-нибудь), что отец «Маменькина» — владелец писчебумажного магазина. Он нарочно дал сыну открыток, чтобы тот подарил товарищам.

Отец Шуры Каретина — нэпман! Вот тебе на! Конечно, Шура сам еще не был нэпманом, но обещал им стать. Задатки подходящие. Теперь Маша определила свое отношение к «Маменькину» вполне ясно. Нестоящий, хотя и дисциплинированный.

Маше очень понравилась учительница литературы. Она то и дело задавала сочинения на вольную тему. А как-то прочитала вслух рассказ Чехова «Ванька Жуков» и предложила всем написать сочинение. Умница учительница, прямо угадала, что никому не было охоты успокоиться на том, как закончил этот рассказ писатель Чехов. «На деревню дедушке...» Конечно, такое письмо не дойдет. Так что же, так и терпеть дальше? Так и не стараться на месте Ваньки Жукова изменить свое положение? Нет, товарищи, с этим никто не согласен. Ни один мальчик, ни одна девочка из Машиного четвертого класса.

Конечно, каждый написал по-своему. Сорокин познакомил Ваньку Жукова с каким-то слесарем из мастерской, где лудили и паяли кастрюли. Теперь Ванька был не один, ему многое объяснили, от хозяина он ушел в мастерскую, стал человеком и участвовал в Октябрьской революции. «Маменькин» оставил Ваньку у хозяина, но написал, что Ванька стал хитрее, научился обдуривать хозяина, а потом пришла революция, и Ванька открыл собственную мастерскую. Маша придумала, что Ванька относил однажды сапоги заказчику и попал на хорошего человека, который помог ему разобраться, что к чему, и давал ему читать книги. Этот человек был учитель. И Ванька потом вступил в партию большевиков и участвовал в революции. Почти все сочинения кончались революцией.

И только Машина соседка по парте, Зина Делюнова, написала не похоже ни на кого. У Зины Ванька Жуков пошел в кассу взаимопомощи, взял денег на дорогу и вернулся в деревню к

дедушке. А там окончил семилетку.

— Тогда не было касс взаимопомощи, — объясняла учительница Зине. — Это всё происходило раньше, до революции.

Зина слушала, не отвечая.

— И семилетку он не мог окончить. Тогда в деревнях школ было очень мало, больше двухклассные. И жить Ваньке было не на что, он же сирота.

— Ну и шел бы в детдом, — мрачно возразила Зина. Ребята рассмеялись, а она обиделась и села. Она не могла представить другого строя жизни, чем тот, при котором жила. Ясно, ее разыгрывали. Школ нет! Даже в ее деревне, где она родилась и откуда только что приехала с родителями, даже там есть школа. А уж деревенька не из крупных.

Анна Николаевна оставила Зину после уроков и долго сидела с ней в пустом классе. Маша задержалась на заседании редколлегии и иногда поглядывала через стеклянную дверь в коридор — не идет ли Анна Николаевна с Зиной. Она увидела, как они вышли вместе, Зина попрощалась и пошла вниз на вешалку, одеваться. А учительница задержалась и стала читать объявления, прикрепленные кнопками на доске. Она была высокая, тоненькая, в синем сатиновом халатике, из-под которого выглядывал белый воротничок блузки. Волосы у Анны Николаевны были золотистые, собранные на затылке в узел. Но они у нее то и дело выбивались, и вокруг ее худенького полудетского личика точно возникало сияние из этих пушистых выбившихся волос. Анна Николаевна очень нравилась Маше, и она ревновала учительницу ко всем. А ревновать было к кому.

Анна Николаевна не случайно задерживалась у доски с объявлениями, она ждала кого-то. И дождалась. С третьего этажа спустился воспитатель одного из вторых классов, того самого, в котором учился Сева. Этот воспитатель, Харитон Сергеич, был молодым еще человеком, но отличался строгостью невероятной, у него в классе никто никогда не кричал и не шумел, словно там сидели не дети, а взрослые. В раздевалку они ходили парами, гуськом, во главе с воспитателем, хотя никто больше в этой школе так не делал. Дежурный всегда стоял у них на чеку у двери, и как только в конце коридора появлялся Харитон Сергеич, дежурный нырял в класс с криком «Харитон идет!», и все становились умными, смирными учениками, точно их заколдовали. Все склонялись над книжками, а при появлении воспитателя, вскакивали, как заводные, и здоровались, словно солдаты на смотре. «Харитона» все считали строгим, но всё-таки любили. Он был справедливый и всегда было понятно, за что он хвалит или выговаривает. Кроме того, все знали, что он имеет права судьи по футболу и хоккею.

И вот этот самый молодой учитель подошел к Анне Николаевне, и она сразу вся вспыхнула, покраснела, словно виноватая, и стала ему что-то рассказывать. Потом они пошли вместе вниз, на вешалку. И домой он ее проводит, это уж непременно. Не в первый раз ребята их видели вместе на улице даже в воскресенье, когда школа закрыта.

Вслед за Машей Анну Николаевну ревновали к «Харитону» и Вера Ильина и другие девочки. Они называли «Харитона» — хитрым змеем и успокоились только тогда, когда какая-то нянечка сказала Вере Ильиной:

— Хорошая парочка, учителя наши... Поженились недавно.

Вера тотчас оповестила о новости весь класс. Теперь отношение к «Харитону» изменилось в лучшую сторону. Ну, если он муж, то пусть уж ходит с ней под руку. Они были ее добровольными защитниками, а теперь защищать было не от кого...

Глава восьмая

Конкурс на лучшую заметку был объявлен. Подавали заметки под псевдонимом, девизом,

чтоб не угадать — чья. Премий было несколько: подписка на газету «Ленинские искры» на три месяца, подписка на ту же газету на один месяц и большой блокнот.

О чем бы таком написать?

В школьной жизни так много всего — глаза разбегаются. И кто как учится, и кто как себя ведет, и как работает библиотека, и как дежурят на вешалке и в коридорах назначенные дежурные, и как работают кружки, и какие проводятся экскурсии, и как надо понимать дружбу и товарищество, и в каком виде надо являться в школу, и еще много всякого. Например, для школьников открылся буфет, малоимущим ребятам — бесплатные завтраки. Из Машиного класса двух девочек сразу взяли помогать дежурной учительнице, намазывать бутерброды, расставлять чашки и по списку впускать ребятшек, тех, кому полагается. Тем для газеты очень много. Но как найти такую тему, чтобы заметка была занозистой?

Наконец, Маша нашла такую тему.

В первый же день занятий Тамара Петрова принесла в класс альбомчик со стихами. Альбомчик был маленький, с наклеенной сверху картинкой: пасхальное яйцо в виде домика, возле него двое зайчат на цветочной лужайке.

В альбоме были разные стишки и картинки: цветочки, букетики, кудрявые головки.

— Напиши мне стишок на память, — попросила Тамара Машу.

Маша взяла альбом и стала его перелистывать. На первой же странице она прочитала:

*Дарю тебе корзиночку,
Она из тростника,
В ней тридцать три фиалочки
И сердце моряка.*

На другой страничке красивым каллиграфическим почерком было выведено:

*Я вас люблю
И вы поверьте,
Я вам пришлю
Блоху в конверте...*

Подписи были самые разнообразные. Мало кто подписывался попросту своим именем и фамилией, большинство придумывало всякие загадки: «Кто писал — тебе известно, а другим не интересно», «Писала волна, угадай, кто она», «Имя и число снегом занесло», «Писал прохожий, покрыт рогожей» — и так далее.

Стишки были разные, но все коротенькие, все глупые, и в этом смысле похожие один на другой. В этих стишках были и незабудки в желудке, и блохи, и ангелы, но особенно много роз.

Вот это тема! Высмеять альбомы, высмеять блошиную поэзию! Маша вырвала из тетрадки по арифметике двойной чистый лист бумаги и начала сочинять статью на конкурс. Она сочиняла на уроке естествознания, и когда учительница вызвала ее и велела привести пример, какие семена однодольные, какие двудольные, Маша растерянно промолчала. И уже садясь, вспомнила: двудольные это бобы, фасоль. Но в журнале уже стояла плохая отметка.

«Ладно, дома я перепишу начисто всю тетрадку по естеству, нарисую всё цветными карандашами, и пусть она попробует вывести мне в четверти неуд», — утешала себя Маша. А в памяти мелькали прочитанные в альбоме стишки: «Любовь — солома, сердце — жар, еще

секунда — и пожар». Слово «секунда» было написано через «и». Этот стишок Тамарке написал самый бузотеристый мальчик из всего их класса. Коля Зайченко, по прозвищу «Седой» — у него были льняные, совсем белые волосы.

Фельетон вышел на славу, на две тетрадных странички. Маша подписалась «Маня Гвоздикова», чтоб не узнали, что сочинила она. Вскоре он появился в стенной газете и вызвал шумные обсуждения. В защиту альбомов встали несколько девочек во главе с Верой Ильиной: Тамара, хотя и кудахтала больше всех, но ничего дельного в защиту альбомных стишков сказать не умела, за нее это сделала Вера, девочка дисциплинированная и «правильная». Она громко говорила, что чем хулиганить, лучше писать стишки в альбом, а картинки вообще надо клеить всюду, где только можно.

Мальчикам понравилась статья в стенной газете. «Нечего мешанство разводить, — сказал Сорокин. — Если уж писать в альбом, так хоть со смыслом, а не так. У девочек есть такие привычки...»

На большинство девочек эта критика оказала свое влияние. Особенно задели в статейке слова: «Малограмотная поэзия». Все обладательницы альбомов тщательно проверили ошибки в стишках и выправили их. Некоторые даже повырывали оттуда листки и заставили тех, кто написал неграмотно, переписать заново. А одна девочка выбросила свой альбом в ящик для мусора.

За свой фельетон Маша получила вторую премию: на ее адрес стала приходить пионерская газета «Ленинские искры».

В Машином классе многие любили рисовать, особенно мальчики: и Зайченко, и Сорокин, и другие. Но учительницу рисования невзлюбили с первого урока.

Она явилась в класс в сопровождении воспитателя Петра Николаевича, как и многие другие учителя. У нее было скучное лицо, бесцветные волосы, какие-то пустые глаза. Оглядев детей, она заявила, точно скомандовала:

— Мы будем рисовать с натуры. Знаменосца. Мальчик, иди сюда. Как тебя зовут?

— Зайченко, — оторопело ответил «Седой». Он не мог догадаться, зачем она его вызвала. Рисовать что-нибудь на доске, что ли?

— Стань на мой стол. Ты будешь знаменосец. Руки — так!

И она показала, как надо положить руки, когда несешь знамя.

Зайченко, подмигивая товарищам, забрался на стол. Такого еще в классе не было. Интересно, что дальше.

— Он — знаменосец! — ткнула учительница пальцем в Зайченко. — Рисуйте его.

— Мы не умеем... — послышался чей-то робкий голос.

— Неважно. Рисуйте, как умеете. Руки, ноги, что ж тут трудного?

В классе стал нарастать шум. Кто пытался рисовать, кто переговаривался со стоящим на столе Зайченко, кто кидал в него бумажками. Зайченко вертелся во все стороны и не имел ни малейшего сходства со знаменосцем.

— Что вы кричите! Почему вы не рисуете? — спрашивала учительница всех сразу. Ребята отвечали хором. Стоял галдеж, можно было расслышать только отдельные фразы:

— Не выходит!

— Нас никто не учил!

— Какой же знаменосец без знамени!

Учительница раздражалась всё больше. Она почти не менялась в лице, но голос ее становился всё тоньше, всё противней:

— Ах, вам знамя надо? Получите!

Она схватила стоявшую в углу швабру и сунула ее в руки Зайченко. Какую-то секунду

паренек постоял неподвижно с поднятой шваброй в руках, но затем быстро опустил ее:

— Не буду стоять со шваброй.

А Коля Сорокин крикнул:

— Нечего смеяться над нашими знаменосцами.

Маша смотрела на странную учительницу и сомневалась: учительница ли это? Зачем это она придумала такое — ставить на стол, валять дурака?

Зазвенел звонок. Это был последний урок, все облегченно вздохнули и схватились за сумки. Но «учительница» закрыла дверь:

— Оставляю весь класс на два часа. В наказание.

Поднялся шум. Никто не чувствовал себя виноватым. А время потекло медленно, скучно. Вера Ильина вынула тетрадку по географии и стала рисовать заданное на дом — гору в разрезе, низменности и возвышенности.

Через два часа всех отпустили, но домой побежали немногие. Ребята сбились в кучку и пошли к директору.

Директор выслушал их внимательно.

— Хорошо, мы разберемся, — сказал он. — А вот почему у вас в классе на многих уроках — базар, почему дисциплина никуда не годится? За это вы отвечаете, активисты. Пора уже набираться ума, помогать учителям, а не мешать им. Я жду, что вы примете серьезные меры. Подумайте-ка вместе с воспитателем. Скоро Октябрьский праздник, многих из вас в пионеры принимать будут. Вот и покажите делом, что вы не болтуны.

На другой день воспитатель остался после уроков побеседовать с активом. Он не предложил никакого готового решения. Он стал спрашивать, какие предложения у ребят.

— У нас больше всего болтают на уроках подруги да друзья-приятели, — сказала Маша. — Что бы такое придумать? Рассадить их, что ли?

— Если уж говорить начистоту, так не в этом дело, — мрачно ответил Сорокин. — Сама знаешь, в чем.

— А в чем? Ты скажи прямо.

— А в том, что некоторые девчонки воображают. Придумали себе деление — девочки, мальчики. Что у нас, равенства нет? Отгораживаются, чтобы вести свои мещанские разговоры да стишки писать в альбомчики.

— А ты не отгораживаешься? Ты не отгораживаешься? — набросилась на него Маша. — Сам интересные книги читает, а дать не даст. Сколько раз просила.

— Пойди и возьми в библиотеке. Вот тоже!

Он знал, что в библиотеке за хорошей книгой — очередь, но формально был прав.

— Так что же делать будем, ребята? — повторил свой вопрос Петр Николаевич.

— Пересадить надо всех по-другому. Бузил рассадить, — ответил Сорокин.

— Тут надо о каждом подумать, — снова вступила Маша. — Если девочка тихая, — посадить рядом с бузотером, пусть воспитывает. А если болтуня, — посадить с дисциплинированным парнем.

— А не будут наши дисциплинированные сами портиться от такого соседства? — спросила Вера Ильина.

— Ты что, не веришь, что в нашем классе можно наладить дисциплину? — серьезно спросил ее Сорокин. — Самим нам надо поменьше бузить. Какие мы пионеры после этого, если боимся, что бузотеры плохо повлияют на нас? И всё равно они и так в классе, и влияют. Вопрос, кто кого.

— А вообще со всеми нами случается, — у нас вполне хороших нет, — ответила задумчиво Маша. — Но надо постараться.

Петр Николаевич вместе со своими добровольными помощниками просмотрел список и записал, кого с кем посадить. Он читал фамилию, а неразговорчивый староста — Ершов — коротко определял степень дисциплинированности. Он говорил лаконично: «бузила» или «порядочный человек», или «серединка на половинку». Когда подошла фамилия Сорокина, Ершов заявил:

— Самый завзятый бузотер...

Все рассмеялись, а он добавил:

— Посадить его с Тамарой Петровой, она любит языком трепать, а из него слово щипцами тянешь. Петр Николаевич тоже рассмеялся и сказал:

— Нет, Тамару лучше посадим с тобой, ты строже... А Сорокин с ней только спорить будет каждую минуту.

На следующий день реформу воплотили в жизнь. Ребят рассадили так, чтобы болтать на уроке стало невозможно, просто не с кем. Класс встретил новшество разноречиво. Кто радовался, понимая, в чем дело, кто удивлялся и приглядывался, — а что выйдет? А некоторые девочки, самые болтливые, сделали презрительный вид, показывая, что они выше всего этого и им глубоко безразлично, с кем их посадили. В душе они чувствовали себя урезанными в своих правах, но высказывать эту мысль вслух не решались.

В классе они сидели теперь по-новому — мальчишки с девчонками, притом разные по привычкам и характерам. Машу посадили с Колей Зайченко. В классе на уроках сделалось тише, болтуны примолкли или перешёптывались через парту, что было труднее, чем болтать с соседкой. Мальчишки стали, как будто, самолюбивей; все чисто мыли руки и не приходили в класс с оторванными пуговицами. Одно дело, когда сидишь с товарищем, который ценит тебя и понимает, а на такую мелочь, как грязные руки, и внимания не обратит. Девчонки же всё замечали. Они, если и не говорили вслух, то всё же морщились, а иногда даже отодвигались в сторону. Этого было вполне достаточно. Ребята стали осторожней и в выражениях, а уж если кто отпустит острое словцо, то старается действительно сказать поострее.

Маше эта «пересадка» очень понравилась. Она не раз говорила девочкам о том, что зря мальчишки воображают себя умнее, способней и вообще толковей девчонок: все одинаковы, а при желании мальчишек можно и обогнать. Девочки теперь краснели за Тамару, когда она, не поддаваясь никаким реформам, попрежнему отвечала на уроках глупости, утешаясь что она «хорошенькая и не пропадет». Вера даже стала по собственному почину заниматься с Тамарой по географии и грамматике.

Всё это было очень хорошо, но с Зайченко справиться не могли. Маше никогда не приходила в голову мысль о том, что с Колей не справляются и учителя, и даже собственная мать. Его надо было перевоспитать, а он поддавался этому очень плохо. Домашняя закваска, пример лихого, беззаботного и очень милого с виду отца были сильнее школьного влияния. Понять это, а тем более примириться с этим Маша никак не могла. Она страшно мучилась со своим соседом. Сама впечатлительная и живая, она иногда невольно смеялась его остротам, вместе того, чтобы сделать ледяное осуждающее лицо. И даже учительница смеялась, хотя он мешал вести урок. Наверно, он был особенно «трудным» именно потому, что озорничал добродушно, сохраняя вполне симпатичный вид и вызывая снисходительное к себе отношение. А по существу, Коля Зайченко мешал всем учиться, отвлекая внимание педагога своей необыкновенной персоной.

Глава девятая

Учительница пения организовала хоровой кружок и записала туда Машу. Раз в неделю

певцы оставались после уроков и целый час репетировали песни, которые готовили к Октябрьскому празднику. Драмкружок занимался хоровой декламацией, и Маша тоже поспешила принять в ней участие. Их выстраивали на сцене, восемь человек ребят, и они декламировали.

Октябрь пронесся над Русью шквалом, —

говорили все восемь.

В громовом вихре, —

грозно вступал Сорокин,

В сиянье алом, —

вторила ему Тамара Петрова.

В хоровом кружке выделялась девочка из третьего класса, Сонечка Шорина. Учительница сразу заметила ее сильный, чистый голосок, и занималась с ней отдельно. Она радовалась даровитой девочке и прочила ей будущее знаменитой певицы.

И правда, слушать Соню всегда было приятно. Маленькая, хрупкая, она весело глядела на всех и легко, без смущения начинала петь. В такой маленькой девочке, в такой тоненькой шейке помещался такой сильный, покоряющий голос! Маша всегда смотрела на Сонечку с радостным удивлением.

— В нашей школе всего двенадцать пионеров, — сказал на одном из собраний Петр Николаевич. — К Октябрьскому празднику нам с вами надо будет знать, кто еще захочет вступить в пионеры. Это дело не простое, не каждый достоин носить пионерский галстук. Надо хорошо учиться, вести себя дисциплинированно, потому что пионер — всем пример. Те из вас, кто хотел бы вступить в дружную пионерскую семью, должны уже сейчас начать готовиться к этому торжественному событию. Ознакомиться с законами и обычаями юных пионеров, выучить пионерскую клятву — торжественное обещание.

«А мой неуд по естествознанию! — ужаснулась Маша. — Нет, сделаю всё, чтобы исправить. Иначе не примут».

Газета, полученная в премию за статью, учила: пионер не только сам должен быть хорошим, он должен вести за собой других ребят. Пионер — это организатор. «А какой же я организатор? — грустила Маша. — Я и выступать-то не умею. Стесняюсь, все слова теряю... Примут ли?»

А жизнь шла со своими радостями, тревогами и неожиданностями. Она заставила Машу заговорить, сказать речь на людном сборище на улице — и лучше бы не надо было говорить такую речь, лучше не было бы этого сборища!

В программе Октябрьского вечера выступление Сонечки Шориной было «гвоздем», лучшим украшением. Соня тоже готовилась вступить в пионеры. Свое выступление на Октябрьском вечере она рассматривала как первое пионерское задание и старалась на репетициях изо всех сил. Ей было приятно стараться: петь она любила больше всего на свете.

— Шорина заболела, — услышала Маша, придя в школу недели за три до праздника.

— У Сони Шориной дифтерит, — тихо сообщали друг другу девочки из третьего и

четвертого класса.

Прошло три дня, и вдруг в вестибюле школы у вешалки появилось страшное объявление в траурной черной рамке: «Похороны ученицы 3-го «а» класса Сони Шориной состоятся в среду в три часа дня. Сбор у школы».

Как же быстро умирают люди! И как неразборчива смерть. Схватила нашу подружку, которая пела лучше всех, и бросила ее в ящик. Теперь ящик забьют гвоздями. Всё. На Октябрьском концерте Соня Шорина петь не будет. И вообще нигде больше петь не будет. Нет больше ее голоса, умерла Соня Шорина. А была бы, может, знаменитая певица... Но не будет.

Ребята ходили подавленные, ничего не понимая. Маша морщила лоб и молчала. Она была растеряна: как плохо, когда ничего не надо делать, всё кончено, уже ничем не поможешь. Как плохо быть бессильной против беды.

И вот среда, и уроки уже кончились. На улице перед школой стоят две белые лошади, покрытые белыми сетками. На катафалке маленький гроб, ему там очень свободно. Вокруг осенние цветы — фиолетовые, белые, красные. И еловые ветки.

Школьников на улице очень много и учителей тоже. А позади катафалка стоят взрослые плачущие люди: мужчина и женщина. Плачет мужчина, а женщина утешает, хотя у нее глаза тоже заплаканные.

— Митинг надо, маленький прощальный митинг, — говорит Петр Николаевич учительнице литературы. — Я скажу несколько слов, и от детей кто-нибудь... И учительница пения, наверно.

Откуда-то появляется табуретка, ее ставят у стены, рядом с дверьми школы.

Маша смотрит на всё это, морща лоб и не понимая, как же это всё-таки Соня Шорина умерла. К Маше наклоняется учительница литературы:

— Маша, тебе надо выступить, сказать несколько слов. Надо проститься с Соней.

— Да... Но что я скажу?

— Скажи, что чувствуешь. Хоть несколько слов.

Маша хочет возразить. Конечно, она чувствует сейчас много всего, и горюет, и волнуется. Но она просто чувствует, и всё. А как это перевести в слова? Она же чувствует не словами... Но спорить сейчас было бы совсем не к месту. И Маша молча соглашается. Мысленно она ищет слова, но до чего же это трудно! Как это всё рассказать?

К ее облегчению первым на митинге выступает Петр Николаевич. Она внимательно слушает его речь. Пытается понять, как это говорят о таких печальных событиях, когда охота плакать, а вовсе не говорить.

— Слово от учащихся имеет Мария Лоза.

И кто-то добавляет вполголоса:

— Лезь на табуретку, а то тебя не будет видно.

Она стоит на табуретке и смотрит на маленький гроб.

— Прощай наша милая Соня, — говорит Маша. — Мы все тебя очень любили, ты очень хорошо пела. Очень плохо, что так всё случилось. Ты бы, наверное, стала знаменитой певицей. Ты старалась быть достойной пионерского галстука. И мы тоже будем стараться. Мы тебя никогда не забудем.

Она хочет сказать еще о том, что когда же наконец эти доктора научатся лечить детей, чтобы они не умирали, и, особенно, таких необыкновенных детей, как Соня Шорина, но говорить уже нет сил. На глазах слёзы, в горле бог знает что, и она торопливо спрыгивает с табуретки. Потом говорит учительница пения. Маша слышит только, как учительница говорит «наш соловушко», и все еще громче плачут. Потом митинг кончается, все становятся за гробом и идут провожать Соню в последний путь.

И Маша провожает. Впереди нее идут две учительницы и о чем-то говорят вполголоса.

Маша не может разобрать их слов, а Вера Ильина всё отлично разбирает и тут же на ходу пересказывает Маше. Оказывается, Сонин отец очень ее любил, даже больше матери. И он не живет с матерью, он на другой женился. А Соню часто навещал и очень любил. А теперь за гробом он всё равно идет не с новой женой, а с Сониной матерью, потому что горе-то общее у них, а не у кого-нибудь.

— И чего они расходятся! — возмущенно говорит Маша. — Такую хорошую дочку имели...

Она искоса рассматривает Сониного отца. Он идет под руку с матерью Сони, прикусив нижнюю губу, точно ему кто-то сделал справедливый выговор и он сам понял, что виноват, да теперь поздно.

«А если б отец бросил нашу маму? — размышляет Маша. — Всё бы разрушилось, распалось. Страшно! Привыкаешь к ним, к этим родителям, а они возьмут и разойдутся! Разонравились друг другу. А о нас и думать не хотят».

Постепенно мысли девочки приводят ее к такому ощущению, что это отец и мать Сони Шориной виноваты в ее смерти. Такой замечательный ребенок у них получился, а они, дураки, разошлись. Вот бог их и наказал. Ну, не бог, бога нет, — судьба их наказала. Не в том дело, кто; важно, что наказаны.

И только на кладбище, когда отец Сони уперся руками в боковые стенки маленького гроба и в последний раз смотрел и не мог насмотреться на свою милую дочь, только тогда Маша почувствовала к нему жалость и простила его. «Могло и при нем случиться», — подумала она примирительно.

Дома и в школе в последующие дни она долго не могла отделаться от мыслей о смерти. Человеку же надо хоть что-нибудь успеть сделать, а тут раз — и умерла, еще маленькая. Надо, видно, торопиться сделать что-нибудь хорошее. А то гляди — и не успеешь. Надо вообще быть честным человеком и приносить какую-нибудь пользу.

Дома она села переписывать свои школьные тетрадки начисто. Вдруг увидела, что, несмотря на ее самые хорошие намерения, несмотря на серьезное отношение к жизни, у нее на деле, в тетрадках, получилось другое. Начнет записывать что-нибудь в классе, поторопится — и приходится зачеркнуть. А какая уж тетрадка с перечерками! Или что-нибудь отвлечет, ну пустяк какой-нибудь, — и написано уже не то. Один раз на подоконник галка села, а Коля Сорокин сказал тихо: «Галка». Маша сразу завертела головой, ища галку. И нашла, увидела, улыбнулась от удовольствия. А с пера в это время скатилась такая капля, что просто ужас. Пробовала промокнуть, стереть резинкой, и протерла дырку. Ну куда теперь с такой тетрадкой! А еще в пионеры собралась. И она переписывала всё набело. Она не знала что переписать целую тетрадку куда легче, чем изменить хотя бы одну, хотя бы незначительную черту характера.

До Октябрьского праздника оставались считанные дни. Маша тоже готовилась к вступлению в пионеры, из ее класса подали заявления девять человек. Все учили наизусть торжественное обещание, старались подтянуться на уроках. Дело обстояло благополучно у всех, кроме Зайченко. Он тоже хотел вступить в пионеры, но подтянуть свою дисциплину на уроках никак не мог. Он минуты не сидел неподвижно, — пообещает не болтать на уроке, зато начинает корчить гримасы и получается еще хуже болтовни.

Отец Коли Зайченко работал в художественном цехе картонажной фабрики, любил выпить, а дома, пьяный, пел веселые песни. В пьяном виде он был еще добрее, чем в трезвом. Поэтому и Колина мать, вместо того, чтобы попытаться повлиять на него, сама подлаживалась к его привычкам, не прочь была пропустить с ним рюмочку, а сына баловала, тем более, что он у нее был единственный.

Пожалуй, ни Коля Сорокин, который уже носил красный пионерский галстук и был политически развитым пареньком, ни примерная ученица Вера Ильина, ни Маша не придумали

бы сами, что такое предпринять, чтобы Зайченко проявил себя с хорошей стороны. Помог Петр Николаевич.

К Октябрьскому празднику украшали и спортивный зал, где всегда проходили собрания, и коридоры, и классы. В работе принимали участие почти все ребята, каждый по-своему. Учительница литературы получила от директора школы маленькую пустую комнату и стала оборудовать в ней литературный кабинет. Но никаких денег на портреты и украшения школа не имела, надо было выкручиваться своими средствами.

Вот тут-то Петр Николаевич и подсказал учительнице литературы привлечь Колю Зайченко.

Коля явился после уроков в «кабинет литературы» и критически оглядел стены. Учительница сходу заговорила с ним, как со взрослым. Она представилась даже несколько более беспомощной, чем была на самом деле, и стала рассказывать, как было бы нужно украсить кабинет, но невозможно... невозможно...

— У меня один только Пушкин приличный, — говорила она. — Портреты Некрасова и Тургенева все помятые, уголки оторваны, я не знаю, где они валялись, но их вешать нельзя. А Горького совсем нет. А без него нельзя, портрет Горького надо в самом центре поместить, он наш главный пролетарский писатель. Вот, посмотри в книге, каков он собой.

И она развернула номер журнала «Красная новь», где был помещен портрет в красках: Горький стоит на берегу моря.

— Такого нам, конечно, не нарисовать, но может, кто-нибудь у нас сумеет хорошо скопировать маленький портрет, не в красках? — И она показала Коле другой портрет, рисовать который было проще. А на стены повесим разные цитаты из произведений наших классиков: Из Горького возьмем: «Человек — это звучит гордо».

Зайченко не выпускал из рук портрета Горького, стоявшего на берегу моря. Совсем недавно в классе проходили отрывок из повести «Трое», и Зайченко нарисовал в своей тетрадке иллюстрации к отрывку. Нарисовал хорошо, только носы у всех были почему-то длинные, — видно, другие профили ему не давались. Еще читал он «Детство» Горького. Этого писателя он уважал, хотя литературу не считал серьезным предметом и на уроках литературы баловался.

— Горького надо во весь рост рисовать, — сказал он, подумав. — Я нарисую. Бумага есть? Учительница подала ему пол-листа ватмана. Зайченко поморщился:

— Я во весь рост буду. Понимаете, на всю стену. Меньше я не согласен. Надо два целых листа ватмана. И чтоб сюда никто не ходил.

Учительница порылась в ворохе бумаг и старых портретов и вытащила оттуда четыре листа бумаги:

— Это всё, что у меня есть. И на лозунги, и на портреты.

— А краски?

Она достала помятую картонную коробку, в которой лежали полустертые цветные кубики красок. Зайченко осмотрел коробку, капризно выпятив губу.

— Называется — краски... Вы, наверно, настоящих красок никогда не видели, — сказал он невежливо. — Я начну сегодня. Тут буду работать, только вверните лампочку поярче.

Он расстелил на полу старые газеты, сверху прикрепил кнопками ватман и еле заметно разлиновал его карандашом на одинаковые квадраты. На такое же количество квадратов разлиновал он и портрет из «Красной нови».

В кабинет, когда учительница ушла, Коля никого не пускал. После уроков он забирался туда и рисовал с упоением. От пения и физкультуры его даже освободили, так как он занят был важным делом. И на уроках он стал потише, слушал учителей и сам давал дельные ответы.

И вот праздник наступил.

Украшен весь город, улицы, дома, мосты. Красные флаги, как огромные пионерские галстуки, летят по ветру над перилами моста. И Машина школа украшена. Вдоль коридоров — лозунги, написанные на обратной стороне обоев, на стене — новый номер стенгазеты. В зале кумачовый лозунг. Вокруг портрета Ильича — свежие еловые ветки. Наискосок по всему залу протянуты на веревочках разноцветные флажки. А над сценой лампочки обернуты красной бумагой.

Кабинет литературы оформлен очень хорошо. Зайченко оказался настоящим художником. Конечно, краски он принес свои из дому, выпросил у отца. Портрет Горького — большой, во весь рост и очень похожий. На стене — небольшие плакатики со стихами и изречениями. Много народу помогало учительнице литературы. Маша тоже писала один плакат. Это была строфа из пушкинского стихотворения:

*Товарищ, верь; взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!*

Он, Пушкин, был великий, он жил когда-то, очень давно, когда не было еще на свете Машиных дедушки и бабушки. И он обращался сюда, к ним, он предсказывал, что царя не будет. И он называл своих друзей товарищами, как называют друг друга только сейчас, при советской власти. Товарищ!

Она пришла на вечер в синей сатиновой юбке и белой кофточке — так велела вожатая. Свои густые волосы Маша только что начала заплетать в косы, в неуклюжие, коротенькие косы, которые то и дело расплетались. Она туго перевязала их синими лентами, припасенными специально к этому дню. Кожа на голове чуть-чуть побаливала от туго натянутых волос, зато Маша была спокойна: косы не расплетутся.

Минутами она чувствовала дрожь — то ли от холода, то ли от волнения. Мысленно она повторяла слова клятвы: «Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...» Она знала эти слова хорошо, выучила их навсегда. И вот приближался торжественный момент.

Будущих пионеров собрали в одном из классов. Вожатая объяснила, что надо сделать, когда она повяжет галстук на шею... Галстук! Свой личный, одетый по праву пионерский галстук, еще ни разу не стиранный... Скорее бы! Все мальчики и девочки были в белых блузах. А зал был полон, там сидели ребята из всех классов, учителя, родители. С завистью заглядывала туда Маша через стеклянные двери: вон Вера Ильина со своей толстенькой добродушной мамашей, вон отец Тамары Петровой, даже мать Коли Зайченко пришла. А Машиных нет никого. Только Севка, верный друг, сидит в третьем ряду с ребятами из своего класса. У папы заседание в институте, мама сказала, что ей надо к празднику готовиться, печь пирог. Лучше бы уж пирога не пекла, а пришла бы сюда в такой торжественный день.

Неожиданно зазвонил звонок — нянечка стояла у лестничной клетки и размахивала медным колокольчиком изо всех сил. Но это был звонок не на перемену и не на урок. Звонок объявил, что торжественное собрание начинается.

Они вошли в зал последними — двенадцать человек ребят в белых блузах — и стали у стены, возле первых рядов. Большая сцена была пуста, сбоку стояла кафедра для докладчика. Сверху на ребят смотрел Ильич, щуря свои всё понимающие и всё видящие добрые глаза.

Вышел директор и объявил торжественное собрание открытым. На кафедре появился Петр Николаевич. Он сделал доклад об Октябрьской революции. Он говорил очень просто и понятно, так что все слушали внимательно. Коротко рассказал о штурме Зимнего, заметив попутно, что сам он тогда еще был беспартийным и только из окна видел в утренней полутьме, как стекались рабочие дружины по направлению к Дворцовой площади. И все стали еще более жадно слушать его, особенно дети. Он видел, хоть из окна! Революция после такого рассказа становилась чем-то очень близким, своим. Она была Великая — все это знали и повторяли, но она была и вполне простая и понятная — Петр Николаевич видел ее сам из окна. Великая, потому что всё переменялось в корне, кто был ничем, тот стал всем. Но совершили ее простые люди.

Петр Николаевич закончил свой доклад очень быстро, все хотели слушать еще. И вдруг кто-то громко доложил со сцены, что сегодня, в торжественный день Октябрьской годовщины, двенадцать учеников и учениц школы принимаются в юные пионеры... Дробно застучал барабан — это барабанил, стоя на краю сцены, Коля Сорокин, тоже в белой рубашке и галстуке. Зажглись красные лампочки, и сцена озарилась, как будто бы где-то рядом запылал костер.

И тогда они вышли на сцену ровным строем — двенадцать счастливых. Вожатая взглянула на них, и они поняли. Дружно, как один, заговорили все двенадцать. Говорили одно и то же, говорили четко и разборчиво. Они произносили слова клятвы, слова торжественного обещания юных пионеров.

Маша говорила со всеми вместе, отдельно ее голос не был слышен, он вливался в этот чуть рокочущий, сильный общий голос двенадцати подростков. В темноте из зала смотрели сотни глаз, но Маша их не видела. В этот миг ей казалось, что их слушает весь рабочий класс, все советские люди. Внимательно слушают. Это им обещают юные пионеры твердо стоять за дело рабочего класса.

И двенадцать человек, как один, обещали:

«Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича, законы и обычаи юных пионеров.»

Последние слова были только что произнесены, а вожатая уже повязывала галстук Коле Зайченко. Его лицо сияло. В глубине души он побаивался, что его прием в пионеры отложат — самолюбие его очень страдало от этой мысли, и он спрашивал сам себя: ну виноват ли человек, если у него веселый характер? К счастью, приняли.

Вожатая была похожа на заботливую старшую сестру, всем повязала галстуки, на виду всего зала. И когда строй был выровнен, она снова обвела их внимательным взглядом и громко сказала:

— Юные ленинцы, к борьбе за дело рабочего класса будьте готовы!

— Всегда готовы!

Двенадцать рук поднялись над головами для пионерского приветствия.

Снова послышался барабан. Сорокин обошел строй, стал впереди всех и вывел новых пионеров со сцены в зал.

У Маши немного кружилась голова. Может, это всё приснилось? Но нет, — она опустила глаза и увидела под своим подбородком алый сатин пионерского галстука. Нет, это произошло. Она дала клятву выполнять заветы Ильича. Клятву. И теперь, даже если ее резать станут, она от этой клятвы не отступится. Теперь она пионерка.

Сева не подошел к ней, он сидел в середине третьего ряда, зажатый с обеих сторон своими друзьями. Но когда она сбегала со сцены, он посмотрел на нее, такой довольный и гордый, словно говорил: «Смотрите все, какая у меня сестра: она пионерка!».

Лето показалось ей длинным — начала занятий в пятом классе она ожидала с нетерпением.

Маша привыкла к своему классу, к ребятам и девочкам. Привычка друг к другу, общие заботы по пионеротряду, совместные переживания на уроках сплотили их постепенно в настоящий коллектив. В этом коллективе не последнюю роль играл Коля Сорокин.

Мать Сорокина — все знали — была нянечкой в этой же школе. Отец его, слесарь с «Красного выборжца», погиб несколько лет назад, спасая ребят, тонувших зимой на Неве против его завода. Он вытащил их, двоих мальчишек, и отнес домой, благо дом, в котором они жили, стоял на набережной неподалеку. Но сам схватил воспаление легких и умер. Он был коммунистом, Коля хорошо помнил об этом.

Овдовевшая мать поступила на работу в школу: она очень беспокоилась, сумеет ли одна воспитать своего сына как надо. Мальчик — не девочка, его легче воспитывать отцу, мужское влияние здесь очень даже важно. Женщина присматривалась к учителям, к их обращению с детьми, и потихоньку училась сама. Она была еще молода и могла выйти замуж вторично, но забота о воспитании сына так захватила ее, что о замужестве она и не думала.

Маша знала в лицо Колину мать, нянечку Дарью Андреевну. Эта нянечка никогда не покрикивала на детей, она чаще молчала, словно прислушивалась и приглядывалась к чему-то. Вскоре она почувствовала, что многое в жизни ей облегчено: в местном ей часто давали билеты на лекции и концерты в Дом учителя — одни эти лекции и концерты могли сыграть большую роль в воспитании ее сына. Коля Сорокин часто бывал там со своей матерью. Он попросил ее записаться в библиотеку Дома учителя и получал там такие книги, которых в школе было и не достать. Он ходил на устраиваемые Домом учителя экскурсии и успел повидать больше, чем его товарищи по школе, выраставшие при отцах и матерях. Он увлекся радио и вечерами долго сидел над проволочками и винтиками, строя детекторный радиоприемник.

Сорокин дружил с Гришкой Карповым и Петей Сергеевым. Эти мальчишки учились не худо, а на переменках беспощадно высмеивали девчоночьи альбомчики, записки, которыми Тамара перекидывалась с одной из подруг, алфавиты-шифры, придуманные девочками для защиты от чрезмерно любопытных ребят. Их уважение снискали немногие из девочек, в числе которых была и Маша. Сорокин, Карпов и Сергеев были беспощадны ко всему, что нарушало добрую товарищескую дружбу, хихикающая и намекающая на что-то Тамара казалась им самым большим злом. Этот вывод был сделан ими после того, как в один из первых же дней учебы Коля Сорокин принес в класс и положил перед Тамарой сделанную из картона и обклеенную коричневой бумагой рамку. Почему он захотел подарить ей свое изделие, он и сам не знал. Зато она, получив неожиданный подарок, стала вести себя так, словно отлично поняла, в чем дело. Она хвастливо показывала всем эту злополучную рамку и стала просить Сорокина написать ей в альбом. «Вот уж этой глупости никогда не сделаю», — ответил Коля с достоинством. Товарищи подтрунивали над ним, пока он сам не определил вслух своего отношения к Тамаре. После одного из ее нелепых ответов на уроке географии, Коля сказал вполголоса, так что слышал весь класс: «Ох, и дурища». С тех пор его не дразнили, а Карпов и Сергеев стали его закадычными друзьями.

Дарья Андреевна радовалась, когда ее сын проводил выходные дни с товарищами. Они собирались группой в четыре-пять человек и шли в музей или кино. Коля как-то позвал в такой культпоход и Машу, объяснив: «Нас штук пять наберется, ты не робей, с нами не пропадешь». В воскресенье Маша пришла к школе и вместе с ребятами поехала в Русский музей. Смотрели без руководителя, но и так было интересно. Только когда дошли до последних зал и увидели картины Филонова, состоявшие из линий, завитушек, крючков и кружочков, Коля сказал в недоумении:

— Ну, в этой картине я без руководителя ни черта не пойму.

— Не дорос, — бросил ему Карпов, смеясь, — культуры мало! — А сам повернулся к картине спиной.

Маша тоже ничего не поняла. Вот в верхних залах, там всё понятно: красивые или уродливые люди, русская природа, всякие исторические события. А некоторые картины — точно и не картины, а куски жизни. Запомнился Суриков — «Переход через Альпы». Казалось, стена музея разверзлась, и все увидели то, что случилось более сотни лет назад: лавина войска скатывается с крутой горы, русские солдаты карабкаются по скалам, бесстрашно заглядывают в пропасть, идут вперед, — потому что ведет их очень умный, очень смелый, а на вид смешной и тщедушный старичок, гениальный полководец.

Возвращаясь назад, обсуждали разные школьные дела. Гриша Карпов сказал:

— А всё-таки дуры — некоторые наши девчонки. Любовь, любовь! Дважды два не выучили, а про любовь стишки пишут.

— Я считаю, что самое благородное чувство — это дружба, — сказал Сорокин. Он хотел сказать «чувство локтя», — выражение, которое услышал на лекции в Доме учителя и которое сильно понравилось ему. Но не отважился — еще засмеют. — Любовь людей разделяет на парочки, а дружба сколачивает в одно, в коллектив. Как ты считаешь, Лоза?

Маша покраснела:

— Я не знаю... Я тоже за дружбу. Конечно, про любовь в книгах очень хорошо пишется. Но нельзя же всякую глупость называть любовью. Наверно, любовь бывает раз в жизни, или вообще — редко. И вообще такими словами не бросаются.

— Вот это ты верно сказала: такими словами не бросаются.

Еще не один раз по воскресным дням ходили они в музей, ездили в Лесной парк, посетили комнату Владимира Ильича Ленина в Смольном. Экскурсии устраивались и для всего класса, с педагогами, но отдыхать хотелось только с друзьями — и воскресенье принадлежало им. Дарья Андреевна иногда разговаривала в коридоре с Карповым, с Машей, расспрашивала их о сыне, приглядывалась к его друзьям. Коля очень не любил этих разговоров. За глаза он говорил: «Опять моя мамаша об отметках беспокоится...», но уважал свою мать по-настоящему и любил ее за то, что она незаметно и не навязчиво помогала ему узнавать большой и интересный мир.

Наступил день, когда Машин класс собрался на культпоход в Театр юных зрителей. Они шли всем коллективом во главе с Петром Николаевичем. На билете значилось: «Хижина дяди Тома», с 4-го класса».

Трамвай довез их до цирка, прошли пешком на Моховую улицу, и вот он, ТЮЗ! Здесь особые порядки, не как во взрослых театрах. Раздеваются все вместе — группой. Зал — как половина цирка, места зрителей расположены полукругом, и чем дальше от сцены, тем выше, так что всем хорошо видно.

А сцена — сцены в обычном смысле просто нет. И занавеса нет. Декорация вся открыта, настоящий домик с занавесками на окнах выступает в зал, никаких секретов нет. Зайченко сразу стал щупать стены домика с пристройкой и верандами, но к нему тотчас подошла девочка и остановила его. На левой руке у девочки была синяя повязка со словами «ТЮЗ» и коньком-горбунком желтого цвета. Девочка была дежурная. Но почему — девочка, пионерка, такая же, как они все? Впрочем, дежурили и взрослые, школьники им помогали.

Ничто в пьесе не оставляло детей равнодушными. Как было жалко старого Тома, какую ненависть вызывала противная капризная белая девчонка, дочь хозяина! Когда ее желание не выполнили, она затопала ногами с криком: «Убьюсь! Зарежусь! Битого стекла наемся!», и заревела, как корова.

Маша попросила у Петра Николаевича программку. Капризницу играла артистка Охитина, а красивого и благородного мулата — артист Пуриц. Девочкам этот артист очень понравился. Уж

как он там играл, они не судили, но он был очень хорошенький. Остальные не шли с ним ни в какое сравнение. В антракте Маша купила фотографию Пурица в одной из ролей.

Спектакль кончался вечерней сценой у костров. Усталые негритянские семьи ужинали, собравшись группами, и тихо пели. Слов этой песни Маша не запомнила, но слушать их было так грустно, что на глаза навертывались слёзы. Это пение, эта печальная музыка раскрывали всю тоску беспросветной, безрадостной жизни подневольных людей. Маша вытирала глаза рукой, другие девочки тоже. Мальчики были крепче, кроме легкомысленного, «трудного» Зайченко: он шмыгал носом, тоже проняло! Маша заметила, что неподалеку от нее сидит тюзовский педагог — женщина в синем халате с коньком-горбунком на рукаве и в полутьме что-то записывает в блокнот. Позже Маша узнала, что педагоги театра специально изучали, как дети реагируют на спектакль. Заметив, что очень многие плачут во время последней сцены, авторы спектакля смягчили эту сцену. Она осталась печальной, но слёзы вызывала только у самых чувствительных.

Вдоль стены на лестнице театра висели стенные газеты, выпущенные школьниками. На газетах значилось: «орган делегатского собрания» — первой или второй ступени. Оказывается, при театре были какие-то собрания...

Маша зачастила в ТЮЗ.

Каждый спектакль был праздником. Кроме «Похождений Тома Сойера», «Дон Кихота», «Принца и нищего», известных, как и «Хижина дяди Тома», по книгам, театр ставил пьесы про свое, про родную страну, ее людей — такие, как «Тимошкин рудник», «На перевальной тропе», а также пьесы о жизни в зарубежных странах.

Петр Николаевич принес однажды на классное собрание какую-то бумажку и сказал:

— ТЮЗ предлагает нам выделить двоих делегатов на делегатское собрание первой ступени. Кто из вас хотел бы?

Маша торопливо поднялась. Она боялась, что захотят многие, что ее, может быть, не выберут. Притом из их класса нужен только один делегат.

Но ее выбрали.

Они собрались в ТЮЗе за два часа до спектакля, делегаты собрания первой ступени. Собрание проводил седовласый, однако моложавый лицом педагог в синем тюзовском халате. Он рассказал о работе, которая им предстояла, об экскурсии по театру, о стенгазете, о кружках. В театре своим чередом шел спектакль. Когда кончилось собрание, был уже первый антракт, и фойе было заполнено ребятей и педагогами. Делегаты расходились, важные и серьезные, они чувствовали себя Помощниками в театре и очень этим гордились.

В следующий раз старший педагог показал им все помещения театра. Вот они переступили порог двери, куда уходили со сцены только артисты и куда ни один зритель проникнуть не мог. Узкий коридор, из него дверь со ступеньками вправо, на сцену, а дальше — на балкончик, окружавший большое полутемное помещение. Внизу в этом зале стояли декорации, — синие скалы пьесы «Похититель огня», высокий маис, заплетенный снизу, словно украинский плетень, — это из пьесы «Дети Индии», два трехколесных крупных велосипеда с головами Россинанта и осла — на них въезжали на сцену долговязый Дон-Кихот и его верный оруженосец Санчо-Пансо. Маше все эти вещи казались таинственными — с их помощью и совершалось волшебство спектакля. А здесь, внизу, они стояли, перемешанные, смирные, их можно было потрогать руками, разглядеть как следует...

Наверху помещались уборные артистов, где эти обыкновенные люди в бобриковых или драповых пальто перевоплощались в негров и шерифов, в индусов и англичан, в средневековых рыцарей и героев гражданской войны. Благоговейно смотрела Маша Лоза на разложенные на столике коробочки грима, вазелин, пудру, на парик, висевший рядом на гвоздике.

А дальше были костюмерные, бутафорский склад... Дом походил на муравейник или улей с

множеством ячеек, гнездышек, переходов... Пожалуй, экскурсия была не менее интересна, чем спектакль — многие ли видели такое?

Временами девочка сама удивлялась, что ей выпало такое счастье. Везет же ей! Она давно любила театр — и вот она в театре, не как зритель, а как помощница тех, кто здесь командует. На руке у нее синяя заветная повязка, в косах выглаженные ленточки. Она стоит возле сцены, касаясь плечом декорации — синей скалы, — идет «Похититель огня», — и оберегает эту сцену, смотрит, чтобы зрители не бегали во время антракта по просцениуму. И с удивлением, с тайной завистью смотрят на нее девчонки и мальчишки, точно так же, как она сама смотрела на дежурную какой-нибудь месяц назад. Что ж, те, кто сильно полюбит театр, будут искать дружбы с ним, будут этого добиваться и добьются. И как представить себе, что такого, своего детского театра не имеют дети ни в какой другой стране, кроме нашей, советской страны. Хорошо, что мы тут родились, а не за границей!

— Петр Николаевич, нам надо у себя в школе устроить драмкружок, — робко сказала Маша классному воспитателю. — А то мы на праздники всё декламируем и декламируем. Давайте пьеску поставим, а?

— Давайте, — ответил учитель. — Надо подыскать, что ставить. Мало пьес-то подходящих. Но я поищу.

И вот они сидят после уроков в большом зале, добровольцы драматического кружка, а Петр Николаевич читает первое действие пьесы «Коля в плену». Закончил и спрашивает:

— Кто будет читать второе действие?

Все молчат.

— Лоза! Пускай Лоза читает, — говорит кто-то негромко.

Маша становится пунцовой от смущения, берет книжку и начинает читать. Третье действие читает Березкина.

Пьеска подходящая. Герой ее — пионер Коля, которого мать не пускает на сборы, а заставляет идти в церковь. Но мать не виновата, просто она темная, неграмотная. Виноват поп. И пионеры решают проучить его и открыть глаза Колиной матери.

Хороша пьеска! Ролей много, смешная. Но вот начинается распределение ролей и оказывается, что всё не так просто.

Маша хочет быть пионеркой, но Петр Николаевич не соглашается: «Ты высокого роста, пионеров должны играть невысокие ребята, а вот маму Колину и попа надо повыше ростом», — говорил он. Приходится согласиться на маму, хотя кому же охота играть отсталую женщину! «И чего это меня так вверх гонит, — огорчается Маша. — В классе чуть ли не выше всех, только двое мальчишек обогнали меня».

Переписка ролей, репетиции, подготовка декораций... Почему эти не столь уж важные дела запоминаются лучше, чем уроки математики и естествознания? Может, не со всеми так, но Маша принимает ближе к сердцу успех спектакля, чем свои отметки. Наверно, это от недостатка сознательности.

И вот премьера... По коридорам носится Зайченко с банкой желтой краски и кистями, — он только что сделал последние мазки на декорации и теперь ищет, что бы еще раскрасить. В одном из классов Вера Ильина складывает веером программки: их несколько десятков, нарисованных от руки, разные, есть очень даже красивые. Их рисовали лучшие художники школы и даже сам учитель рисования, сменивший злополучную учительницу. Две программки нарисованы папиным студентом Ильченко, — Маша попросила его об этом, когда он заходил к ним домой. Программки будут продаваться за деньги, сбор в пользу ребят, которым надо дать бесплатно горячие завтраки.

Зал битком набит — школьники, родители, учителя. Спектакль начинается. Петр

Николаевич с книжечкой в руках стоит за дверью на сцену и суфлирует. Он сам руководил кружком, сам был режиссером спектакля. Роли ребята выучили хорошо.

Последнее действие — поп в гостях у Колиной мамы, и вдруг ему навстречу выкатываются два черномазых чёрта с хвостами и предъявляют счет. Потому что наживается он, пугая народ чертями, зарабатывает на чертях. Поп соглашается оплатить счет, и тогда Колина мама начинает понимать, что он брехун. Она гонит его прочь и вдруг видит, что черти — это переодетые пионеры... Звено строится и вместе с Колиной мамой идет в клуб вместо церкви. Все хором говорят о своей победе и заключают:

*Маршируем мы гордо и прямо,
Мы — «Безбожник» — лихое звено.
Знаем, знаем мы: скоро все мамы
С сыновьями пойдут заодно!*

Пьеса имела успех. Может, Петр Николаевич и не выбрал бы эту пьесу, если б рядом со школой не стояла старая церковь. Весной вокруг нее устраивался крестный ход, многие матери таскали с собой туда ребятшек. Зрелище — всегда зрелище, а в церковь к тому же пускали бесплатно, — надо было отвлечь ребят от этого дурмана, показать смешную сторону его. С этой целью учитель химии устроил лекцию с раскрытием разных фокусов и тайн, а к майским дням поставили пьесу «Коля в плену». В связи с политехнизацией, в школе стали работать кружки — слесарный и переплетный, куда тоже записалось много ребят, особенно мальчиков.

Приближались дни летних каникул. В школе состоялось собрание учеников, на котором Машу Лозу торжественно выбрали председателем учкома.

Она была немного удивлена, немного испугана, но до конца еще не осознала, что произошло. Когда в учкоме распределили обязанности и с помощью директора школы составили план работы, Маша рассеянно встала и пошла, как и все, домой. Ее окликнули в коридоре:

— Лоза, свяжись с вожатой, надо выделить докладчика на вечер в базу...

Маша стала бегать по всем этажам, искать вожатую. Но ее не было, наверно, она ушла домой. Надо выделить докладчика... Сегодня же, или можно завтра? Спросить некого, потому что в школе уже никого не осталось, кроме нянечек. А вдруг надо было именно сегодня?

Дома она ела холодный обед, — мама задержалась на работе, а примус не разжигался, пришлось всё есть, не разогревая. Володька почему-то капризничал, порвал нужную тетрадку, — она шлепнула его легонько, и он задал реву. В это самое время пришла мама и стала утешать своего младшенького, а попутно поругала Машу за рукоприкладство. Пришел с работы отец, и все стихли — было известно, что папе шум мешает. Вечером Маша села делать уроки. Перо всё время брызгало, то и дело получались ошибки, приходилось перечеркивать и писать снова. К тому же докладчик так и не был выделен.

В одиннадцатом часу отец вошел в комнату и увидел дочку за столом. Она сидела и плакала, слезы капали на переписанное упражнение по грамматике.

— Что ты, доченька? — спросил отец, погладив ее по голове своей большой теплой рукой.

— Меня... выбрали, а я... а я не умею... — заревела Маша, растирая по лицу слёзы. — Выходит, я не честно... Выходит, что у меня ничего не выходит... Докладчика не выделила...

Он посмеялся, погладил ее несколько раз по голове, посмотрел на нее молча.

— Я знаю взрослых дядей, которые должны разбить начисто некоторые вредные теории, и очень стараются, а у них тоже ничего не выходит, — сказал он, улыбаясь ей своей очень доброй, понятливой улыбкой. — Может, ты перегрузилась общественными делами, а? Я напишу в школу

записку и тебя освободят. Напишу, что ты переутомилась...

— Не надо! — взмолилась Маша. Она представила себе на миг, как Петр Николаевич будет читать такую записку, как посмотрят на нее ребята. — Не надо, не пиши, пожалуйста. Я как-нибудь научусь, только не пиши. Я докладчика завтра выделю. Колю Сорокина. Он самый развитый у нас.

На другой день она нашла вожатую и сделала что следует. Но трудности только начинались. Некоторые дежурные по коридорам и раздевалке плохо дежурили и сами бузили. Колька Зайченко, будучи дежурным, так набил одного паренька из младшего класса, что самого дежурного повели к директору. Самое обидное было то, что Маша прибежала на место происшествия и пробовала остановить Зайченко, но не сумела. Он стоял, весь взъерошенный, весь наготове, и никакие слова не долетали до его ушей. И он стукнул противника на глазах у Маши.

Значит, у нее нет авторитета, значит, она плохой председатель, — мучила себя Маша. Другие, правда, слушались, а Зайченко и в пионерском галстуке всё такой же. Что с ним делать?

Глава одиннадцатая

— Этим летом мы поедem на Украину, — сказала мама, — на нашу ридну Вкраину.

Вечер. Пароход идет по просторной спокойной воде. Слева — кручи в зеленых кудрях садов и рощ, справа — широкая, пологая гладь, окаймленная низеньким ивнячком. Над самым Днепром лежит большая оранжевая луна, чуть касаясь воды. Тихо-тихо на реке, изредка плеснет рыба да послышится крик в камышах, и снова покой. Вода темнозеленая, теплая, — молчит.

На палубе парохода на вещах лежат Володька и Сева, мама дремлет рядом на скамейке. Маше не уснуть, кругом всё красивое, сказочное, — проспишь и никогда не увидишь больше такого! Вечерний полумрак густеет, вода за бортом становится черной, как деготь, небо гаснет. Бежит пароходик, бежит по древнему Днепру, как зачарованный. Сотый раз бежит, а капитан всё смотрит и смотрит на спящие берега, словно впервые красоту эту видит.

Они сошли с парохода ночью, еще до рассвета. Наперебой заливались соловьи, наслаждаясь теплом летней ночи, точно самый воздух шелкал, свистел, лепетал. Извозчик тихо вез их по улочкам спящего городка, пахло цветущим табаком, мятой, влажными листочками смородины. Соловьи неистовствовали, осыпая вишневые сады хрусталем своих посвистов. «Какая я счастливая!» — подумала Маша. Под колесами похрустывал сыроватый дорожный песок.

Они поселились на самой круче, отвесно обрывававшейся над рекой. Утром, проснувшись пораньше, Маша бежала на кручу и ныряла сначала в ветер, летевший к ней навстречу с Днепра, пока она спускалась по крутой отвесной тропинке к реке, а потом — в холодную, острую воду, вскрикивая от свежести и хлопая себя по плечам ладонями. У берега плескались плоты из огромных сосновых бревен. Поплавав у берега, она взбегала на плоты, скользя босыми ногами по круглым хребтам бревен, и по плотам добегала до середины реки. Нырять оттуда Маша не решалась, — мальчишки рассказывали, что под плоты тянет, что туда затянуло однажды одного хлопчика и он не выбрался. Она стояла над водой, покачиваясь на толстых бревнах, и смотрела на тот берег, далекий и потому заманчивый. Днем, освободившись от домашних дел, выйдет к Днепру Петька, сядет в свою лодку и заберет всех желающих на тот берег. Там мелко, там белый серебристый песок, рифленый мелкой волной, весь в перламутровых бликах солнца. Туда заходят стайки крошечных мальков, похожих на комаров, и с быстротою молнии уносятся в другие места. А на песке — белые с сиреневым отливом ракушки, кое-где сухие водоросли и камыш — дары щедрой реки.

Как свободно дышится посреди Днепра в четырнадцать лет! Всё смогу, всё сделаю, всему

выучусь, всего достигну! Как хорошо, что я родилась! Как щедро светит солнце, как упоительна красота Днепра! Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои... Невольно начинаешь говорить словами Гоголя, а кажется, что слова эти твои собственные и рождаются они от счастья, которое дает эта вольная воля, эта первобытная могучая красота.

Бродила по берегу, а сверху нависала земляная, глиняная гора. Вдоль берега можно было дойти до оврага, по которому бежал чистый ручей, — ох, и вкусная вода в нем! Поднявшись вдоль ручья, можно было выйти из оврага и дойти до Змеиного болота, — дальше ходить не полагалось. В болоте было много змей, туда бросили разбойники убитого старика-купца, — давно это было, рассказывают...

Четырнадцать! Больше она уже не ребенок, больше нельзя уже купаться нагишом. Вольготно было смешаться с орущей веселой оравой, кувыркаться в воде, завязывать узелки на чьем-нибудь бельишке, лежащем на берегу.

Всё еще стыдно собственного, неизвестно зачем изменившегося тела. Только в краску вгоняет. Как не хотелось становиться взрослой! Как это было временами страшно. Что же хорошего в этом переходе в старший возраст? Может быть, придет время, когда Маша порадуется тому, что взрослая. Но расставаться с детством так не хочется!

«Всё равно, я не буду признавать этого и буду вести себя, как прежде», — сказала себе Маша. Но больше она не могла вести себя, как прежде. Она бегала, лазила на деревья, но как только замечала, что на нее кто-нибудь смотрит — заливалась краской и старалась сделаться незаметной.

Было в этом смущении и что-то приятное. Незнакомые глаза смотрели на нее внимательно, ласково, иногда вопрошающе. Чем-то она была интересна людям — это утешало.

Лето бежало прибрежными тропками, оврагом, заросшим бузиной и боярышником, оно брызгалось свежей речной водой, водило по глухим рощицам и садочкам. Петька, сын хозяйки, возил их на лодке до Канева, они взбирались на могилу Тараса Шевченки, пели «Як умру, то похороните», «Реве та стогне» и другие украинские песни.

Однажды к берегу приплыло два маленьких бронекатера. Вечером матросы рассыпались по берегу. Они вбили в землю два столба, повесили белый полотняный экран и стали показывать кинофильмы. Билетов не брали, залом служил весь берег, куда стеклось много девушек. Кино можно было смотреть и сверху, с кручи, только всё казалось очень маленьким. На катерах над палубой горели цветные огоньки. Маша со знакомыми девочками спускалась вниз и украдкой смотрела кинокартину из-за кустов лозняка. Картина была про декабристов, на экране появлялись люди, одетые по-старинному, они спорили, беззвучно произносили речи, прощались с красивыми женщинами. Мама могла рассердиться, если Маша придет слишком поздно, — и с окончанием фильма Маша быстро карабкалась по знакомой тропке наверх.

Она спешила так в темноте и вдруг перед ней возник матрос в холщовой робе с выгоревшим голубым воротником-гюйсом. Он был молодой, с темным чубчиком над глазами. Увидев на тропинке девушку в белом платье, он сказал негромко:

— Ты, Галя? Куда ж ты пропала?

— То не Галя, — ответила Маша и хотела увильнуть с дороги, но матрос взял ее за обе руки и притянул поближе:

— Как же не Галя? Ой, да и ты, дивчина, не хуже!

Маша вырвалась и убежала.

— Куда же ты! Я не обижу, постой! — крикнул парень, но она уже добралась до вершины горы. В сандалии набился песок, ветер обдувал горячие руки, а сердце билось сладко-сладко. Ни за что она не спустилась бы сейчас по горе, но как хорошо было слышать эти случайные слова:

«Ой, да и ты не хуже!».

Петь, петь хотелось над этим разлившимся на версты Днепром, и они пели по вечерам, девочки и хлопцы пионерского гуртка. Пели русские, украинские песни, старые и новые, пели, а Петькин старший брат подыгрывал на мандолине. Маша захотела сфотографироваться на память в украинском костюме, и соседская девочка дала ей вышитую сорочку, плахту и мониста. Было жарко и непривычно в чужом костюме, фотограф долго пересаживал Машу с места на место. Карточки получились плохие, она выглядела сердитой и казалась старше своих лет.

— Плохая карточка, — признали девушки, — но ты ведь и без карточки, будешь Украину вспоминать, а? Письма писать нам будешь, а мы тебе.

— И я тебе писать буду, — заявил Петька. — Только отвечай!

Она вернулась в Ленинград загорелая, сильная, отдохнувшая, и сразу написала девочкам письмо. В ответ пришло три. Кроме девочек писал Петька и какой-то Митрий Недоля. Что за Митрий? Стала вспоминать и вспомнила: это был паренек лет пятнадцати, тихий, с задумчивыми светлыми глазами. Он приходил на реку только к вечеру, видимо, занят был днем, иногда купался со старшими парнями, иногда молча сидел на плоту и грыз травинку. Он редко говорил, чаще слушал и смотрел, смотрел на реку, на ребят, на траву, на подсолнухи, на дальний берег. Про него Маша никогда ничего не слыхала.

«Дорогая товарищка Маша, — писал Митрий, — не удивляйся, что я пишу тебе. Я и тогда хотел поговорить с тобой, когда ты читала на берегу стихи Безыменского, помнишь? Но говорить я не так смелый, а написать легче. Я тебя часто вспоминаю, и твои ленинградские песни, и как ты бегала с горы. Я ж тоже трохи поэт, только мои вирши простые и их легко раскритиковать... Но если ты захочешь, я пришлю тебе свои вирши, только ты не бросай так мое письмо, а ответь на него. Может тебе скучно читать мое письмо? Говори одну правду, я не боюсь. Желаю тебе успехов в учении и в жизни. Митрий Недоля».

Вот и ей написали... Вот и о ней вспоминает кто-то. Милое письмо. Но как это она там, на Днепре, не обратила внимания на этого тихого парня? А он посматривал на нее, часто смотрел, но ни разу ничего не сказал. Славный парень. Интересно, что за стихи у него...

Маша ответила Митрию и получила в следующем письме стихи, написанные по-украински... Стихи о Днепре, о садах, о солнце, о бескрайных раздольях. Стихи о теплом ветре, который приносит знакомые голоса аж с самого севера, аж с Ленинграда... Митины письма она читала всегда с радостью, вспоминая далекие теплые края.

Но в школу хотелось, хотелось! Где вы, друзья мои, товарищи, жившие летом в лагерях, в деревнях у родных, на дачах! Соскучилась по вам.

В первый же день, как она прибежала в школу, вожатая встретила ее радостно:

— Наконец-то, я ждала тебя, дожидаться не могла. Наш комитет комсомола просит помощи. Надо организовать ребят на субботник, морковку дергать. Мировая морковь, а убирать не успевают.

Пионерская база, в которую входил отряд Машиной школы, значилась при комсомольской организации районного кооператива. У кооператива были свои огороды под Ленинградом, свои хозяйства. Маша собрала старост, объяснила задачу. Башибузук Зайченко написал плакат: «Все на субботник!». Внизу плаката надпись, — где и когда собираться, а по бокам нарисованы две аппетитные красные морковки.

Ребята собрались в воскресный день утром. Моросил дождик, и Маша стала беспокоиться, что ребята разбегутся. К тому же, надо было ехать на трамвае, не у всех были деньги на билет. На всякий случай она попросила у мамы рубль.

Всю дорогу они не умолкали, болтали, пели, заново знакомились после лета. Погода словно бы тоже развеселилась, проглянуло солнце.

Наконец показалось широкое поле, на котором ровными рядами торчали из земли султаны мелко, словно ножницами, настриженной зелени. Коля Сорокин нагнулся, схватил зеленый пучок и дернул кверху. Красная морковка с комочками сырой налипшей земли была увесистая, толстая.

— Разделитесь на звенья и возьмите себе грядки, — скомандовал комсомолец из комитета. — Пробовать морковку можно, в карманы класть нельзя.

И пошло. Дело оказалось легче, чем думали городские ребята. Это не картошку копать! Горы кирпично-красной морковки понемногу вырастали на грядках. Кто выдергивал морковь из земли, кто обрывал зелень, кто укладывал в корзины.

Маша работала старательно. Высокая, она нагибалась до земли, но не чувствовала усталости или ломоты в спине.

Время от времени она оглядывала свое войско. Конечно, не она одна организовала ребят. Но и ее доля здесь есть. Дисциплинка, вроде, ничего. Зря этот парень из комитета сказал, чтоб в карман не клали... Никто и не подумал бы.

Работа была выполнена, как надо. Когда возвращались домой, дождик пошел снова, но его уже никто не замечал. Комсомолец из комитета стоял на передней площадке прицепного вагона с мальчишками и смешил их какими-то рассказами.

— Вот тоже подходящий товарищ, — сказал он, посмотрев на Машу. — Ты какого года?

Она ответила.

— Весной в комсомол подавать можно будет. Так что — готовься, почитать надо кое-какие книжицы. Я принесу список.

Комсомол...

Он сказал это так просто, легко, будто в комсомол вступить — всё равно, что в пионеры. Но Маша-то знала, что комсомол — это не вторая ступень пионерской организации. Пионеров в стране очень много, а комсомольцев поменьше. В комсомол вступают только лучшие пионеры.

Чтобы вступить в комсомол, надо разбираться в политике. Правда, политикой Маша начала интересоваться очень рано. И отец дома часто рассказывал о политике, рассуждал, высмеивал некоторых своих сослуживцев.

Недавно с отцом произошел случай, имевший безусловно прямое отношение к политике.

Летом отец был в экспедиции на Алтае. Вернулся загорелый, с отросшими волосами. Высушенные растения, семена и орехи, которые он привез, все находились в институте, и видеть результат экспедиции детям не удалось. Только однажды, когда мама по какому-то делу послала Машу к отцу на службу, — Маша увидела эти алтайские коллекции. Коробки с семенами лежали в ящиках вдоль стен, огромные картоны с распрямленными высушенными растениями были разложены на длинном столе.

В институт к отцу Маша заходила редко, но всегда с интересом рассматривала стеклянные шкафы, тянувшиеся вдоль коридоров. За стеклами стоял бесконечный строй коробок с латинскими надписями, картоны с различными колосками, початками кукурузы, с какими-то неизвестными цветами розового и сиреневого цвета, в которых вовсе не легко было узнать цветы картошки. Среди них попадались застекленные коробки с коллекциями жуков, бабочек-вредителей. В других шкафах стояли книги с кожаными корешками, коричневыми, темнокрасными, темнозелеными. Маша пробовала прочесть названия на корешках, но не смогла. Много книг было на иностранных языках. Здесь, в длинных институтских коридорах, всегда было очень тихо, и старички в черных шапочках, встречавшиеся в коридоре, переговаривались друг с другом вполголоса. «Так разговаривают рыбы или кролики», — думала Маша.

Жизнь отца шла очень напряженно, она была насыщена трудом и заботами и не оставляла времени на болтовню. Она совсем не походила на обычную жизнь научного работника в старое

время, весь быт был совершенно иным. Отец не стыдился сидеть над книгами, как школьник, с жадностью читал поразившие его места, и мир раскрывался перед ним, обнажая новые, прежде неизвестные стороны. Изучая законы диалектики, он даже вообразил однажды, что открыл еще один новый закон, доселе неизвестный. Но, не доверяя себе, проштудировал еще десяток книг и убедился, что ошибся. О своем «открытии» он сообщил только жене: она не смеялась, она понимала, что с ним делается. Позже об «открытии» узнала и Маша.

А кроме того, он был профсоюзный активист, председатель месткома. В институте, где коммунистов было в те годы очень мало, профсоюзу хватало забот. Отец с возмущением рассказывал дома о том, сколько у них отсталых, несознательных научных работников. Когда в канцелярии института он повесил портрет Ленина, один из сотрудников, Игорь Анатольевич Штраль, улыбнулся снисходительно и заметил:

— Теперь у нас свой Кузьмич будет. — Какой Кузьмич?

— Ну, Лукич... То-есть, Ильич.

— Постыдились бы, — сказал ему коротко Борис Петрович. Но Игорь Анатольевич даже не смутился. В жилах его текла «голубая» дворянская кровь и его раздражало это мужицкое имя, каким рабочие называли любимого Ленина — «Ильич».

Домой отец приходил пообедать и поспать часок, после чего снова отправлялся в институт. В восемь вечера он возвращался домой, ужинал вдвоем с женой, пилил дрова и снова садился за письменный стол, теперь уже часов до трех ночи. Иногда, впрочем, он ездил вечером в Дом безбожника читать популярные лекции, начало которым в его жизни положил комиссар Медведев.

Об экспедиции отец рассказывал за ужином. Всё в этих рассказах получалось очень интересно, увлекательно, в меру опасно (в меру потому, что мама была слишком нервная и слишком любила мужа, чтобы не волноваться за него). Но при детях он не всё рассказывал.

Однажды — дело было под выходной день — Маша дольше обычного читала в постели. Захотелось есть. Она встала, сунула ноги в туфли и вышла в столовую.

Дверь в кабинет отца была открыта. Мама, верно, лежала уже в постели, а отец всё еще сидел за столом. Но он не писал, а всё рассказывал маме о своем путешествии. Маша прислушалась.

— Гродзенский меня явно преследует. На Алтае, у чёрта на рогах, в дебрях я опять увидел эту костяную физиономию. В день отъезда я засыпал сухим песком экземпляры дикого чеснока возле палатки, гляжу — из лесу появляется охотник. С ружьем, у пояса какие-то птички болтаются и фотоаппарат маленький, немецкий. Коллектор наш Максим строгал какую-то доску. Охотник этот подошел к нему и попросил позвать профессора Штраля. А Игорь Анатольевич куда-то отлучился, приходится гостю ждать. Я стою у стола, сыплю песок в коробку и — чувствую за спиной кого-то. Знаешь, бывает, что смотрят на тебя сзади, а ты чувствуешь. Обернулся я, — а он посмотрел мимо меня и повернулся спиной. А Максим уже Игоря Анатольевича ведет... Тот как увидел, сразу — в объятья: «Какими судьбами?». Но охотник взял его под руку и увел в лес. А возвратился наш Игорь Анатольевич спустя часа полтора один. Я его спрашиваю: кто это был? Говорит, один знакомый, большой оригинал, коллекционирует гравюры, так специально разыскивал меня, уговаривал продать ему листы-гравюры Шишкина. Никак, мол, не мог уговорить его с нами поужинать. Не мог! Вот и решай, как знаешь. Зачем приезжал?

— Господи! Сколько еще всякой швали живет на свете! — послышался голос матери. — Он и убить тебя мог, чтобы свидетеля не было. Говорила я тебе, Боря, оставь эти экспедиции. Пусть уж молодежь ездит, а ты за столом работай.

— Надо бы рассказать об этой встрече в парткоме. Да неловко: скажут «у вас

психастения»...

Вскоре на имя отца пришло письмо. Маша сама вынула его из голубого почтового ящика, прибитого на двери, и вручила отцу; был обеденный час и все сидели за столом. Отец тут же надорвал конверт и начал читать. Глаза его щурились всё больше, лицо кривилось. Прочитав, он бросил письмо на стол и сказал маме:

— Можешь поздравить: анонимка. Вот познакомься, — и он вручил ей письмо, написанное круглым женским почерком, лиловыми чернилами.

В письме содержались угрозы — рассказать всюду о службе Бориса Петровича у Деникина и в «Заготпроде». Кончалось оно поговоркой: «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами».

— Идиот, — сказал папа, — неужели он думает, что я на чистке не рассказал о деникинской мобилизации? О «Заготснабе», правда, говорил без подробностей. Пойду в партком и анонимку эту прихвачу.

— Неужели это Гродзенский? — испуганно сказала мать, не обращая внимания на детей.

— Может быть. С чего бы мне угрожали? В связи с чем? Конечно, в связи с этой встречей на Алтае. Опоздало письмо, я уже принял решение. А если бы раньше пришло оно, — разве это меня остановило бы?

— Боренька, мне почему-то жутко делается за тебя, — сказала мама, бессмысленно глядя в тарелку. — В такую перепалку попасть...

— Что поделаешь. Два мира, две системы. Прежде нас приучали, что теория это одно, а практика другое. А на деле не так. Всё, что Ленин написал и что сегодня партия в газетных передовых нам говорит, всё это — жизнь, практика. Это называется классовая борьба. Ты только попусту не волнуйся, никто меня убивать не собирается.

Глава двенадцатая

В Машиной классе появился новичок. Это был худенький мальчик с тонким, узким лицом, острым носиком и добрыми глазами. Его привела мать. Он вошел в класс, сел на свободное место, а она всё еще стояла у двери и смотрела на него грустными глазами. Прозвонил звонок на урок. Маша спешила в класс и в дверях чуть не столкнулась с мамашей новенького.

— Вы... его не обижайте, он хороший мальчик! — просительно сказала женщина и ушла.

Странная просьба! Словно тут всех обижают. Новенький не понравился Маше: у него был мышинный, писклявый голос, сам он был страшно робкий, краснел от всякого пустяка. Давно ли Маша сама сгорала от смущения, входя в класс? Сейчас она осмелела и забыла о прежних страхах. И совершенно безжалостно, бездумно стала подтрунивать над новичком.

Когда на занятии по физкультуре выстроились в один ряд, выяснилось, что новенький — довольно высокого роста, его поставили рядом с Машей. Но он ничего не умел, подтягивался на турнике с мучительным напряжением и не больше одного раза. Пройти по буму не смел — у него кружилась голова. Однажды Зайченко во время возни в перемену стукнул его легонько в грудь, новичок отвернулся и заплакал.

Его звали Виктор Гордин. Маша, обычно отзывчивая и добрая, почему-то придиралась к этому хилому пареньку, дразнила его и не защищала от других. Однажды она увидела у него на руке нарисованные чернилами инициалы. Там, несомненно, была буква М и еще какая-то, не сразу разберешь. Всё вместе было похоже на полураскрытый зонтик.

Учитель рисования, завоевавший всеобщую любовь после того, как принял участие в спектакле в качестве гримера, устроил экскурсию на острова. В первый же солнечный день он отвез ребят на Стрелку. Здесь он учил ребят замечать красоту осеннего пейзажа, показывал им маленькие мостики над водой, хрупкие, точно сделанные из спичек, учил выбирать вид

поживописней и даже предложил зарисовать, кому что придется по душе. У всех были с собою альбомы для рисования и карандаши.

Маша выбрала себе местечко на зеленом пригорке, села и стала рисовать. На бумаге всё теряло свою красоту. Но всё же, можно было схватить и переложить на бумагу контуры деревьев, свисающих ивовых ветвей, легонького мостика.

— Да ты настоящая художница!

Это сказал Витя Гордин, заглянув в листок, который Маша держала на коленях.

— Не смей смотреть!

Она покраснела и закрыла листок руками.

Витя ушел тотчас, и не попытался спорить. Он сел под деревом и стал что-то чиркать в своем блокноте.

На другой день он подошел к ней до уроков, шутовски раскланялся и протянул ей сложенный вдвое листок из тетради по математике:

— Синьора... Имею честь преподнести вам оду...

С этими словами он всё-таки покраснел до корней волос, и его светлые ресницы и брови стали совсем белыми. К счастью, никто не обратил на них внимания — ребята возились в коридоре.

Маша с любопытством раскрыла сложенный вдвое листок. Ей никто еще не сочинял од. Интересно!

Она прочитала:

*Как, Маша, чудно ты рисуешь,
Зачем мой взгляд ты так волнуешь,
Зачем закрыла предо мной
Свое художество рукой?..
Желаю, Маша, вам успеха,
Я, стихоплёт, вам не помеха,
Хотел я оду написать —
Пришлось всё снова сочинять.
И написал я вам посланье
На первый раз и на прощанье.*

Вот так тихоня, вот так Виктор Гордин! Она перечитала стихи несколько раз и чуть было не получила неуд, когда учитель вызвал ее к доске. В душе она ликовала: всё-таки, он написал это ей, а не той, чьи инициалы нарисованы у него на руке чернилами.

— Очень приятно, — сказала она ему в перемену. — Ты, оказывается, сочиняешь?

— Нет, это я просто так, от скуки.

— Почему же, стихи хорошие. Что же ты своему «зонтику» не сочинишь чего-нибудь?

— Какому «зонтику»?

— А тому, который у тебя на руке нарисован.

Виктор покраснел снова. И ничего не сказал.

— Кто этот «зонтик»? — продолжала Маша. — Или это тайна?

Виктор окончательно растерялся.

— Догадайся сама, — ответил он, наконец.

Маша стала разгадывать. Она дразнила Виктора, придумывала необычайные женские имена и фамилии. Потом надоело, и она перестала замечать Гордина.

Здоровье у него, действительно, было неважное. Начались осенние дожди, и Виктор простудился, стал кашлять, слег. Он не ходил в школу неделю, две. Ребята стали беспокоиться, советоваться с Петром Николаевичем — как быть?

Петр Николаевич вызвал к себе Витину мать и побеседовал с ней. Потом он оставил после уроков Машу, Сорокина и Ильину и сказал им:

— Плохи Витины дела, выручать надо товарища. Пропустил он много и боится осрамиться теперь. Вы ведь знаете, какой он самолюбивый.

Разве? Маше это никогда не приходило в голову.

— Так вот, надо, чтобы человека три пошли к нему от класса, подбодрили, сказали, что помогут. Ты, Лоза, пошла бы, и еще из мальчиков кто-нибудь.

Вот так комиссия! Маша замялась, но отказываться не следовало. Еще подобрали двоих ребят и пошли.

Дверь открыла Витина мать. Она очень волновалась, пока не вышел из соседней комнаты Виктор и не завязался разговор. Витя благодарно посматривал на Машу, а она вела себя совсем по-новому: не дразнилась, но и не сочувствовала, просто деловито рассуждала, кто по какому предмету поможет Виктору. Она поможет по-немецкому. А вообще-то не так уж много прошли без него.

Когда Виктор вернулся и стал заниматься снова, Петр Николаевич рассказал ребятам по секрету, что Виктор хотел бросить школу, и его мать очень боялась этого. С отцом они не живут, он их оставил, когда Виктору было еще четыре года, и мать очень беспокоится, сумеет ли она справиться с воспитанием мальчика.

Виктор учился нормально, но вести себя стал почему-то хуже. Новичок-второгодник Васильев показывал ему какие-то стишки, перепечатанные на папиросной бумаге, и Виктор краснел, смеялся и часто оглядывался, не смотрит ли Маша. С нею он стал резок, по всякому поводу спорил. И только «зонтик» он рисовал на руке попрежнему.

Маша не знала, что они там читают с этим Васильевым. Васильев ей не нравился, особенно его усики, которыми он, видимо, гордился. Однажды она подошла к ним во время перемены и попробовала отнять грязный засаленный листок. Виктор скомкал его в руке, оттолкнул Машу и сказал:

— Кто тебя просит соваться? Тоже, классная дама. Не твоего ума дело.

И это говорил он! Виктор Гордин, такой болезненный, вежливый мальчик! Маша с ненавистью посмотрела на Васильева: гадина. Принес в класс какую-то грязь. Он и смотрел-то на девочек не так, как все ребята. Его хотелось ударить по лицу, не дожидаясь повода.

— Ну, если так, я с тобой и разговаривать не стану.

— Пожалуйста, — ответил Виктор вызывающе, но в лице его мелькнуло что-то жалобное.

И они больше не разговаривали. Конечно, Маша не перестала думать о Васильеве. Она поделилась своим впечатлением с Колей Сорокиным и он только плюнул: мерзкий тип этот Васильев! Внешне он не нарушал правил поведения и его нельзя было привлечь к ответу. Но всё его поведение отталкивало. Он называл себя Вилли, хотя был самый обыкновенный Васька. Приносил в класс какие-то мерзкие открытки, обнаруженные им в ящике отцовского стола, и по секрету показывал их Гордину и Зайченко.

Васильев учился кое-как, однако, многое было знакомо ему по прошлому году, поэтому он почти не получал неудов. Но само присутствие в классе этого долговязого парня, хваставшегося, что в воскресенье он гуляет по Лиговке, и носившего огромную клетчатую кепку, плохо действовало на класс, разлагало дружную школьную семью. Тамара вклеила в свой альбомчик для стишков портрет киноартиста Гарри Пилля, а Вера Ильина раздобыла у знакомого киномеханика два кадра пленки тоже с чьим-то портретом, рассматривала их на свет и,

показывая подругам, говорила: «обожаю»...

Однажды во время большой перемены Маша вышла из класса позже других. У дверей стоял Вилли и чем-то хвастался Гордину. Неподалеку еще один новичок из Белоруссии — Майданов читал старый номер стенгазеты, висевший еще с октября.

Маша хотела пройти мимо Васильева, но он осторожно подставил ей ногу и одновременно протянул обе руки, чтобы подхватить ее, когда она споткнется. Она брезгливо отвела его руки.

— До чего глупые шутки! — сказала она без улыбки.

— А почему не пошутить с хорошенькой девочкой?

— Пижон ты и больше ничего.

— А тебе не идет быть такой строгой: девочка в самый раз... — и он описал в воздухе рукой волнистую линию.

Маша покраснела до слёз. Ее и так смущало то, что она становилась всё взрослей и взрослей. А этот червяк, мокрогубый какой-то... И она простит?

Но не успела Маша сообразить, что же ей сделать, как вдруг что-то мелькнуло перед глазами, быстро, как в кино, чьи-то руки, русский вихор. Что-то шлепнуло звонко, и Вилли схватился за щеку. Теперь она рассмотрела: новенький из Белоруссии ударил Васильева по лицу.

— Ты что? — крикнул ошарашенный Вилли.

— Ничего, — резко ответил Майданов, глядя Васильеву прямо в его бесстыжие глаза. — Еще поговоришь, еще получишь.

И вдруг в коридоре, неизвестно откуда, появился заведующий школой. Он всегда имел свойство вырастать из-под земли там, где его не ждут:

— Кто затеял драку?

— Он... ударил меня, — Вилли злобно показал головой на Майданова. Щека расцветала красным пионом, Вилли не лгал.

— Ты? — резко спросил заведующий Майданова, обернувшись к нему.

— Я.

— Вы что... маленькие? За что ударил?

Майданов молчал.

— За что он ударил тебя? — спросил заведующий Васильева.

— Обозлился...

— Да объясни ты, наконец, Майданов, за что ударил?

Майданов молчал, не сводя глаз с Васильева.

— Ты скажешь или нет? Хочешь, чтобы я дядю вызвал? Мало ему забот.

Но Майданов молчал, как Кочубей на пытке. Не скрывая ненависти, смотрел он на Васильева и не выказывал никаких знаков раскаяния.

— Ну вот что, нянчиться с вами я не намерен, — сказал заведующий. — Вон какие женихи выросли, а дерутся, как сопливые мальчишки. Не хотите объяснять мне — будете объяснять на совете отряда.

— Да ладно... — сказал вдруг Васильев, словно чего-то испугавшись. — Мы лучше помиримся.

— Испугался? — спросил Майданов, словно был пострадавшим, а не зачинщиком.

Заведующий с интересом наблюдал их и решил каждого вызвать к себе в отдельности для объяснений. Эффект оказался неожиданным. Васильев принес заявление с просьбой отпустить его учиться в фабзавуч. Сцену в коридоре видела не только Маша, ее видели многие. Симпатии ребят были явно не на стороне Васильева: в школе не должно быть места таким. Девчонки — товарищи, и нечего говорить гадости.

Еще в начале учебного года Маша пришла на делегатское собрание ТЮЗа и узнала, что

можно записываться в кружки. Бегло просмотрев список, она увидела, что руководителем кружка театральной критики будет артист Пуриц. Тот самый, без которого не обходится ни одна пьеса, если в ней надо сыграть красивого, благородного и молодого героя.

Что говорить: пятьдесят копеек было уже затрачено на фотографию артиста Пурица в роли прекрасного разбойника Карла Моора. Втихомолку Маша доставала эту карточку с печатью ТЮЗа на обратной стороне и подолгу разглядывала ее. Артист, волшебник, перевоплощающийся то в одного, то в другого... Многие девчонки кого-нибудь обожали, это было смешно. Нет, она не обожает, ей просто нравится это мужественное, смелое лицо, высокий лоб, крупные кудри... На всякий случай она не приносила карточки в класс, чтобы не высмеяли ребята. Но каждый поход в театр, где можно было увидеть любимого артиста, был для нее праздником.

Конечно, она записалась в театрально-критический кружок.

На первое занятие она пришла в страшном волнении. Трамвай задержался из-за какого-то пьяного пассажира, и она чуть не опоздала. Быстро разделась на вешалке, быстро побежала вверх. Вот и комната, где будут занятия.

Маша заглянула в дверь. Все уже собрались, только руководителя еще нет. В комнате сидели одни девчонки! Толстые и худенькие, стриженные и с косами, они сидели, сжав в руках блокноты, готовые смотреть в рот своему любимцу и записывать каждое его слово.

На делегатском собрании мальчишек было больше, чем девчонок. Здесь же собрались одни девы. Он же сразу заметит это, поймет. Это всё поклонницы. Неужели им не стыдно? Неужели самолюбие не подскажет им, как смешны они, сбившиеся в стадо, притворяющиеся, что их интересует театральная критика?

Она стояла в дверях, не решаясь войти и занять место.

— Позвольте пройти, сейчас начнем занятие, — сказал между тем знакомый голос.

Артист легко отстранил Машу с пути, чуть коснувшись ее плеч. Мест уже не было, но уборщица принесла еще два стула, и Маша села на один из них, рядом с пышногрудой девушкой в очках.

Пуриц стал рассказывать о театральных кружках в школах, о диспутах, обсуждениях спектаклей. Девушки благоговейно записывали. Тишина стояла полнейшая.

«Захочу — и заставлю его со мной разговаривать, — подумала Маша. Ее злило присутствие целого стада поклонниц. — Подумаешь, артист! Вовсе он не божество. Ну, красиво выются у него волосы, ну глаза большие с диковинным, чуть наискось, разрезом. Ну и что же? Сейчас он со мной разговаривать будет».

— Скажите, пожалуйста, а с чего начать организацию театрального кружка? — с невинным видом спросила Маша, когда сообщение артиста было закончено.

Он ответил обстоятельно.

Маша снова подняла руку:

— Скажите, пожалуйста, какой спектакль стоило бы обсудить на первом диспуте? У нас некоторые считают, что надо обсудить какую-нибудь культурпьесу, потому что в ней всё новое. А другие считают, что лучше обсудить какой-нибудь спектакль, поставленный по знакомой книжке, — ну, «Тиль Уленшпигель» или «Принц и нищий»...

Артист опять ответил обстоятельно. Собравшиеся в комнате девушки поглядывали на Машу неодобрительно: всё она и она, другим нет никакой возможности поговорить с обожаемым артистом... Сейчас опять что-нибудь придумает, опять начнет: «Скажите, пожалуйста...».

И она, действительно, задала еще какие-то вопросы. Разговаривали двое — она и взрослый красивый мужчина, любимый артист всех этих сорока девчонок, битком набившихся в небольшой комнате.

Наконец, Пуриц посмотрел на часы и сказал, что на сегодня занятие кружка окончено.

Маша обвела взглядом девушек. Некоторые торопились подойти к артисту и спросить его о чем-то. Одна, краснея от волнения, держала в руке фотографию Пурица, такую же, как Машина, и набиралась храбрости, чтобы попросить автограф.

«Господи, какие же дуры... и я с ними вместе! — подумала вдруг Маша и чуть не расхохоталась вслух. — В очередь к нему становятся. И я. Ну нет, этот номер не выйдет!»

Она сбежала с лестницы на вешалку, перепрыгивая через ступеньку, нахлобучила чуть ли не на самый лоб вязаную белую шапочку с помпоном, сунула руки в рукава своего простенького пальто и пошла домой. Выходя на улицу, она рассмеялась неожиданно для себя самой, так что сидевший у ворот дворник в тулупе удивленно уставился на нее: идет одна и смеется... С чего бы это?

А ей было весело. Она поняла, что исцелилась от смешной болезни, обожания. Что там ни говори, эта эпидемия не миновала и ее.

Глава тринадцатая

Приближались зимние каникулы. Драмкружок ставил на этот раз настоящую, трудную пьесу, которую к тому же проходили в школе: «Недоросль» Фонвизина. Маше досталась главная роль — для этого у нее был подходящий голос и всё еще довольно мальчишеская фигура. Внутренне Маша была особенно счастлива, получив эту роль: значит она еще не обрела эту знаменитую женскую «красоту», которой так пугалась. Она еще могла сойти за паренька.

И вот, наконец, премьера...

Перед самым началом спектакля к Маше подошел Миша Майданов. Он играл учителя Цыфиркина и был одет в длинный потертый камзол:

— Лоза, у меня к тебе просьба. Собственно, не у меня, но я должен это выполнить... После спектакля мне надо поговорить с тобой об одном человеке. Пройдем в то крыло, где младшие классы, ладно?

— Ладно, — ответила Маша и тотчас забыла.

Спектакль прошел отлично. Вожатая, пока шел спектакль, всё время смеялась, а потом стала советоваться с воспитателями: не послать ли артистов в подшефный колхоз?

Зрители аплодировали долго, ладони у них горели. Довольные родители переговаривались по поводу игры своих детей.

Переодеваясь в специальной комнате, Маша вспомнила о просьбе Майданова. Интересно, о ком это он хочет поговорить? Она помазала лицо вазелином, как научил Константин Игнатьевич. Умывшись и передевшись, прошла в левое крыло, где размещались младшие классы.

Миша сидел на подоконнике и ждал ее. В этой части коридора лампочка не горела, но за окном, неподалеку, на высоком уличном столбе горел фонарь.

Маша села на подоконник с другого края, против Майданова. Он помолчал чуточку, а потом начал рассказывать ей о Викторе Гордине.

Она внимательно разглядывала Майданова. Волосы у него были подлинней и погуще, чем у ребят в классе, темно-русые, слегка волнистые. Глаза его всё время разговаривали, менялись, щурились, открывались широко. У него был крупный, резко вчерченный рот, обычно плотно сжатый, — в классе Майданов разговаривал мало. Почему она раньше не замечала его?

— Я обещал Виктору, как товарищ, помочь в деле, которое... которого... В общем, ты понимаешь, Маша: мы — народ обидчивый. Иногда и объяснить нельзя, за что обидишься на человека. Но бывает это именно тогда, когда дорожишь этим человеком, когда с ним связано самое лучшее, всё, ну, в общем, мечта...

«Он хочет сказать: когда любишь человека? Но почему же он не скажет?» — думала Маша. Между тем Майданов строго придерживался инструкции, которую получил от Виктора: слова «любовь» избегать.

— Я знаю: ты часто подсмеивалась над ним, над этими буквами, которые он выводит на своей руке. Но ведь это ты, это твои буквы, это твое имя...

«Вот оно кто «зонтик» — я сама...». Маша краснеет в темноте.

— Он при тебе вечно волнуется... Ну, сам не свой. Он не виноват, — говорил Миша, и голос его становится очень нежным, красивым.

«Говори, Майданов, говори дальше! Тебя так хочется слушать».

— Я знаю, что ты, Лоза, посерьезней других девчонок. Что тебе стоит быть с ним чуть-чуть приветливей, не смеяться над ним, первой подать ему руку? Ему всего и надо-то — чтобы ты посмотрела на него ласковее. У него сразу все дела наладятся. Можешь ничего ему не говорить, только не мучай его, пускай он видит, что ты им довольна. Один дружеский взгляд — и человек успокоится. У него такая сумятица в душе, даже жалко человека!

«Как хорошо ты говоришь, Миша Майданов! Кто тебя научил? Ты такой хороший товарищ!»

— В общем, ты всё поняла, Маруся, — говорит Майданов, и она настораживается: неужели это всё? Больше он ничего не скажет? Как хорошо он назвал ее: Маруся! Все говорят Маша и Маша, даже надоело.

— Я понимаю, — говорит Маша тихо и покорно. — Что ж мне делать?

— Он ждет тебя, хочет помириться. Сейчас мы пойдем к вешалке, он попадетсЯ у лестницы навстречу, и тогда ты сама, первая протяни ему руку. Даже говорить ничего не надо, ты увидишь, что с ним станет. Ты сама не знаешь, как много можешь хорошего сделать.

Они встали с подоконника и пошли. На прощанье Маша благодарно оглядела этот уголок школы: раньше она не знала, как тут уютно и хорошо. И этот фонарь с улицы светил так мягко, приглушенно. И видно всё было, и не мешал свет, не смущал никого.

У лестницы навстречу им вышел Гордин. Он вспыхнул беспричинно, брови его стали совершенно белыми. Маша протянула ему правую руку и он схватил ее влажной и худенькой своей пятерней, схватил и пожал.

— Мир? — спросила Маша смущенно.

— Мир, — ответил Гордин, а Миша Майданов побежал вперед на вешалку, прыгая через две ступеньки. У Гордина в глазах сверкнули слёзы. У Маши тоже неизвестно почему запершило в горле. До вешалки они спускались молча.

— Пошли вместе домой? — спросила Маша Виктора. — Ты же мой сосед.

— Пошли, — нерешительно сказал Виктор. — И ты Майдан, иди с нами. Идем все вместе.

Они оделись и пошли по свежему искристому снегу. Виктор больше молчал от смущения, изредка ввертывая какую-нибудь фразу. Миша выручал товарища и говорил без умолку. Такой молчун в классе, кто бы подумал! Он вспоминал сегодняшний спектакль, как у Сорокина отвалился нос и Константин Игнатьевич прилепил новый, хорошо, что не на сцене случилось! Радовался, что достали такие хорошие костюмы. У себя в Полоцке он не видел таких и в театре.

— Ты насовсем переехал в Ленинград, с родителями? — спросила Маша.

— Насовсем, но родителей у меня нет. Я у дяди живу, — сказал Майданов и при этих словах чуть-чуть нахохлился. Маша только тогда обратила внимание, что пальто на Мише осеннее, хотя на улице мороз. Он всегда держался так независимо и серьезно, что никто не мог догадаться о каких-либо нехватках в его семье.

— Ой, мальчики, завтра надо отвозить костюмы в костюмерную! — вспомнила Маша. — Иначе за лишний день платить придется, если до двенадцати часов не сдадим. Приходите утром в школу, часам к десяти. Поможете отнести.

— Есть, товарищ начальник, — ответил Майданов и козырнул.

— А у меня такая неприятность, мы... к бабушке едем, — сказал расстроенно Виктор. — Она живет за городом, и я у нее единственный внук, и вообще телячьи нежности. Но приходится считаться ради мамы, — добавил он быстро, не уверенный в том, что это надо говорить и что товарищи поймут.

— Конечно, старушек обижать грех, — утешила его Маша. — Ну, ничего, там два ящика, я один взвалю на Михаила, один сама понесу. В общем-то пустяки, — сказала Маша, видя, что Гордин начал было киснуть. — До свиданья, ребята!

Она пожала руки своим товарищам и нырнула в парадную.

Утром громко чирикали воробьи, солнце сияло из всех сил, всё кругом блистало и светило. Они ехали на передней площадке трамвая, Лоза и Майданов, и рожицы их тоже сияли без особой причины. Два ящика с костюмами стояли рядом, в портфеле Маша везла парики, усы и бороды.

Они сдали костюмы и остались с одним портфелем. Парики надо было сдавать в другом месте, и они снова сели на трамвай.

Возле Народного дома сошли. Солнце светило вовсю, не худо было бы покататься на коньках. У Маши дома были «снегурки», но были ли коньки у Майданова?

— Что ты будешь сейчас делать? — спросила она Мишу.

— Буду деньги зарабатывать, — сказал он спокойно. — Я по воскресеньям всегда работаю. Дядя приносит чертить всякие штуки, я в этом деле поднаторел. Ну, до завтра, Маруся!

И он ушел чертить «всякие штуки». Наверно, такие надписи на листочках ватмана, какие чертил студент Ильченко: «Заведующий», «Не курить»... Дело знакомое. Ильченко давно уж не чертит, он теперь хорошо зарабатывает.

Какой этот Майданов хороший, добрый, умный! А она и не замечала прежде.

Солнце сияло. Чистый, белый, сверкающий снег! Ей казалось, что она идет по дороге, усыпанной бриллиантами, и они стреляют в нее своими нежными, то розовыми, то зелеными лучиками. Всё светило, земля и небо. Какой он хороший!

Снова учеба, учеба, учеба!

Ничего такого не произошло, только настроение у нее стало после этого вечера, после премьеры спектакля, особенно хорошим, светлым, радостным. Она старалась на уроках, получала хорошие отметки, дельно отвечала у доски. Виктор Гордин тоже успокоился, привел свои учебные дела в порядок. Они попрежнему редко разговаривали — Маша относилась к нему покровительственно. Не так уж трудно было перестать его дразнить, а человек ходил счастливый.

В классе Майданов снова стал молчуном. Он хорошо учился; но почти никогда не оставался после уроков — спешил домой. В перемену он иногда брал Машу за руки и они кружились в большом зале, в том самом, где шел спектакль. Всё взвивалось кругом — колонны у стены, флажки на веревочках, сцена. Всё кружилось вокруг, а они, как заведенный волчок, стояли на месте, крепко взявшись за руки, и, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Никогда Маша не была такой счастливой.

Она запомнила уже все его рубашки: черную и голубую сатиновые косоворотки и белую рубашку апаш. Он надевал их попеременно, он всегда был аккуратен. Маше очень нравились все его рубашки и невозможно было решить, какая идет ему больше.

Видно, лицо ее слишком хорошо отражало эту новую радость, ей самой не понятную до конца. Ребята начали дразнить ее. Однажды на доске появилось уравнение: «Лоза + Майданов = любовь». Маша, увидев, подбежала и стерла, но в следующую перемену чья-то рука упорно

повторила уравнение. Кто бы это мог сделать?

Догадаться было нетрудно. Это сделал один из верных оруженосцев Коли Сорокина — Гриша Карпов или Петька Сергеев. Они пристально следили за Машей, начиная с каникул, хотя этому их наверняка никто не учил. Они были верными друзьями Николая Сорокина и стояли за дружбу. А всякие романтические истории они презирали.

Прежде Маша часто ходила по воскресеньям в музеи или в клубы с Колей и его друзьями. Никто из них не «осквернил» чистой школьной дружбы ухаживанием — так по крайней мере они сами считали. Лоза и Лена Березкина были единственными девочками, допущенными в их компанию, и простить одной из них измену ребята не могли. Разве это была не измена? Впервые, Лоза забыла привлечь их к тому, чтобы отнести после спектакля костюмы, а попросила новичка. Но это было бы еще полбеды, это она могла по рассеянности забыть. Хуже было то, что в ответ на очередное приглашение Сорокина пойти в воскресенье на утренник в Клуб пиццевиков Лоза отказалась, хотя билетов Коля раздобыл четыре штуки, что было не так-то легко. Она сказала, что будет переписывать на́бело тетрадку по химии, потому что во время опытов писала наспех, неряшливо, и теперь надо исправить. Почерк у нее, скажем прямо, неважный, пишет, как курица лапой. Это вам не Вера Ильина, у которой все буковки — точно отлиты в формах, такие они одинаковые и стройные. Но ведь тетрадки Лоза переписывала и прежде, и всё-таки не отказывалась от товарищеского предложения — провести воскресенье вместе с ребятами. Это было странно. Гриша навел справки через знакомого паренька, жившего в одном доме с Лозой, и выяснил, что она, действительно, никуда не ходила в воскресенье, кроме как за ситным в булочную, но в булочной ни с кем тоже не встречалась и к ней никто в гости не приходил. И всё-таки она не пошла с ними вместе.

Да, Лоза переменилась. Она стала задумчивей, завела себе альбом, и Майданов нарисовал ей в этот альбом какой-то видик. Петя Сергеев тоже рисовал неплохо, его специальностью были спасательные круги, в которых виднелось море с маленьким корабликом. Маша попросила и его нарисовать что-нибудь, и он вместе с Сорокиным внимательно перелистал весь альбом. Они нашли переписанные стихи Есенина и сначала испугались, но, прочитав, увидели, что это стишки про природу. А рисунки в альбоме были сделаны многими, Майданов был не единственным.

Но стоило только посмотреть на Майданова, стоило только поймать его взгляд, как всё становилось ясным. Он же был к ней равнодушен. И она тоже хороша — краснеет, бледнеет... Нет, пройти мимо такого поругания дружбы, мимо измены всему классу было невозможно!

Сам Коля Сорокин обратил внимание на перемену, происшедшую в Лозе, позже других. Делают из мухи слона! Нет, есть же настоящие девчонки, верные товарищи, которые выше всяких романчиков. Лоза — это не Тамара Петрова.

Когда Маша в первый раз стерла с доски ненавистное «уравнение», она была искренно возмущена. Что они швыряются такими словами: любовь, любовь! Они даже не понимают, что такое любовь, какое это святое чувство. Вот Митя Недоля пишет ей письма, а про любовь он не смеет и заикнуться. Нельзя называть любовью всякое хорошее отношение к человеку. У некоторых девчонок обожание Пурица тоже называется любовью, — а разве это сравнимые вещи? Посмотрели бы они, как пишут про любовь Пушкин или Тургенев. Любовь бывает раз в жизни.

Все эти рассуждения Маша выкладывала перед собой, чтобы не только оградиться от глупых сплетен, но чтобы и себя успокоить. Миша ничего никогда не говорил ей о своих чувствах, он просто выполнил товарищеский долг по отношению к Виктору, немного, правда, сам вошел в роль... И не до глупостей было ему, парню, который в пятнадцать лет уже зарабатывает на жизнь. Милый, хороший, он был лучше их всех!

Коля Сорокин постепенно всё понял. Он нисколько не был влюблен в эту Лозу, но простить вероломства не мог. Он перестал останавливать своих верных дружков, и они дразнили Машу при каждом удобном случае. А она не понимала, за что.

Был урок физики. Учитель только что объяснил устройство электрического звонка, нарисовал схему и рассказал, почему он звонит. Маша успела зарисовать схему себе в тетрадку, а после этого написать объявление о заседании учкома, которое состоится тогда-то, с такой-то повесткой дня. Как только зазвонили на перемену, Маша быстро вышла из-за парты с объявлением в руке: надо было приколоть его кнопками, чтобы за время большой перемены все, кому нужно, успели бы прочитать.

Когда она выходила из класса, ее нагнал Майданов. Он был чем-то встревожен.

— Почему ты такой скучный? — спросила Маша.

Оглянувшись быстро на класс — ребята доставали из сумок завтраки и были не слишком внимательны, — он сунул Маше в руку сложенную записку и сказал шёпотом:

— Никому не показывай, прочитай одна.

Она вскинула на него удивленные глаза. И тотчас, забыв про объявление и другие важные вещи, помчалась наверх, на четвертый этаж. Там был укромный уголок, в который никто никогда не заходил. Поломанные парты были составлены в виде высокой баррикады. Она забралась на самый верх баррикады, под потолок, не замечая серой бархатной пыли и паутины.

Дрожащими руками раскрыла она записку. Что он пишет?

«Лоза!

Довольно скрывать то, что мы питаем друг к другу почти с нашей первой встречи. Лоза, я люблю тебя! И по твоему отношению ко мне замечаю, что и ты ко мне равнодушна, но всё-таки не уверен, потому что недавно ты смеялась и болтала с Зайченко, а потом показывала девочкам какое-то письмо с Украины от твоего поклонника. Я очень сильно люблю тебя и потому сердился и сейчас сержусь, но не знаю, вправе ли я сердиться или нет. Любишь ли ты меня, как я тебя? Ответь! Майданов».

Уже прозвонил звонок на урок, уже все ребята позавтракали и снова разошлись по классам, а она всё сидела на поломанных партах, перечитывая милые строки. Она выучила уже наизусть это письмо, первое любовное письмо, полученное ею в жизни. Объявление о заседании учкома съехало куда-то за парты и упало на пол.

На урок она опоздала. Ребята уставились на нее, учитель сделал ей замечание, но она не слышала. Села за парту. Зайченко, ее сосед по парте, чертил что-то в тетради. Маше казалось, что все ее рассматривают, все заметили, что с ней. И только он, Миша Майданов, один он сидел потупившись, словно сделал что-то дурное.

Ей хотелось встать и прямо на уроке подойти к нему. Стала бы просто заниматься с ним рядом, рисовать ту же самую схему электрического звонка... Просто молчать с ним рядом — было бы настоящим раем! Но, конечно, никогда она не подойдет к нему. А ответить надо, ведь он ждет. «Мой Миша Майданов»...

Маша написала на записке только два слова, две буквы: «И я». Она приготовила эту записку раньше, а отдала на перемене, не глядя, стыдась. Он прочел, улыбнулся ей неосторожно, при всех, и пошел снова за свою парту. Нельзя, чтобы все видели, будут смеяться. А разве можно смеяться над этим!

Вот она узнала, она счастлива, всё хорошо. Но почему же она стала стыдиться его? Чуть увидит его поблизости в коридоре — сразу бежит куда-нибудь, будто по делу. Ни разу не останется с ним после уроков, попозже, ни разу не поговорит о чем-нибудь. И даже кружиться в зале перестала, — а как она любила кружиться!

Он не напоминал о себе, он терпеливо ждал. Достал где-то сборник рассказов «Молодость»

и дал ей почитать. Она стала читать на уроке химии, химик отнял, она расплакалась. Химик отдал книгу назад, но день был испорчен. К тому же всё произошло на глазах у класса, Сорокин громко смеялся и с ним его оруженосцы. В этот день Лоза получила неуд по химии.

Когда она отдала Мише его книжку, он дружески пожал ей руку: «Ты не расстраивайся», — сказал он, только и всего, но настроение у нее сразу поднялось.

Потом он принес сборник частушек и снова дал ей — откуда он только брал эти книги! Когда она читала частушки, то вдруг заметила: одна подчеркнута синим карандашом. Это была частушка о поцелуе, от которого растаял снег и расцвели цветы.

Маша не спала ночь. Наутро она нашла томик Надсона и отыскивала там стихотворение, в котором говорилось: «Поцелуй — это путь к охлаждению. Мечта уж доступной и близкою стала, с поцелуем роняет венки чистота и кумир низведен с пьедестала». Она подчеркнула синим карандашом эти строчки и на завтра передала эту книгу Майданову. Конечно, он не стал читать весь том, быстро перелистал его, нашел подчеркнутые строки и поморщился. Он взглянул на Машу, улыбнулся ей и покачал головой. «Неправильно», — сказал он ей, отдавая книгу.

Правильно или нет, но она не могла подойти к нему ближе, чем на шаг. Ею овладевало такое волнение, такое смятение чувств, такой страх за себя, словно она знала, что позабудет обо всем на свете, потеряет всякую осторожность, всякое соображение. И записку-то она длинней, чем из двух букв, не могла сочинить — всё плыло перед ней в каком-то тумане. Всё сместилось в ее жизни, всё нарушилось, переменилось, она еле стояла на ногах. Дома, читая «Русских женщин» Некрасова, она жадно вдумывалась в эти строки: да, вот так может и она, вот так — в метель, вьюгу, навстречу любому несчастью, — ради него, единственного, любимого! Нет, меры она не знала, и потому бежала от этих неизвестных, заманчивых и страшных нежностей.

Миша Майданов обиделся. Он терпеливо ждал, что она перестанет дичиться, но в конце концов решил, что это обыкновенные девчоночьи капризы. Любая девочка Машиных лет была бы рада получить такую записку (втайне он был доволен своим слогом — хорошо написал, всё выразил!). Капризничает просто, неизвестно отчего.

Маша тратила много времени на учком. К прочим обычным делам прибавилась шефская работа в колхозе. Школа обязалась послать в подшефный колхоз бригаду, чтобы организовать красный уголок и провести вечер смычки города с деревней. Заранее выпустили специальный номер газеты «Смычка» для колхоза, приготовили подарки — плакаты, диаграммы, портрет Ильича, книги, четыреста штук тетрадей. Ребята вооружились лыжами, захватили из школьного буфета ведро, чтобы сварить на ужин пшенной каши, и в морозный солнечный день выехали в Кузьмолово.

Члены драмкружка тоже выехали в подшефный колхоз. В числе кружковцев была и Тамара. В классе над ней все подсмеивались, особенно мальчишки любили подразнить Тамару, — она была какая-то потешная.

Миша что-то задумал. В поезде он ехал рядом с Тамарой. Ветер сорвал с него кепку, и Тамара отдала ему свою меховую ушанку, а сама повязалась платком. В конторе колхоза, где ребята остановились на ночлег, Миша расположился на соломе с самого края, на границе, отделявшей половину девчонок. Ночью он долго разговаривал с Тамарой, но так тихо, что Маша ничего не могла слышать. Она задыхалась от обиды, но старалась не подавать виду. Вот он какой! Ему всё равно, кому написать такую записку! Ему всё равно, с кем смеяться и разговаривать.

Они выступили перед колхозниками с номером живой газеты, показали отрывки спектаклей «Коля в плену» и «Недоросль». Маша играла плохо, ей было не до игры. Если бы знал он, как растревожил ее душу!

После концерта все пошли гулять. Миша подхватил под руки Тамару и Лену Березкину.

Контора стояла на дороге, на краю села. Ветер гудел, намело высокие сугробы. Тускло светила луна.

Маша подождала, чтобы ребята позвали ее, и вышла на холод. Как хорошо охватил ее ледяной ветер! Где же этот изменник, этот Михаил Майданов? Его не было видно, только вдали, на дороге чернели три фигуры — это он забавлял девчонок, валяя их в снегу и потом отряхивая, чтоб не простудились.

Поездка обернулась для Маши сплошным мучением. Возвратившись обратно в Ленинград, она уже не могла быть спокойной, не могла заниматься, учить уроки, читать книги. Заседание учкома она провела кое-как и не могла дожидаться перевыборов: скорее бы переизбрали, невозможно успеть справиться со всем.

Когда были выставлены отметки за четверть. Маша обмерла: по химии и физике у нее стояло «неуд», по трем другим предметам «уд» и только литература да обществоведение немножко скрашивали картину.

В довершение всего, Михаил Майданов собирался уйти в фабзавуч. Дядя не мог держать его в школе, пора было получать специальность и самому зарабатывать на жизнь.

Когда-то из окна класса Миша показал ей дом, в котором он жил. Его окно было на третьем этаже, четвертое слева. Он рассказывал, что у окна стоит стол, за которым он чертит свои плакатики.

В воскресенье, когда школа была пуста, Маша, крадучись, вошла в школьный двор и приставила к забору лестницу. Взобравшись на последнюю перекладину, она достала принесенный из дому бинокль. Или бинокль никуда не годился, или руки у нее слишком дрожали, только разглядеть сквозь стекло комнату и в ней виновника Машиных страданий никак не удавалось. Маша оглядывалась стыдливо: а вдруг дворник увидит, что она влезла на лестницу и смотрит куда-то в бинокль! Начнет спрашивать, — что она скажет? Это просто счастье, что дворника не было и никто ее не увидел.

Маша ошибалась: сверху, с четвертого этажа ее видел Коля Сорокин, живший с матерью при школе. Сначала он не мог понять, что делает эта сумасшедшая Лоза. Потом сообразил, отвернулся и угрюмо засел за книгу. До чего же низко способны упасть девчонки, даже такая стоящая, в общем, девчонка, как Маша Лоза!

Этот месяц Коля жил один — мать получила путевку в дом отдыха в Крым и уехала, дав ему точные инструкции и оставив запасы продуктов. Уезжая, она разыскала Машу Лозу и попросила ее приглядывать за Колей, забежать когда-нибудь к нему и посмотреть, варит ли он себе кашу и картошку, не сидит ли голодным.

Маша зашла всего один раз. Это была суббота. Уроки кончились в два часа дня, и сразу после уроков она сказала Коле: «Ты как хочешь, а сегодня на твои кастрюли будет налет легкой кавалерии...». Коля высоко поднял брови, сделал недоуменное лицо и сказал: «Не было печали, черти накачали... Ну, идем».

В маленькой комнате, где Коля жил вдвоем с матерью, пол был подметен, но по верхам — на краю книжной полки и на шкафчике виднелся серый налет пыли. Подметая комнату, Коля вздымал облака пыли, и они оседали на мебели. Мести осторожно, неторопливыми движениями, он не умел.

— Что у тебя сегодня на обед? — спросила Маша и сняла с кастрюли крышку. В кастрюле оказалась нечищенная вареная картошка.

— Куплю селедочку, и с картошечкой... масло подсолнечное есть, — неуверенно похвастался Коля.

— Селедочка, картошечка... А горячее что?

— Еще чего захотела! Мы люди не гордые, и без горячего проживем.

— У тебя крупа есть?

Он открыл дверцу буфета. Там стояли рядами несколько кульков.

— Будем варить гречневую кашу.

— Вари! — сказал снисходительно Коля. — Я примус разожгу.

Он разжег примус, и Маша поставила на огонь кастрюльку с водой. Она не была уверена, что крупу засыпают сразу, — манную, например, мама сыпала в горячую воду. Но эта — крупная, ей надо развариться...

Маша высыпала в кастрюльку стакан крупы. На поверхности воды тотчас всплыла целая горсть шелухи, — забыла промыть гречу...

Вскоре вода закипела и каша стала пыhtеть. Маша помешивала ее ложкой. Примус давал слишком сильный жар, приходилось помешивать непрерывно. Она волновалась: нехватало ей опозориться перед мальчишкой, да еще в таком нехитром деле!

Коля пошел в лавочку за хлебом, и на некоторое время Маша осталась одна. Она вздумала обтирать пыль с книжной полки, но в это время примус вдруг погас и начал чадить отвратительным керосинным чадом. Маша кинулась искать примусную иголку, но нашла не сразу. Когда она, наконец, разожгла примус снова, в комнате стояли клубы сизого керосинового чада. Маша открыла форточку, чтобы проветрить комнату. Чад уходил медленно. Вдруг она уловила, вместе с запахом керосина, запах горелого. Открыла поспешно крышку кастрюли: каша определенно подгорела...

Вот поблагодарит Николай! Ему только этого счастья нехватало, — в комнате жуткий чад, каша пахнет горелым! Найдя сковородку. Маша налила в нее воды и поставила кастрюлю туда. Так делала мама в подобных случаях.

Коля вернулся сияющий. Он купил пеклеванный ситный с тмином, селедку и двести граммов круглых твердых конфет.

Коля не заметил чада и горелого запаха, всё в нем ликовало: эта Лоза — настоящий товарищ. Морали не читает, нудных разговоров не ведет. А, главное, сама, безо всякой его просьбы, своими руками варит ему на обед кашу.

Красная, с брызгами керосина и воды на платье, обеспокоенная исходом своего поварского опыта, она показалась ему красавицей.

Маша вымыла руки на кухне и хотела уходить: ее миссия была закончена, каша сварена. Но Коля не отпустил ее. Достал две тарелки, нарезал хлеба и сказал:

— Сама наварила, сама и корми. Будешь со мной обедать, и никаких двадцать.

Она положила каши ему и себе и уловила еще один запах: каша пахла керосином. Причина заключалась в ложке, которая, очевидно, лежала возле примуса. Этой ложкой Маша и раскладывала кашу на тарелки...

Не подымая глаз, она попробовала свое варево на вкус: ох и пакость! Клей не клей, тесто не тесто... Сейчас он начнет ее ругать.

Но он не ругал. Он ел с аппетитом эту кашу, политую постным маслом. Быстро очистил тарелку и попросил добавки. Нет, Дарья Андреевна никогда не готовила так вкусно!

За кашей последовала селедка, потом чай с конфетами. И всё было необыкновенно вкусно. Домой Маша пришла уже в сумерках.

И вот теперь всё сложилось иначе: внезапно вспыхнувшее чувство вытеснило все остальные, ей стало не до Коли.

Коля вспоминал об этом субботнем дне, как о мираже, как о фантастическом случае. Было ли это или только приснилось? Конечно, он и сам мог сварить себе обед, сам мог справиться. Но одному было тоскливо. Нечаянно подсмотрев Машину тайну, он почувствовал себя еще хуже. — Есть ли вообще правда на земле? — подумал он. Нет, к настоящей дружбе способны только

мальчишки.

Вчера он узнал, что Лоза ведет дневник. Петька Сергеев пробовал отнять у нее толстую синюю тетрадь. Но она, как кошка, оцарапала его и спрятала свое сокровище в сумку. Интересно, что может писать в дневнике такая легкомысленная девчонка? Ничего хорошего от нее ожидать нельзя.

Глава четырнадцатая

Из дневника Маши Лозы:

«2 января. — Он написал заявление в фабзавуч... Я так люблю его, что тоже думаю уйти в фабзавуч. Анна Николаевна, учительница литературы сказала, что Майданов — не такой, как все, что он взрослый, мужественный парень, он уже зарабатывает сам. Еще бы! Я буду любить его до конца жизни. Вчера он написал мне, чтобы я была осторожней в своих словах, потому что наши ребята — известные трепачи. Он предлагает мне шифрованную азбуку, чтобы никто не мог перехватить и прочесть наши письма. Как плохо, что надо притворяться и скрывать свои чувства! Сегодня химик был очень злой и выгнал из класса трех человек. По физике была письменная и Миша посылал мне бумажки с решением всех задач. Но после уроков он ходил по коридору с одной девчонкой из шестого параллельного.

4 января. — Вернулась из дома отдыха Дарья Андреевна, Колина мама. Уехала пожилая, вернулась молоденькая, без морщинок, и сразу позвала меня к себе. Привезла из Ялты всяких украшений из цветных ракушек и фотографию одного рабфаковца, который в нее влюбился. Он ей сочинил стихи, довольно приличные. Сейчас многие стали сочинять, независимо от возраста. Что ж такого: ведь раньше аристократические юнцы сочиняли запросто, это у них было признаком культуры. Почему бы и нам не позволить себе этого? Это не значит, что все станут поэтами, просто надо иногда выразить такие чувства, для которых подходят только стихи. Дарья Андреевна спрашивала меня про Колю, почему он стал угрюмый, но я ничего не могла ей объяснить. Разве я виновата, что влюбилась? Это с каждым может случиться.

5 января. — Сегодня мальчишки в классе не давали мне проходу. Гриша Карпов написал на доске: «Наша Лоза втрескалась!». Я не успела стереть, как вошел Петр Николаевич и увидел эту надпись... Какой ужас! До чего доводит людей слепая ненависть! Миша всю большую переменку бегал с девочками из параллельного класса: он хочет мне показать, что маскирует наши отношения, но ему что-то очень нравится их маскировать... На другой переменке он дразнил нашу умную Тамару, Лишь бы все видели, что он не со мной. Нет ничего тяжелей, как скрывать свои чувства.

Дома у нас перегорели пробки и я делала уроки при свете елочной свечи. Это выглядело очень поэтично, и задачки все легко решились. Виктор Гордин сегодня разговаривал со мной очень грубо, но я даже не заметила этого. Пусть. Насильно мил не будешь. Я его не дразню, и моя совесть в порядке. Моя дорогая любовь Миша Майданов провожал меня после уроков домой — день не пропал даром!

8 января. — Сегодня мой свободный день, в школе у нас тоже введена пятидневка — непрерывка. Вчера ночью в два часа, когда ложилась спать, повесила над своей кроватью объявление: «До 11 утра меня не будите, у меня свободный день». Маме никак не запомнить, когда у кого в семье выходной, а с объявлением легче.

Вечером ездила на занятие деткоровского кружка в редакцию газеты «Ленинские искры». Нам всем дали бесплатные талоны на трамвай, чтоб только мы были активные и писали в газету заметки. Один молодой писатель читал нам свое произведение, очень длинный рассказ. Рассказ был интересный, но мы его здорово критиковали. Автор горячился и нервничал, но критику

принял к сведению.

И всё-таки, день был неважный, потому что я не видела моего возлюбленного.

9 января. — Я какая-то странная, все свои чувства выражаю наоборот. Сегодня была сверхъестественно веселой, а на душе кошки скребли: он дал мне хороший урок, он целый день веселился с той девчонкой из параллельного класса. Меня он не замечал, и только лишь потому, что я немножко посмеялась с Зайченко на уроке физкультуры. А вдруг Миша пошутил тогда, в том письме, которое я сожгла дома в печке, чтоб никто не узнал? Не может быть!

10 января. — Получила письмо с Украины. Митя прислал мне стихи, в которых пишет, что будет носить меня в своем сердце до самой смерти... И еще прислал книгу — повесть на украинском языке. Мама, как увидела ее, схватила и стала рассматривать. Потом сказала отцу: «или это однофамилец, или действительно тот чекист, которого я прятала при деникинцах». Потом прочитала книжку и уверилась, что он. Как интересно: мои родители знакомы с писателем!

Мне сейчас так трудно. Я всё время думаю. Обо всем. Страшно вспомнить, что недавно я была маленькой девочкой и мечтала, что скоро стану пятнадцатилетней барышней... Скоро мне пятнадцать, но я ничуть не счастливее, чем была в тринадцать. Где прежняя наивность! На пятом и шестом уроках у нас был доклад докторши о значении физкультуры и спорта, и Миша сидел рядом, почти в обнимку с той, из параллельного класса. Со мной она старается быть повежливей, приглядывается, словно ждет, не стану ли я мстить. Нет, лучше я отвернусь от него с презрением. Я никому не позволила бы так себя лапать, ни ему, ни другим.

12 января. — Почему у меня такая стойкая любовь? Другая бы умная девчонка давно плюнула на всё и не переживала. Вместо этого я послала ему записку: «Ответь чистосердечно, это была шутка или правда?». На уроке пения он передал мне свой ответ, в котором говорил, что если б я не шутила с другими, то и он бы не шутил с той, из параллельного. И что тогда он написал правду. Мне стало легче.

Сегодня состоялся политекружок. Учитель подробно рассказывал о происхождении земли и человека, но я всё это уже знаю. Потом стали выбирать «полпредов» в разные страны, чтоб потом каждый докладывал о событиях в той стране. Сорокин взял Америку. Ильина — Италию, а я с Мишей Майдановым взяли Англию. Как он мне улыбался! Он самый лучший на свете. После кружка мы пошли вместе в библиотеку и вырезали из газет всё, что было про Англию. Докладывать будем по очереди. В Англии всегда много событий, потому что надо говорить и про колонии, а не только про их остров.

16 января. — Сегодня я очень много пережила. Мне весь день не дают покоя проклятые слова, которые были сказаны мне, и кем! Моими родными. Они всё объясняют... переходным возрастом, всё, и то, что я веду дневник и прячу его от всех, и стихи, и что влюбилась. Это оскорбительно, как они смеют, почему они не могут понять! Надо сжечь этот дневник, пусть никто не знает сокровенных чувств. Проклятье моим пятнадцати годам!

А завтра у нас в классе день самоучета. Сегодня Гришка Карпов пригрозил, что он расскажет на самоучете всё. Что именно? Боюсь, что завтра на самоучете я зареву. Лучше бы выплакаться дома, а завтра быть ледяной. Сейчас я кончу писать дневник и хорошенько обдумаю, что я скажу завтра на самоучете. Надо подготовиться и отбить все атаки.

17 января. — В школу мы пришли сегодня к двенадцати. Перед началом самоучета я попросила Майданова не защищать меня, если «они» зайдут слишком далеко. Он посмеялся, но обещал. Я хорошо подготовилась, задавала себе мысленно все вопросы, какие мне могли задать и даже какие не могли. На все приготовила исчерпывающий ответ.

На самоучете было, как всегда, очень интересно. Колю Сорокина Петр Николаевич очень хвалил. Я заработала два неуда, и это стыдно. Высказывалась хорошо о Сергееве и Березкиной.

Они этого заслуживают, хотя Сергеев и «оруженосец» сорокинский. Миша говорил о себе очень честно, что всем очень нравится в нем. Он не виляет. Когда подошла моя очередь стать «подсудимой», я тоже сказала всё откровенно, что касалось класса и моей общественной работы. Меня здорово критиковала Березкина, потому что она мой верный друг и всё говорит в глаза. Карпов сказал, что я не объясняю урока, когда попросят помочь, но Миша так ему ответил, что они чуть не подрались. Я объясняю, если это мой предмет, в котором я сильна. Миша меня защищал! Но я сделала страшную глупость и всех выдала. Когда Карпов особенно стал ехидничать, я взяла и сказала, что вчера на русском языке всем расставила запятые. А Анна Николаевна воскликнула: «Так вот почему все написали диктовку без ошибок!». И все смеялись.

Сергеев решил меня поддеть и сказал, что я не ко всем одинаково отношусь. Я ответили, что и ко мне не все одинаково относятся, и он замолчал. Попросила помощи у ребят, чтобы меня одергивали, когда я стану «бузить». Надо бы помириться с Сорокиным и относиться к нему, как ко всем.

Кого было жалко, так это Виктора Гордина. У него три неуда и безнадежное настроение. Нет, не зря беспокоилась за него его мамаша. Он совсем бесхарактерный. Из-за какой-то меня забросил уроки...

20 января. — Сегодня с трех до восьми была редколлегия, выпускали стенгазету. Миша тоже в редколлегии. Мы сговорились с ним прийти завтра в школу за полчаса до уроков и повесить в зале траурный плакат — завтра ленинский день. Скоро три года, как я пионерка. Конечно, я мало чего успела сделать, но характер у меня немного укрепился, и вообще я стала сознательней. Вожатая говорит, что некоторым надо готовиться, чтобы к маю подать заявления в комсомол. А Миша уже будет в фабзавуче...

Дома папа и мама вызвали меня к себе и прочитали мне лекцию. Как они не понимают, что это только действует на нервы. Они требовали, чтобы я отказалась от нагрузок ради ученья, а то они возьмут меня из школы. Странные люди! Я не отказываюсь подтянуться, но бросить все нагрузки я не могу. Без этого из меня получился бы Виктор Гордин.

5 февраля. — Дневник писать некогда, приходится много заниматься. Вчера видела на улице отряд девушек-красноармейцев. Одеты мужчинами, а сами девушки. Смешные какие!

Вечером делала на политкружке доклад: «Буржуазия и пролетариат». Почти не готовилась, это вопрос совершенно ясный, а примеры — из газет.

6 февраля. — Сегодня после школы поехала в ТЮЗ на генеральную репетицию пьесы «На полюс». Сильная вещь! Показана часть настоящего ледокола и аэроплана. Всё, как на самом деле, почти так же, как было с «Италией» и «Красиным». Это культурпьеса, в ней есть и кино, и доклад, и артисты. Как жаль, что со мной не было Миши.

7 февраля. — Мне сегодня было так весело, так радостно! Повидимому, в моей голове начинается весеннее брожение. Я уже чувствую весну. Я хочу ее встретить поскорее.

Он сказал, что его принимают в фабзавуч. Я чуть не заплакала. Но Миша дал мне понять, что на его отношение ко мне никакая сила повлиять не может.

И вот после всего этого была репетиция. А когда она кончилась, он не пошел провожать меня домой. Неужели стал дожидаться той девчонки из шестого-бе? Как плохо, что я слабо знаю мужскую психологию. Конечно, я с ним более сурова, чем эта, из параллельного. Зоина приятельница Рая смеется надо мной, что я не умею целоваться. Легко сказать! Не только поцеловать, я двух ласковых слов связать не могу, когда вижу его. Просто умираю на месте и всё.

А папа уехал на коллективизацию, проводить беседы и доклады. Шесть дней от него не было писем, и мама очень волновалась, потому что мужа нашей соседки с третьего этажа Завалишиной убили кулаки. Наконец сегодня папа позвонил, из Лодейного Поля и успокоил маму. Как всё происходит трудно: такая простая, правильная вещь — коллективизация, всё

хорошо объяснено, а многие противятся. Это не просто так. Это потому, что кулаки знают: им конец приходит. И они мутят людям душу. Как всё сложно в мире!

11 февраля. — Несколько дней я не была в школе из-за гриппа, и вот... Почему это так бывает? Мне так хотелось его видеть, я была уверена, что он даст мне наговориться с ним. Я смотрела на него в классе, как маленькая. Но он то и дело исчезал куда-то. На перемене я увидела ту, из параллельного. Она посмотрела на меня так, словно хотела дать мне понять: она его победила.

Нет, я не стану с ней бороться: он не поддался бы искушению, если бы любил меня. Нет. Я докажу, что человек бывает сильнее своей судьбы и сам определит себе дорогу в жизни. Буду сильной душой и сердцем. Наивысшая победа есть победа над самим собой, сказал один философ.

12 февраля. — Люблю его, несмотря ни на что. Но завтра он уже не придет в школу: его приняли в фабзавуч. А та, из шестого параллельного, живет в соседнем с ним доме!».

* * *

Весенние ветры ворвались в город, высушили все лужи, раздули зеленые костры из маленьких почек на кленах и липах, сдергивали легкие косынки с девичьих плеч, обнимали вечером в переулках — не отобьешься! А вечера становились светлее, длиннее, и так не хотелось ложиться спать!

Маша не жалела себя, сидела вечерами над учебниками. Состоялись перевыборы учкома, председателем избрали Веру Ильину. Нагрузок у Маши осталось вдоволь, а всё ж стало легче.

Что-то ушло из школы вместе с Мишей Майдановым. Уроки стали скучнее. Из драмкружка Маша вышла — репетиции отнимали слишком много времени. Но попрежнему дежурила в ТЮЗе, попрежнему бегала в кружок деткоров, попрежнему работала в редколлегии. Почему же печаль? Неужели вся жизнь, вся радость была в одном этом парне с говорящими, живыми до невозможности голубыми глазами?

Нет, она не опустила руки, и отметки у нее улучшились. Но как мало это радовало! Нельзя же, нельзя же было не видеть его так долго, недели, месяцы!

Та девочка из шестого-бе попрежнему ходила в школу веселая, смешливая. Наверное, она знала что-нибудь о нем, наверно, встречалась с ним. Но не спрашивать же Маше у нее, у соперницы. Глупое слово — соперница. Ну, не меня полюбил, и пусть... Но «пусть» никак не получалось.

Он учился в фабзавуче на заводе «Красный треугольник». Значит, он мог возвращаться домой часа в четыре, в пять.

Однажды Маша вышла из школы и повернула не налево, домой, а направо. Дошла до его дома. За некрашеным деревянным забором стоял дом, давно, видно, не отремонтированный. Во дворе бегали маленькие ребятки, взрослых никого не было.

Она дошла до первой парадной, заглянула, прошла ко второй. Во второй на дверях висела дощечка с надписью «управдом». Еще не хватало зайти к управдому и спросить, где тут живет гражданин Михаил Майданов...

Маша прошла по двору, снова заглянула попеременно в обе парадные. Она должна его увидеть! Должна.

Снова она вернулась к воротам — он шел навстречу! Шел без пальто, в каком-то стареньком пиджачке, в такой знакомой черной сатиновой косоворотке с белыми перламутровыми пуговицами. В руке он нес сложенные в трубочку только что полученные у

моментального фотографа, еще мокрые, карточки.

— Маруся! Здравствуй! Ты здесь?..

— Я тебя искала, — сказала она ему просто.

Миша посмотрел на нее, будто только что в первый раз увидел, и взял за руку:

— Идем, пройдемся.

И она послушно вышла с ним на маленькую глухую улицу. Он рассказывал, что скоро его возьмут на завод, потому что мастер им очень доволен, что теории учат мало, а больше практике, но он нашел нужную литературу и читает помимо занятий.

— А ты как? Как там ребята? — спросил он, любуясь Машей исподлобья.

«Значит, она ему не рассказывает. Или он ее не видит?» — подумала Маша. И спросила:

— Разве ты... никого не встречаешь из школы?

— Когда же? Ездить мне далеко, на одну дорогу уходит два часа в день. И учиться приходится как следует. И потом, я же продолжаю чертить эти... разные там объявления для магазинов.

Он говорил простодушно и трудно было не верить.

— Что у тебя? — спросила она, показывая на сверток. Она хорошо видела, что это карточки, но хотела рассмотреть их.

— А вот... Вышел только неважно. Хочешь на память?..

Они остановились у чужой парадной, долго рассматривали карточки. Потом он выбрал лучшую, осторожно согнул и оторвал от листка, на котором были напечатаны все шесть. Карточка была маленькая, — наверно, он должен был получить пропуск на завод.

— Теперь у меня будет... — сказала Маша, робко поблагодарив его взглядом. — Знаешь, без карточки очень тяжело.

— Я берегу твою, — сказал он, а Маша сразу подумала: «Не только мою, наверно, ты бережешь». Но вслух не сказала.

Потом они бродили по парку, смеялись неизвестно чему. Потом оба разом вспомнили, что надо учить уроки, что пора домой.

— До свиданья, — сказал Миша, не отпуская ее руки. — Когда я окончу фабзавуч, стану свободнее. Знаешь, ты запиши мой адрес на всякий случай. Твой я наизусть знаю.

Она достала карандаш и записала. Он проводил ее до ее дома. С минуту они снова подержали друг друга за руку, помолчали и разошлись.

И всё сразу изменилось. Школа стала приветливей, школьные дела — интересней, учителя — добрей, домашние задания — короче и легче. Когда что-нибудь было не так, она доставала его карточку, смотрела на нее, говорила ему шёпотом несколько ласковых слов и снова прятала карточку в маленький чистый конверт. Она была довольна, спокойна. Девочка из параллельного класса потеряла для нее всякий интерес. Нет, никто ничего не отнял у Маши!

Глава пятнадцатая

Для тех, кто готовился вступать в комсомол, был организован политкружок. На первом же занятии этого кружка Маша встретилась с Колей Сорокиным.

Собственно, смешно сказать: встретилась. Разве не встречалась она с ним каждый день в классе? Он и сидел-то через одну парту от нее. Но в классе они были ученики и только. Вот рассорились и не разговаривали между собой, и никто на это внимания не обращал. Не то было в кружке. Здесь собрались люди, принявшие серьезное решение в своей жизни. Их объединяло это серьезное решение, оно несколько подымало их над прочими ребятами в красных галстуках, еще не готовыми для такого решения, еще не бравшими в руки таких книг, как Ленин «О марксизме»

и Сталин «Вопросы ленинизма». То, что прежде было позволительно и невинно, теперь выглядело совсем иначе. Приняв решение о вступлении в комсомол, они позволяли судить себя строже, суровей.

Сорокин понял это на первом же занятии. Руководитель кружка задал вопрос по разделу «теория и практика». Лоза ответила, но кое-что забыла сказать. Сорокин поднял руку и дополнил ее выступление. Руководитель, заключая тему, несколько раз назвал их имена вместе: «Лоза и Сорокин правильно сказали, что...»

Она и прежде раза два или три здоровалась с ним, а он делал вид, что не замечает. Сейчас он не чувствовал за собой такого права. Да и Майданов давно ушел из школы, никаких романчиков в классе не было. Коля не мог забыть своего обидного одиночества в тот месяц, когда его мать уезжала в дом отдыха. Не мог забыть и нечаянно подсмотренную им смешную картину, когда умная, сознательная девочка лезла с биноклем на забор. Нет, он не считал возможной прежнюю дружбу, но мелкое злопамятство унижало его в собственных глазах. Лоза — его товарищ и больше ничего. С товарищами принято здороваться. И он стал снова здороваться с Лозой.

«В. И. Ленин. «Карл Маркс» — записывала между тем Маша начало своего конспекта — Маркс родился в 1818 году в городе Трире, в зажиточной семье...»

Законспектировать биографию Маркса не составляло большого труда, хотя и в ней не всё давалось легко. «Рейнские радикальные буржуа, имевшие точки соприкосновения с левыми гегельянцами, основали в Кельне оппозиционную „Рейнскую газету“», — говорилось в книге. Записать эту мысль короче никак не удавалось, мешали не совсем понятные слова «радикальные», «левые гегельянцы». Конечно, книга была написана для взрослых, и притом так сжато, что сжать ее еще было не под силу Маше Лозе, а может, и не только ей.

Еще трудней стало, когда она подошла к разделу «Философский материализм». Что такое «гносеология»? Слово «демиург» представлялось в виде змея, стоящего на хвосте.

Изо всей брошюры Лоза поняла лучше всего разделы «Классовая борьба» и «Социализм». Это было знакомо, об этом она часто читала в газетах и даже сама делала доклад на целых пятнадцать минут.

Раздел «Социализм» оканчивался мыслью, которую Маша переписала в тетрадку полностью, не сокращая: «Наша задача по отношению к мелким крестьянам будет состоять прежде всего в том, чтобы их частное производство и частную собственность перевести в товарищескую, но не насильственным путем, а посредством примера и предложения общественной помощи для этой цели. И тогда у нас, конечно, будет достаточно средств, чтобы доказать крестьянину все преимущества такого перехода, преимущества, которые и теперь уже должны быть ему разъясняемы».

Это была мысль Маркса и Энгельса. «Теперь уже должны быть разъясняемы...», — писали они, писали пятьдесят и больше лет назад. Вот когда уже надо было подготавливать крестьян к мысли о коллективизации. Тут было над чем задуматься.

Отец Маши вернулся из Лодейного Поля не так давно. Он сам был увлечен идеей коллективизации и всячески старался разъяснять людям, собиравшимся в селах и деревнях на сходки, что больше никогда не будет кулаков и батраков, что на общие, колхозные поля придут машины и облегчат тяжелый крестьянский труд. Но всюду он замечал столкновение взглядов, борьбу, всюду рядом с передовыми, верными советской власти Людьми находились и противники колхозов. Они держались в тени или нагло шумели, маскировались или прикидывались непонимающими. Пожалуй, обстановка была еще острее той, в которой он настойчиво продвигал в жизнь свои взгляды о наследовании приобретенных признаков, о возможности переделывать природу по воле человека. Только те, ученые, язвили его одними

словесными снарядами. Здесь же иной раз пахло кровью.

— Если уж меня, беспартийного интеллигента, послали на село, то ты можешь себе представить, Нюся, как там трудно, — рассказывал он дома, сидя за самоваром. — При мне хоронили молодого парня, селькора: застрелен из обреза неизвестно кем. Там есть и замечательные вожаки-партийцы, которых слушают, потому что — свои, и говорят не по-книжному. Но всё-таки, сколько еще надо поработать с нашим крестьянством! Большая сила брошена в деревню, но всё это — первые шаги, начало. Летом у нас намечена еще одна поездка туда же с лекциями.

Маша слушала отца, затаив дыхание. В колхозе, куда она ездила со школьной бригадой устраивать красный уголок, было спокойно, он находился рядом с городом, люди в нем были, наверно, сознательней.

Какая трудная эта книжка о Марксе! К именам Маркса и Энгельса Маша относилась благоговейно — они всё основали, они начали то дело, благодаря которому возникла Советская страна. Нет сомнения, что каждое их слово надо изучать и стараться понять. Руководитель кружка назвал кое-какие брошюры неизвестных Маше авторов, в которых всё излагалось популярно. Маша взяла эти брошюры в библиотеке и принесла домой. Но как только их увидел отец, он почему-то стал усмехаться. Повертел брошюры в руках, положил на стол и сказал:

— Так вот, слушай. Если хочешь понять суть дела, старайся всегда обращаться к первоисточнику. Если трудно тебе, ты меня спрашивай, смотри в словаре, — вот он, словарь иностранных слов.

Но спрашивать его редко когда удавалось, очень много времени он работал, всегда был занят. Маша обращалась к нему в крайних случаях.

Трудная книга не отпугнула ее. Ей было приятно сознавать себя хотя бы пригостишкой в школе классовой борьбы, хотя бы запасным того сказочного войска, которое привело народ к победе в 1917 году. Ведь это было только начало! Сколько еще стран оставалось в цепях, сколько разных народов попрежнему мучилось в несправедливости! Иногда Маше становилось не по себе от одной мысли о том, что она могла родиться в какой-нибудь другой стране. Вся бы жизнь прошла в тяжелых страданиях, в унижениях. Конечно, она бы всё равно боролась... Воображение уносило ее то в одну страну, то в другую.

Газеты Маша теперь читала каждый день, а в школе вербовала подписчиков «Ленинских искр».

И вот наступил день, торжественный день в ее жизни. После уроков они пошли в комитет комсомола, она и Николай Сорокин. Комитет заседал в маленьком магазинном помещении с вывеской «рабочком». Они знали это помещение, бывали здесь прежде. Но никогда еще не переступали они этот порог с таким волнением.

Заявление Сорокина рассматривали раньше, чем ее. Коля встал со своего стула, слегка вскинул брови — он всегда так делал, когда думал, — и на лбу его появились три морщинки. В графе «социальное происхождение» он написал «служащий», потому что его мать служила в школе уборщицей.

— Отец кто? — спросила Тося Румянцева, член бюро.

— Отец был рабочий — литейщик на «Красном выборжке», — ответил Коля.

— Рабочий, — выразительно повторила Тося, глядя на секретаря Сергея Малышева.

Другой член комитета, парень в сером расстегнутом ватнике, только что пришедший с какой-то тяжелой физической работы, спросил Колю, кто такой Карл Маркс и чему он учил. Маша стала лихорадочно вспоминать все стороны учения Маркса, которые надо было хотя бы назвать. Она понимала, что ее уже спросят о чем-нибудь другом, но сидеть пассивно не могла.

Коля отвечал неторопливо, со знанием дела. Зря он, что ли, сидел вечера над трудной

книгой и посещал кружок. Члены комитета слушали его, довольные, а Тося, которая была культпропом и организовала кружок для будущих комсомольцев, шепнула секретарю: «Теперь сам видишь...»

Комитет комсомола решил принять Николая Сорокина в ряды ленинского комсомола без прохождения кандидатского стажа. Услышав решение, Коля опустил свои брови, разгладил лоб, и, обрадованный, сел на стул. Он пробормотал себе под нос что-то хорошее, вроде «гора с плеч...»

— Мария Лоза. Служащая, — читал секретарь следующую анкету. Все уставились на Машу и она испугалась, что потеряет дар речи.

— Из какого сословия твои родители? — спросил секретарь.

Маша не поняла.

— Ну из дворян, мешан, купцов... Кем был твой дед?

— Дед мой был садовник, — ответила она, краснея. — Дворян у меня не было.

«А вдруг не примут, потому что служащая?» — подумала она с горечью.

— «Вопросы ленинизма» читала? А обратила внимание, что говорит товарищ Сталин насчет наших последователей... То-есть, какие страны пойдут раньше других по революционному пути России? — спросил парень в пыльном ватнике. Он, видно, был любитель теории и всегда «гонял» принимаемых в комсомол, проверяя их знания.

Да, она обратила внимание. Те строки она читала с острым любопытством — откуда Сталин знает? — и запомнила их крепко. В книге говорилось о том, что по пути России раньше других могут пойти азиатские страны, например, Китай.

— Вот интересно, доживем мы, чтобы самим побывать в свободном Китае? — мечтательно сказал секретарь комсомольского комитета. — Чтобы никаких империалистов, никакого колониального гнета... а? — И ребята примолкли, думая, что хорошо бы дожить. — Ведь для истории какие-нибудь десять лет — это не срок, — добавил Сергей, чтобы товарищи не подумали, что он откладывает такое хорошее дело, как освобождение Китая, в долгий ящик.

Он задал Маше вопрос о задачах комсомола, и она говорила долго, подробно.

— Ты не удивляйся, что мы тебя так гоняем, — сказал ей вдруг Малышев. — Ты, может, думаешь — неодинаковый подход? Да, неодинаковый. У тебя отец ученый. Кому много дано, с того много и спросится.

И он предложил принять Марию Лозу в кандидаты комсомола с кандидатским стажем в полгода.

— Мы даем служащим разный стаж, и полтора года, и год, и шесть месяцев. Тебе за твою грамотность дадим наименьший срок. Как думаете, товарищи члены комитета?

Решение было принято единодушно.

— Ты запомни, Лоза, и вы, ребята, тоже, — сказал секретарь, обращаясь ко вновь принятым комсомольцам. — Комсомольцами вы должны быть всюду, не только на собрании, не только на работе и в учебе. Куда бы вас ни закинуло, где бы вы ни были, вы не должны забывать: вы — члены организации, сильной, большой организации — комсомола, вы помощники партии... Надо — и пошлют, куда надо. И когда поедете отдыхать летом, то и там тоже не забывайте, кто вы. Желаю вам, ребята, быть хорошими комсомольцами.

И он пожал каждому руку. Пожал и единственному кандидату — Маше, и она ощутила, какая заскорузлая, грубая, и в то же время теплая, греющая рука у секретаря комитета.

— Коля! Ты знаешь, в Галле, в Германии, будет пионерский слет. Второй слет. Интересно, кто поедет от пионеров Ленинграда?

Они шли домой из комитета комсомола и разговаривали так, словно никогда и не было ссоры, истории с Майдановым и всего прочего.

— Кто поедет... Наверно, от всего города человека два, не больше. Это же всемирный Слет. А у нас одних республик сколько. От всех ведь надо, чтоб никто не обижался.

— Вот если бы ты поехал, ты бы всё потом рассказал нам в школе, — мечтательно сказала она.

— Тогда уж скорее тебя, ты язык знаешь. Налетит какой-нибудь шуцман, а я и ответить не сумею.

— Обо мне речи нет, — печально возразила Маша. — У меня слишком много разных отрицательных сторон.

Помолчали.

Снова начала Маша:

— Обидно то, что слет летом, а мы не успеем добиться каких-нибудь интересных достижений, чтобы отметить слет. Конечно, летом детям легче собраться, это понятно. Но у нас все будут на каникулах. А так — что мы сделали? Пустяки. Организовали красный уголок в подшефном колхозе, провели за год восемь субботников — два в совхозе, четыре на картонажной фабрике в порядке политехнизации, да два на школьном дворе. Собрали бумажного лома, утиля — сколько, ты не помнишь? С последней сдачей вместе сколько получилось?

— Восемьдесят килограммов получилось. Не так и худо. Еще не забывай — в пионеры вовлекли за год человек девяносто.

— Хотелось бы что-нибудь необыкновенное... Слет не каждый год бывает. Но необыкновенного нам не успеть. Еще неделя-другая, и каникулы.

— Ты снова на Украину поедешь? — мрачновато спросил Коля. Его порядком бесили эти письма, которыми Лоза так хвасталась в классе.

— Нет. В Центральную Черноземную область, к родственникам. Там отцов брат на сахарном заводе агрономом работает.

— Поехала бы ты с нами в лагерь, — сказал Коля неожиданно. — Ничего-то ты не знаешь, как у нас летом хорошо в лагере. Подумаешь, не проживешь месяца с родными. Ты их целый год видишь.

— Я спрошу у мамы, если позволит...

Родители позволили. Маша выехала в лагерь на одну смену, чтобы потом вместе с родными поехать на дачу.

Глава шестнадцатая

Мчится грузовик по шоссе, рвет воздух, только в ушах треск, только волосы отлетают в стороны, только пыль клубится следом, покрывая серым пухом сидящих сзади. В кузове — узлы, лагерный инвентарь, на нем — ребята. В кузове — песни, смех, сбиваемый ветром, не слышный впереди машины и раскатисто-звонкий в клубах вздыбленной пыли.

На грузовике — ударная бригада. Она выехала заранее, чтобы подготовить лагерь к приезду ребят. Маша сидит на длинной скамейке спиной к кабине, рядом тесно прижались младшие девочки в красных галстуках. Коля — у борта на каком-то узле, он дирижирует пением. Поют на мотив «У попа была собака» всем известную вариацию:

*У попа была дочурка, у раввина — сын,
В комсомол вступить хотели, несмотря на чин,
Но строгий был прием,
И вышибли их вон...*

Деревянная двухэтажная дача с островерхой крышей — сколько таких вокруг Ленинграда! Ребята скидывают вещи, бегут отмываться от дорожной пыли, потом нетерпеливо направляются в столовую: аппетит в лагере удваивается.

Дальше начинается работа: девочки моют полы, ребята носят воду. В просторной пустой комнате ребята набивают матрасники сеном, девочки зашивают их. Наконец, полы вымыты, койки расставлены, на них — пузатые полосатые матрацы.

Мальчики под предводительством Коли Сорокина идут убирать территорию лагеря. Девчата занялись оборудованием столовой. Кипит жизнь! Вместе и уставать приятно. И еще веселит сознание, что всё делаем сами, всё устраиваем себе своими силами: вот как лихо мы можем! Старший вожатый Гоша не поехал с ударной бригадой, он и физкультурница приедут послезавтра с ребятами, поездом. Старшим в ударной бригаде. Гоша назначил Сорокина, а еще с бригадой поехал повар дядя Вася. Сорокина все слушаются, да и отобраны в ударную бригаду самые сознательные пионеры, на которых можно положиться.

После мытья полов Маша с группой девочек идет на речку помыться. Речка здесь не широкая, но достаточно глубока. Купаться будем организованно, группами по десять человек, с вожатой. Хорошо, что Маша научилась плавать.

Берег речки у самой дачи сильно зарос кувшинками и водорослями. Надо сделать мосток, с которого можно было бы прыгать прямо в чистую воду. Ничего, приедут ребята, сделаем!

Первая ночь в лагере проходит беспокойно. Целый вечер пели песни, а когда разошлись по комнатам спать, никто уснуть не мог. Лежали, переговаривались, рассказывали друг другу о том и о сем, поверяли свои маленькие тайны. Едва-едва уснули во втором часу ночи, — на новом месте не спится.

Свежее утро прорвалось сквозь зеленые кроны деревьев, заглянуло в чисто вымытые окна дачи. В лесу пели птицы, трава была покрыта холодной росой, словно кто-то по всей лужайке рассыпал бисер.

После завтрака продолжали убирать территорию. Двое ребят, Егоров и Галкин, вместе с Машей побежали в лес, чтобы наскоро обследовать окрестности. Они приехали сюда впервые, как и Маша, трудно было сдержать любопытство.

Войдя в лес, ребята захмелели от радости, от лесного хвойного воздуха. Саша Егоров выломал себе толстую крепкую палку и, ударя палкой по земле, стал декламировать: «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои!»

Откуда-то потянуло дымком. Ребята шагнули вперед, раздвигая ветки молоденьких сосен...

Они прибежали в лагерь с округлившимися от страха глазами, тяжело дыша:

— Пожар! В лесу торф горит!

Коля бросил лопату, которой разравнивал место для линейки:

— Где? Много захватило?

Четверо пионеров во главе с Сорокиным побежали в лес.

Торф горел на площадке примерно в сто пятьдесят квадратных метров. Невысокое пламя лизало сухую траву. Ветер дул в сторону леса, на опушке которого стояли, как стражи, несколько молодых смолистых сосен. Огонь подползал к ним всё ближе.

Ребята стали ломать ветки и пробовали тушить ими огонь, но ничего не выходило. Они прибежали с голыми руками, даже лопат не сообразили прихватить.

Коля послал Машу за подмогой. На площадке возле мачты, приготовленной для лагерного флага, уже толпились девочки.

Подкрепление пришло во-время. Сразу принялись рыть ров вокруг горящего торфа и

засыпать пожар песком. Маша орудовала лопатой у самой опушки, ветер нес на нее горячий воздух, дым и острые огненные искры. Поросшая травой земля поддавалась не сразу. Маша налегала ногой на лопату изо всех сил, — сквозь мягкую подошву сандалий чувствовалось, как край лопаты больно врезался в пятку.

Через два часа пожар был погашен. Вечером пришел член сельсовета — рослый дяденька в бумажном сером пиджаке и кепке, и поблагодарил пионеров за помощь. Он поблагодарил от имени государства, — ребята помогли сберечь лес — государственное добро.

«Как хорошо у нас получилось, быстро, — думала Маша. — Дружно взялись. В учкоме я всё старалась сделать сама, — боялась, что ребята подведут, а заставить не умела. Здесь я одна из старших, кандидат комсомола. Здесь надо поучиться именно других организовывать. Всё хочется самой сделать, но требуется не это. Вот и Коля говорит, что я за всё сама хватаюсь. Плохой я организатор пока что».

Зеленые еловые ветки украшали красное полотнище с надписью «Добро пожаловать!», прибитое над воротами. Младшие ребята приехали со станции на двух телегах, которые дал соседний колхоз. Старшие с Гошей во главе шли от поезда строем и изрядно устали. Но, подходя к даче, все подтянулись, горнист вытянул вперед руку с горном и затрубил, барабанщик рассыпал мелкую дробь, знаменосец поднял базовое знамя повыше. Так они и вошли в лагерь, радуясь расчищенным, посыпанным песком, дорожкам, зеленым ветвистым деревьям, прочно вбитым в землю столбам турника с железной перекладиной и высоким качелям с новыми крепкими веревками.

Ударная бригада встретила их на крыльце дачи. Все койки были застланы чистым бельем, на тумбочках в консервных банках стояли букеты полевых цветов, а в столовой уже дымился воспетый в пионерской песне белый картофель, политый маслом с жареным луком. Дядя Вася в щегольском накрахмаленном белом колпаке стоял в дверях столовой, приветствуя ребят поднятой вверх поварешкой. На третье он приготовил сладкий клюквенный кисель без единого крахмального комочка, яркоалый и прозрачный.

Вечером на линейке Лоза была избрана председателем совета лагеря. После спуска флага ребята умылись и разошлись спать, а вожатые сидели на перилах широкого дачного крыльца, обсуждая план пионерской работы. Маша любовалась черными силуэтами деревьев, стоящих на берегу реки. На фоне угасающего вечернего заката они, казалось, были нарисованы тушью.

— Я узнал в сельсовете подробности о пожаре, — сказал Гоша, сжимая плотно губы. — Найден бидончик от керосина. Это был поджог. Это классовый враг орудует, кулаки. Мы создаем колхозы, чтобы никто никого больше не эксплуатировал, не угнетал, а они поджигают наш лес, наши дома. Ну ничего, они ответят. А что должны делать мы?

Его не сразу поняли — так неожиданен был переход от одного к другому. Что должны делать мы? Помогать гасить пожар? Хорошо учиться?

— Мы должны помогать молодым колхозам. У них, например, еще не научились учитывать рабочие часы, грамотных людей там мало, вот и надо помочь. Среди нас девять человек комсомольцев. Надо помочь здешним пионерам и комсомольцам, — редко сюда приезжает начальство из области, варятся они здесь в собственном соку. Надо стенную газету выпустить, плакаты нарисовать им, художественное оформление в избе-читальне сделать.

— Я думаю, нам надо ночные дежурства ввести, — сказал Сорокин. — Мало ли что еще кому вздумается подпалить...

— Ну что ж, введем дежурства.

— И еще — надо будет провести военную игру, — продолжал Коля. — Я с ребятами уже ходил осматривать местность. В лагере завода «Красная Бавария» устраивали ночную тревогу, — возможно, и мы устроим пробную, как ты думаешь, Гоша? По условиям военной

игры лагерь «Красной Баварии» может напасть на нас в любое время суток. Важно не проспать, не растеряться.

— Устроим пробную тревогу, — согласился Гоша. — Завтра, чтобы не перепугались маленькие, на линейке предупредим, что она будет, а в какое время суток, — неизвестно. По сигналу тревоги все выходят и строятся по отрядам. У нас еще много таких ребят, которые думают, что про войну только в книгах пишут, а на самом деле ее никогда не будет. А вот вы видите: кулаки поджигают лес. Так неужели международные империалисты добрее наших кулаков? Они готовы всех нас живьем сжечь. И нам надо быть ко всему готовыми.

Лоза жадно слушала Гошу Русанова. Он правильно говорил. Но как не хотелось думать о войне, о гибели людей! Куда легче и приятней быть доброй, чем ненавидеть. Но что же поделаешь, если еще есть на земле негодяи, мерзавцы, враги, поджигатели? С ними надо вести борьбу, другого выхода нет.

А пока было мирное лето, и пионерский лагерь жил своей обычной жизнью. Многие ребята были в лагере не впервой, но Маше всё казалось в новинку. Вот разбили ребят по звеньям, дали каждому звену наряды. Кто плакаты рисует, кто строит мостки на речке, кто направился в колхоз для связи, чтобы узнать, какая помощь требуется от пионеров.

Председатель познакомил ребят с агрономом, и тот помог составить план работ на уборочную кампанию. Еще придумали — помочь выпустить стенгазету в колхозе, нарисовать плакаты и лозунги, пригласить сельских ребят на костер.

Маша успела привязаться к своим ребятам, особенно ко второму звену первого отряда. В него входили беспокойные, страшно деловитые мальчишки: Егоров, Богданов и Галкин, умевшие повести за собой остальных на штурм самых трудных крепостей. Егоров отлично управлялся со столярным и слесарным инструментом, Богданов лучше всех делал стойку, плавал и нырял, а Галкин, немногословный и задумчивый паренек, явно был поэтической натурой, хотя стихов не писал. Он замечал всё красивое вокруг, любил вести дневник звена, снабжая его самодельными иллюстрациями, и имел только одну слабость: каждую запись в дневнике, всегда не похожую на предыдущую, он заканчивал одной и той же фразой: «и вскоре весь лагерь погрузился в глубокий сон...». Он сам понимал, что это однообразно, но не мог отступить от правды: дни были разные, а вечера кончались одним и тем же — сигнал ко сну... покой... ночь и никаких событий.

Однако одна из ночей оказалась даже очень насыщенной событиями и обошлась Маше так дорого, что Маша запомнила ее надолго.

События развернулись так: в третьем часу ночи, когда председатель совета лагеря Маша Лоза спокойно спала, прижавшись щекой к жесткой, но приятно нагретой подушке, ей стал сниться странный сон: какой-то пастушок вел стадо на реку и красиво играл на дудочке. Но коровы, вместо того, чтобы идти в воду, стали теснить туда Машу. Они толкали ее круглыми боками, она оступалась по сырой холодной глине всё ближе к воде, и, наконец, вступила в воду. Стало совсем холодно, и тогда пастух сказал каким-то очень знакомым голосом: «А еще председатель совета лагеря! Все пионеры на линейке, а она разоспалась!».

Маша открыла глаза, увидела ярко горящую электрическую лампочку и снова зажмурилась: какая же линейка; если еще ночь? Наверно, озорничает кто-то. Но, открыв глаза снова, она заметила, что все кровати не убраны, а девочек и след простыл.

В комнате было тихо, но за темным окном топали босые ноги и звучали голоса. Маша накинула юбку и майку и выбежала на крыльцо: Сорокин стоял с опущенной фанфарой в руках перед сонными ребятами, построившимися на линейку. Да, конечно: это была учебная тревога, которую Лоза позорно проспала.

То, что было дальше, показалось настоящей трагедией не только Маше, но и многим

младшим ребятам: все видели, что председатель совета лагеря прибежала по тревоге позже всех, позже самых маленьких пионеров, сонно таращивших глаза на Сорокина и всё же старавшихся принять по возможности молодецкий вид. Можно ли было простить кандидата комсомола Машу Лозу? Нет, с нее следовало взыскать полной мерой.

Дневник второго звена на следующий день вел Пека Галкин. Он записал коротко и совершенно ясно:

«Вчера погода стояла холодная и, ничего не замечая, мы ложились спать. Весь лагерь спал, когда вдруг звуки фанфары раскатились по лесу и затихли где-то в Шангине. Лагерь закипел. Наша комната пришла на тревогу раньше всех.

Когда все построились, Коля Сорокин предложил нашему председателю совета лагеря Маше Лозе выйти и объяснить, почему она опоздала на тревогу. Она проспала. Сорокин предложил ребятам высказаться по этому поводу. Одни предложили снять ее с председателей и при первом замечании выслать в Ленинград. А другие предложили только вынести ей выговор за халатное отношение к тревоге. Постановили: вынести выговор и дать возможность показать себя с хорошей стороны. Потом Коля распустил нас. Мы очень озябли, сразу легли под теплые одеяла и очень быстро погрузились в глубокий сон».

Маша на миг впала в отчаяние: проклятое здоровье, до чего же крепко она спит! А получилось, что недисциплинирована. Называется, комсомолка... Босоногие озябшие судьи вовсе не казались ей несправедливыми. Они тоже были не дураки поспать, но, однако, поднялись раньше ее.

Молчаливый Пека Галкин нравился Маше, он чем-то напоминал ей брата Севку.

«Дать возможность показать себя с хорошей стороны...» Таких возможностей у Маши было вдоволь. Прежде всего, она двинулась с ребятами первого отряда в Шангино, к председателю молодого, недавно возникшего колхоза.

Ребята хотели вовлекать единоличников в колхоз и просили председателя прикрепить к ним двух колхозников, чтобы ходить по дворам. Но председатель охладил их пыл. Он стал возражать и сказал, что в Шангине восемьдесят процентов крестьян уже колхозники.

— Так мы вовлечем остальные двадцать процентов! — воскликнула Маша.

— А их не надо вовлекать. Незачем.

— Как же не надо! — удивились ребята.

— А не надо. Единоличники наши — это девяностолетние старухи, которых не уговоришь, да ярые лишенцы, — эти очень даже охотно пошли бы в колхоз, да им доверия нету.

Чем же помочь колхозу? Председатель рассказал, что у них еще нет соревнования, надо помочь составить договор на социалистическое соревнование между бригадами. Нет у них стенгазеты — можно помочь выпустить номер. А еще пионеры могут помочь ворошить и убирать сено — работа не тяжелая и на свежем воздухе.

За последнее предложение сразу схватился Пека Галкин:

— Наше второе звено может выйти на субботник завтра, — заявил он председателю. Ему не терпелось поскорее заняться реальной помощью.

— Завтра еще рано, приходите через три дня утречком пораньше.

Возвратись в лагерь, Маша распределила поручения между отрядами и звеньями. Три дня спустя, в семь часов утра повар дядя Вася спешно кормил завтраком два звена пионеров, отправлявшихся в Шангино на уборку сена. Маша приняла от него три белых жестяных бидона, в которых лежали вареные яйца, огурцы и соль в спичечной коробочке. Три буханки хлеба были завернуты в старую газету.

Работа... Но это была не работа, скорее, гимнастические упражнения на свежем воздухе, или игра. Сухое сверху и влажное снизу сено лежало ровными рядами. Начали все

одновременно. Легкие грабли не трудили рук, а душистый запах свежего сена приятно наполнял грудь, набегал широкою сытной волной. Здесь дышалось так охотно, так хорошо!

А повыше, над лугом, в голубом светящемся воздухе купались маленькие легкие птицы.

Еще никто не устал, а Маша Лоза, посмотрев на ручные часы, взятые у Гоши, скомандовала: — Перерыв! Пошли отдыхать!

Они сели кружком возле Маши, а Пека растянулся на спине, подставляя солнцу щеки и веснушчатый нос. Стали рассказывать, по очереди каждый, о последней прочитанной книге. Отдохнули с полчаса и снова взялись за дело.

Солнце стало припекать. К счастью, все были в белых панамках. Во второй перерыв ребята с радостными криками набросились на еду — до чего же мудрый человек дядя Вася! Сами бы забыли, если б не он.

Егоров и Богданов взяли пустые бидоны и сходили в село за водой. Пили из бидонных крышек, из бумажных фантиков.

Когда завтрак пришел к концу, Пека встал во весь рост и изрек:

— Пришли сюда, что увидели? Красоту. Уходим домой, что, оставляем? Мусор? Не выйдет это дело!

Он тут же вырыл перочинным ножом ямку, и все побросали туда размокшие бумажные кулечки и яичную скорлупу. Пека засыпал их землей. На лугу снова стало чисто.

«Хороший мальчишка, кто его научил!» — восхитилась Маша. Но Пеку никто не учил, просто он был очень чувствителен ко всему, что нарушало красоту.

Не легко было Маше после той злосчастной ночной тревоги. Начнешь поучать ребят, а они скажут: «А ты-то сама что? Проспала ведь». Она старалась держать себя так, чтобы поведением своим поучать, и поменьше — словами.

Однажды на купаньи одна девочка заплывала далеко и стала тонуть. Она вскрикнула, глотнула речной воды, на секунду скрылась под водой, снова вынырнула...

Маша ринулась к ней. Дернула девочку за руку, но тут же сама ушла под воду — не так-то просто спасать утопающих... Главное, опереться не на что, речное дно — далеко внизу, и не дай боже его достать!

Маша невольно выпустила руку девочки, чтобы удержаться на воде. Мелькнул и снова начал уходить в воду затылок с тоненькими косами. Косы! Маша схватила их левой рукой и поплыла к берегу. Неимоверно тяжелый груз медленно следовал за нею и тянул вниз.

До мелкого места было недалеко, но Маша запыхалась так, словно плыла целый день.

Подроспевшие девчата помогли откачать подругу и отвели ее в изолятор к медицинской сестричке.

Целую неделю готовились к костру: разучили новую песню, подготовили танцы, номера художественной гимнастики. Костер поручили звену Галкина, звено припасло много еловых веток и хвороста. И долго на широкой поляне перед пионерской дачей пылал, потрескивая, большой, высокий костер.

Утром на линейке вожатый Гоша раздавал звеньям наряды. «Отдых должен сочетаться с трудовым воспитанием», — говорил он своему активу. Наряды были немудрящие: подмести дорожки, начистить к обеду картофеля, помочь разливать кофе за завтраком.

Звену Пеки Галкина поручили сделать грибок — навес от солнца. Никто не припас для них материала, они сами нашли за кухней подходящий столбик и отодрали от ящика из-под яиц несколько досок. Когда столбик был вкопан в землю, а доски прибиты сверху крестом, ребята набросали на них еловые ветки.

— Ребята, Гоша зовет купаться! — крикнул Богданов, и все побежали на реку. Пека задержался — надо было уложить ветки ровнее, равномерней.

И вдруг столбик накренился и упал. Видно, плохо умяли землю вокруг, когда его вкапывали. Всё сооружение рухнуло. А Гоша зовет купаться... Но Пека не забывал, что за галстук у него на шее. Он вырыл ямку поглубже, вставил туда столбик и, придерживая его левой рукой, засыпал у подножья землю. Засыпав, утоптал землю ногами, обутыми в сандалии, и попробовал толкнуть: столбик не шелохнулся.

На речку он прибежал, когда вся вода у берега была покрыта стриженными головами.

— Ты где носился? — спросил Гоша.

Пека объяснил.

— Это не для одного работа. Наверно, непрочно сделал, — усомнился Гоша.

Пека обиделся:

— Проверь, хоть сейчас. А один потому, что пионер — всё равно пионер, даже если он один останется.

— Правильно! Ты это в «Ленинских искрах» вычитал?

— Не вычитал. Лоза говорила.

И как-то самой собой случилось, что Машины ночные босоногие судьи привязались к ней крепко. Девочки звали ее «Маша» и всегда вертелись вокруг, брали под руки, мальчишки называли официально «Лоза» и внешне не выражали никаких знаков симпатии, но любили, чтобы она ходила с ними, чтоб принимала их работу.

Маша замечала это и относилась за счет того, что ребята скучают по родным. Хорошо в лагере, но к концу срока мысли невольно тянутся к папе и маме, — такой уж возраст.

Это чувствовалось и в лирических записях Пеки Галкина, который любил описывать в дневнике своего звена красоты природы. За три дня до отъезда Лоза прочитала его запись:

«Солнце уже освещало всю окружающую природу. Ребята спали крепким сном и ни одного звука не было слышно во всей даче. И только птицы пели в лесу свои веселые песни. Одна сорока летала с дерева на дерево и призывала к себе своих любимых детей. Жаворонок, поднявшись высоко к самым белым облакам, пел свою песню и навевал людям воспоминания о близких, о папе и маме... Заиграла фанфара, и ребята быстро вскочили, а я раньше всех, потому что не спал и смотрел в окно на эту красоту...»

Глава семнадцатая

Тихо течет Сейм, разбросав неширокие рукава по зеленой луговине. По берегам — камыш, лодки, привязанные к пенькам или вбитым в землю колышкам.

Но вот река вбегает под своды высоких деревьев, точно под зеленые арки. Она огибает круглый крутой мысок, на котором стоят кирпичные корпуса сахарного завода. Зданий много, но их прикрывают деревья, пышные кустарники жасмина, низенький терновник. Сад или лес, никак не завод! Хорошо.

На главной улице, прорезавшей заводской поселок, маленькое чистое строение, побеленное снаружи и изнутри. Это радиостанция. Хозяином здесь — кучерявый белозубый парень в голубой трикотажной майке, Машин семнадцатилетний двоюродный брат Валентин Лоза.

Валентин разрешает Маше зайти посмотреть его станцию. На щитах торчат какие-то рукоятки, кнопки, их очень много. Стоит покрутить одну из них — и раздается какой-то странный, убывающий свист, словно кто-то нырнул в водоворот и исчез, втянутый на самую глубину. Фюютть! Виуу! Фьовв! Чьи это голоса? Он их ловит в эфире, но чьи они? Не марсиан ли каких-нибудь?

Валентин снисходительно поглядывает на двоюродную сестру. У него такие же, как и у нее, пухлые, резко очерченные губы, а нос чуть покороче и позадиристей, вроде как у дяди Тимофея.

Зато Валентин кучеряв, а Машины гладкие волосы туго заплетены в косы, и никогда они виться не будут. И везет же мальчишкам!

— Какую тебе станцию? Хочешь, настрою на Киев, на Мадрид, на Париж? Заказывай — услышишь.

Она заказывает и Киев, и Москву, и Париж, и Мадрид, И всё прекрасно слышно. Жаль, она не знает испанского и французского языка: говорят так четко, так раздельно, что очень хочется понять. Хотя, кто их знает, что они там передают. Может, против нас какие-нибудь гадости?

— Ты комсомолец? — доверчиво спрашивает Маша двоюродного брата.

— Я беспартийный интеллигент, — отвечает он с усмешкой. — Энтузиасты всюду нужны, как сказал автор пьесы «Чудак». Хорошая пьеса. Я ее по радио слушал, из Москвы транслировали.

— А почему ты не вступишь в комсомол, если ты энтузиаст?

— Слушай, сколько тебе лет, агитаторша?

Она краснеет:

— Шестнадцать скоро. Я не агитирую. Смешно агитировать за то, о чем молодежь мечтает.

— Я не карьерист. Я докажу, что и без комсомола я буду полезным советским гражданином.

— Конечно, полезным можно быть и без комсомола. Но ты один, а так был бы в коллективе. Организованный человек чувствует не только свою личную силу, ему уже и сила коллектива своей кажется и духу придает. Ты индивидуалист.

— Ну, ладно, оставим философию. Сейчас будет пионерская передача, как раз для тебя. Послушай.

Он включает Москву. Звенит фанфара, и хор из маленьких ребят, девочек и мальчиков, запевает тоненькими голосами:

*Труба зовет и меди голос звонкий
Несет призыв за горы и моря.
В Калькутте, Вене, Лондоне, Нью-Йорке
Зажглась в сердцах московская заря.
Глаза и воля непреклонны,
Уж недалек последний бой,
И пионерские колонны
Идут шеренгой боевой!
И пионерские колонны
Идут шеренгой боевой!*

— Я знаю эту песню. Это песня пионерского слета. В Германии, в Галле состоится всемирный пионерский слет.

— Слет не состоится. Его запретили. Газеты читать надо, или радио слушать.

Что такое? Действительно, она, как приехала сюда из лагеря, несколько дней не брала в руки газет. Как же — запретили? Не может быть!

На столе у Валентина — газета. Она хватает газету, ищет сообщений о слете. Вот оно! Маша читает:

«Префект сообщил, что в целях гигиены... для предотвращения грозящей обществу опасности для здоровья, проведение 2-го всемирного детского слета в Галле запрещается...»

А по радио всё еще звучит знакомая песенка:

*Глаза и воля непреклонны,
Уж недалек последний бой,
И пионерские колонны
Идут шеренгой боевой!*

Но почему же поют песню слета, если слета не будет?

И диктор отвечает Маше:

«Вопреки всем запретам, международный слет юных пионеров начинается сегодня вечером в Берлине двенадцатью митингами во всех частях города... Молодое поколение пролетариата протягивает через границы капиталистических стран друг другу руки для революционной борьбы совместно с взрослыми братьями и сестрами.»

Валентин тоже слушал с интересом, а Маша злорадствовала: ага, беспартийный интеллигент, понял, что значит — организованность? Ты услышал о запрете и сразу поверил и успокоился. А комсомольцы, а организованная ребятня не успокоились, боролись, искали выхода. И, конечно, нашли: слет состоится в Берлине, слет уже начался! Trotzalledem,^[1] как говорят красные фронтовики.

И только одно огорчает: советским пионерам не разрешили въезд в Германию. Испугались буржуи. Кого испугались? Подростков двенадцати-четырнадцати лет! Испугались пролетарских ребят!

Маша начинает постепенно чувствовать вместо огорчения что-то другое, вполне приятное: чувствовать гордость. Только подумать: испугались советских пионеров! Значит, мы — сила, значит, не только отцы наши страшны международному капиталу, но и мы, малолетние советские граждане! Хорошо, не зря существуем! Нас признают за силу.

— Эх ты! — бросает Маша вскользь Валентину. — Немецкий полицейпрезидент Цергибель и то понял, что такое пионеры и комсомольцы, а ты никак понять не можешь. Энтузиаст!

И она выбегает из беленького дома радиостанции, не дав ему опомниться, не дав ответить. Валентин стоит в дверях, придерживаясь рукой о косяк, и провожает ее взглядом.

Маша пошла искать секретаря комсомольской ячейки завода — Фросю Ховрину. Фрося работала поварихой в заводской столовой. Она сидела на скамеечке перед грудой картошки, чистила ее и бросала в ведро с водой.

Маша объяснила, что она недавно принята в кандидаты комсомола и летом тоже не хочет отрываться, а хочет участвовать в работе комсомольской ячейки завода. Фрося ничуть не удивилась, скорее обрадовалась и сказала:

— Это хорошо, у нас Леша Стукачев уезжает на две недели в отпуск, некому руководить кролиководческим кружком. У нас пионеры кроликов имеют, работает кружок. Вообще, мы пионерами слабо руководим в летнее время. Хочешь, займись. Их человек тридцать.

— Только я... — Маша стеснялась сказать, что она никогда не держала в руках ни одного кролика. — Я только о кроликах мало знаю...

— Ты не бойся, у Леша книга была, он всё по книжке им рассказывал. Он тебе даст эту книгу перед отъездом. А еще я скажу ребятам, чтобы извещали тебя, когда мы будем ходить помогать колхозу, на субботники. И когда собрания будут, тоже известим.

Фрося остается чистить картошку, а Маша уходит.

И вот он, кружок — десять пионеров, и вот они — кролики: два венских голубых и два черных. Они сидят в клетках, грызут траву и листики капусты, принесенные пионерами. Учебник по кролиководству — в руках у Маши, ребята смотрят на нее с доверием: эта ленинградская дивчина наверно хорошо разбирается в кроликах, не то что Леша Стукачев.

Старая баржа тихо покачивается у берега, низко над ней свисают длинные, узкие ветви ивы. Сейм течет неслышно, тишина, жара, и только на барже, в тени ив кажется чуть прохладнее. Пионеры довольны: занятие проходит интересно. Ничего, что нет своей комнаты для сборов: днем можно собираться и на старой барже, и на берегу Сейма, прямо на траве.

Они по очереди спрыгивают с баржи на стоящую у берега дырявую лодку, потом на старенькую пристань, доски которой наполовину сгнили. Все бегут к переправе, у которой их ждет баркас. Баркас заводской, без весел, специально, чтобы перебраться на другой берег. Маша переправляет сначала половину ребят, а с остальными садится сама. Гребут руками, с удовольствием окуная по локоть руку в прохладные воды реки.

Тот берег — пологий, там лучше купаться. Все раздеваются и лезут в воду. Над рекой долго звучат смех и ребячий крик. Никто не хочет вылезать из воды. Но Маша, вспомнив, что она взяла на себя функции вожатой, подает команду «свистать всех на палубу!» Ребята никогда не слышали этой морской команды, они послушно вылезают на берег, натягивают на мокрое тело свою одежку и строятся по росту.

— В четверг будет не только кружок, — сообщает Маша. — В четверг я принесу «Пионерскую правду» и будем читать про мировой пионерский слет... Всемирный пионерский слет — поправляется она. — Слет происходит в Берлине. Вы скажите всем другим пионерам, чтоб приходили.

— А не пионерам можно? — раздается робкий вопрос. Это девочка в синем платье вспомнила, что мама, наверняка, непустит ее в четверг одну, а только с братишкой, которому восемь лет.

— Неорганизованным тоже можно, — серьезно отвечает Маша.

В летнем театре завода состоялось комсомольское собрание. Маша не выступала, но внимательно слушала, чтобы лучше познакомиться с людьми. Не в том сила, чтобы брать на веру каждое слово, нет. Но каждый говорит о деле по-своему, из выступлений видно, кто чем дышит. И любителя громких фраз сразу распознать можно. Не только по тому, как он говорит, но и по тому, как его слушают.

На собрании шел разговор о том, что комсомольцы плохо помотают молодому соседнему колхозу «Путь Ильича». В колхоз вступили самые маломощные хозяйства, изрядное количество стариков и немощных, рабочей силы нехватает. А единоличники стоят в стороне и ждут, что выйдет из этого опыта. Если хорошо справится колхоз с уборкой, то многие вступят с осени. Если же нет, то попробуй, уговори их...

— А можем мы допустить, чтоб колхоз не справился, я вас спрашиваю? — говорила Фрося, обращаясь к собранию. — Тут дело ясное на сто процентов. Какие мы тогда комсомольцы, если не поможем им! Надо провести несколько субботников, чтобы все вышли. Первый субботник состоится завтра, в воскресенье. Собраться надо к пяти часам утра, туда идти минут сорок. Ребята косить будут, а мы сено гарнуть.

Постановили: всем комсомольцам участвовать. Субботники проводить по мере надобности. А на месте беседовать с единоличниками, чтобы вступали в колхоз.

Потом пошел разговор об очистке жомовой ямы. Еще зимой комсомольцы взяли на себя ударное обязательство — очистить яму от остатков свекольного жмыха, подготовить к новому урожаю свеклы. Яма была очень большая, не меньше заводской спортивной площадки, и вся выложена булыжником. Старые жмыхи давно прокисли и отравляли воздух зловонием.

Постановили: начать работу по уборке ямы со следующего понедельника с пяти часов дня. И работать до тех пор, пока не вычистим. Участвовать всем.

Да, это уже начинало походить на фронт, на трудовой фронт. Не зря же решила Маша участвовать в жизни комсомольской ячейки. Будет что написать Коле Сорокину!

На другое утро она поднялась с зарей. Завтрак был еще не готов, мама и братья спали. Маша выпила большую кружку парного молока, съела изрядный ломоть круто посоленного хлеба, другой ломоть захватила с собой и пошла. Сбор был назначен у турника в саду, недалеко от летнего театра. Она перебралась на лодке на заводской берег Сейма и поднялась в садик. Турник был свободен, на траве и листьях поблескивала утренняя роса.

Маша была очень недовольна своими руками: они были тонкие, не сильные, с еле развитыми мышцами. Даже «беспартийный интеллигент» Валентин хвастался своими железными желваками, выраставшими выше локтя, когда он сгибал руку. Все заводские ребята были сильные, они вертелись на турнике «солнцем», выделяли разные замысловатые номера на глазах у восхищенных девушек. И девушки были не слабые. Только она, ленинградская рослая девчонка, на деле была хлипкой. Она так и ждала, что кто-нибудь заметит это и посмеется.

Пока никого не было, Маша попробовала подтянуться на турнике. Кряхтя и краснея, мучаясь от напряжения, она подтягивала свой подбородок к железной перекладине, и дальше — ни с места. Раскачиваться на весу — это пожалуйста. Покачалась и снова попробовала подтянуться с ходу, с размаху, обманув слабые руки. На мгновение удалось, потом снова ничего не вышло. И всё-таки с каждым рывком, с каждым движением она чувствовала себя крепче, уверенней. Ничего, добьется. Характера у нее хватит.

Собрались ребята. Сырым прохладным лугом пошли до села Тимохино, в колхоз «Путь Ильича».

Сено убирали в молодом тимохинском саду. К полдню в сад пришла бригада ремонтников-комсомольцев. Бригада закончила ремонт трактора, ребята услышали девичьи голоса и пошли полдничать в сад. По пути они нарвали зеленых яблок и стали угощать девушек.

Маша сидела под маленькой кургузой яблонькой и жевала свой хлеб. Блаженная усталость гудела в ее руках, ногах и спине. Только ладони болели, натертые с непривычки деревянными граблями до волдырей. Теперь и она знает, что такое крестьянский труд.

Работали после отдыха до двух часов дня. Домой она пришла усталая, довольная и голодная. Пообедала с аппетитом и забралась на сеновал. Зарылась в душистое сено, подсунув под голову свою белую косыночку, и заснула счастливым сном правильного человека, у которого нет никакого разлада с самим собой.

Вечером мама ушла в гости к дяде, на другой берег Сейма. Маша накормила братьев ужином, заставила их почистить зубы и вымыть ноги и уложила спать. Кажется, дела сделаны. Кажется, можно и посидеть на улице с девушками, погрызть семечки и посмеяться.

Возле соседней хаты на земле лежали два толстых бревна. Кора с них давно была ободрана, они блестели, лысые и гладкие, и отлично заменяли молодежи скамейку. Сейчас на этих бревнах тоже сидели парни и двое девчат. Один лениво щипал струны мандолины.

Маша под села с краю, возле худенькой, беленькой Зины. Шел ожесточенный спор. Спорил Федька Твердунов, парень с резким, наглым лицом. Когда он умолкал на миг, на него набрасывались все, кто только мог найтись, что ответить. Федька был известный спорщик.

— А я не вижу свободы мнений, — говорил он. — Подумаешь, правые, левые. И пусть. Как хотят, так и поступают, как им соображение подсказывает. Я за свободу мнений.

— А знаешь ты, чего они добиваются, твои правые, знаешь? — кипятился Леша Мытников. — Они против генеральной линии, против колхозов. Люди из сил выбиваются, новую жизнь налаживают, а эти правые свободой мнений балуются.

— Так поэтому надо жать на всех, да? — кричал Федька. — А если моя совесть не позволяет мне подчиняться, тогда что? Что это за партия, если она слепо подчиняется директивам свыше?

— Совесть! — воскликнула Зинка и рассмеялась. — Твоя совесть что хошь позволит. Молчал бы уж ты об своей совести. Дон Жуан!

— Зиночка, мы сейчас о политике... Дай поспорить, а потом сходим в парк, и я всё тебе объясню...

— Если по-твоему сделать, Федька, — продолжал Мытников, — то никакой партии вообще не надо: валяй кто во что горазд! Вот об чем ты мечтаешь.

— А что, и не худо.

Маша слушала и кипела.

— Что вы, ребята, солдаты, что ли? — продолжал Федор. — Требуют, агитируют... Видел я утром, как вы на дармовую работу спешили. Народ правильно говорит: дураков работа любит.

— Ну, ты не хами, пока не получил, — сказал Мытников и встал. — Ври, да знай меру.

— Ах, извиняюсь, что затронул ваши струны... Зиночка, а не пройтись ли нам искупаться? Ну их всех, этих директивщиков.

— Иди-ка ты подальше, обормот.

«Он против самого главного, против нашей организованности, против дисциплины, — соображала Маша. — Мутит ребят. Какая же организация, если меньшинство не будет подчиняться большинству?» Ввязаться сразу в разговор она не смела и ждала подходящего момента.

Зина встала и отошла пошептаться с подходившей к бревнышкам девушкой. Парни продолжали спор.

— Не дают низам свободы, зажимают! — снова кричал Федька, не слушая возражений.

— Скажите... а вы знаете, что в партию вступают добровольно? — спросила, решившись, Маша. Все обернулись к ней.

— Знаю, кто не знает.

— Значит, люди добровольно, сознательно приняли для себя эту дисциплину, значит, осмыслили...

— Мало ли что вступили, не знали раньше, — сказал Федька неуверенно.

— А партии вовсе и не требуются такие, которые и сами ничего не смыслят, и других путают, — снова сказала Маша. — А вы знаете, что проповедуете?

— А что?

— Анархизм вы проповедуете, вот что, — сказала Маша и отвернулась в сторону.

— Молодец, ленинградская! — засмеялся Мытников. — Ты ж, Федька, самый настоящий анархист. Дисциплина не по тебе, подчинение большинству — не по тебе. А что по тебе?

— Надоели вы мне, товарищи, — с притворной ленью произнес Федька. — Повторяете чужие мысли, а самостоятельности никакой.

В это время к спорящим подошли Зина и Фаня, окончившие свой разговор шёпотом. Они скромно попросили подвинуться, если можно, и Федька порывисто вскочил:

— Садись, Фанечка, садись. Эх, за хорошую бабу всё на свете отдам! — крикнул он напоследок неизвестно кому. Хлопцы засмеялись, а с ними и девушки.

На следующий день Маша пришла в поселок ровно к пяти часам дня. Комсомольцы собирались после работы, усталые за день. Глядя на них, Маша думала: «моя доля меньше: я отдыхала». Надо было оказаться не хуже других и в этой работе.

От работы лопатой волдыри на ладонях разболелись еще сильнее. Надо же было, чтоб эти субботники шли один за другим! Вдобавок, лопата скрежетала о камни — этот звук был невыносим для Машиных ушей. Старый жом разил прелью и кислой вонью, но потому-то его и требовалось убрать. Дело подвигалось медленно.

Работали, пока не стемнело. Маша зашла посидеть к Валентину. Ей было невмоготу сразу

идти домой.

Дядя Илья был дома. Жена его, маленькая кудрявая тетя Рина только что расставила на столе хлеб, масло и тарелки к ужину. Машу пригласили, и она не смогла отказаться.

— Как отдыхаешь, Машенька? — ласково спросила тетя Рина. — Она говорила очень мягко, не терпела споров, и сама всегда смягчала возникавшие дома мелкие конфликты. Она всегда подавала нищим и не понимала, как можно проводить раскулачивание, — кулак ведь тоже человек. Она и слова-то произносила мягче, чем надо: «Иля» вместо «Илья», «пьяный» вместо «пьяный».

— Ты лучше спроси ее, откуда она сейчас? — сказал Валентин и захохотал. — Она жомовую яму чистила!

— Машенька! — воскликнула тетя Рина, скорбно сведя брови.

— У нас был субботник, — устало ответила Маша.

— Субботник! Нет, но что тебя заставляет, Машенька? Ведь ты же приехала отдыхать, поправляться! Какой ужас!

— Тетя Рина, я принята в кандидаты комсомола, — начала Маша серьезно. И умолкла: Валентин смотрел на нее, не скрывая насмешки. Нет, здесь не стоило объяснять свои побуждения.

— Но, девочка родная, зачем тебе заниматься этим черным физическим трудом! Неужели для этого нет других, менее развитых, менее интеллектуальных молодых людей и девушек!

— Ты хоть справку отсюда возьми, что ударно работала, — сказал Валентин и снова рассмеялся.

— Какой ты... — не выдержала Маша. — Неужели я стараюсь для справки?

— Возьми, пригодится. Выдвинут куда-нибудь.

— Видимо, тебе очень, обидно, что тебя никуда не выдвигают?

— А мне и не надо. Я своей радиостанцией очень доволен.

— Дети, кушайте яичницу, — вмешалась тетя Рина. — Не надо столько спорить, это портит характер. Каждый поступает, как ему хочется, ведь правда? Пусть каждый останется при своем.

«Грош мне цена будет, если этот «энтузиаст» останется при своем к концу лета», — подумала Маша, но замолчала. Она еще поспорит с этим чудаком! Не понимать простых вещей!

Дядя Илья был полетать жене: добродушный, мягкий, он в то же время не стеснялся иронизировать над такими вещами, которые Маше казались святыми и бесспорными. Он то и дело подшучивал над заводскими комсомольцами, над малограмотностью их секретаря Фроси Ховриной, которая хорошо борщ варит, но ничего не смыслит в культурной революции. Маша была еще слишком мало вооружена фактами, чтобы разбить противника легко и быстро. Она старалась защитить честь комсомольской ячейки, как могла, но они, эти родственники, не поддавались никакому воздействию. Согласившись с нею на миг, дядя Илья через минуту снова острил по тому же поводу. Нет, спорить с ними было бессмысленно. Или, может быть, рано для Маши, — вот поживет с месяц, тогда и у нее фактов наберется. Однако с Валентином нельзя было не спорить. Он сам то и дело вызывал ее на спор.

«Ну их, обыватели, — подумала Маша о дядиной семье. — Противно ходить к ним. И не за чем. Зашла, исполнила долг вежливости, потому что мама велела, а теперь хватит. Только и разговоров у них, что о родне, о старых знакомых, да о нарядах».

Маша попрощалась, — пора было отправляться домой.

— Постой, Ершик, я тебя провожу до перевоза, — сказал Валентин и набросил на плечи пиджак. Вышли вместе.

— Я потому не вступаю в комсомол, — начал он без предисловий, — что мне не нравится моральный облик наших заводских комсомольцев. Ты же их не знаешь. Такая распушенность,

ничего святого... Парни так хвастаются своими успехами, да и девушки не лучше. Ты скажи, на чем держится комсомольская мораль? На чем? В бога вы не верите, совести не признаете...

— Кто тебе сказал, что совести не признаем? Что ты вообще читаешь, Валентин?

— Я читаю... я особенно охотно читаю двух великих писателей, — сказал он серьезно: — Достоевского и Толстого. Вот мои образцы. Они проповедуют высокую мораль, это тебе не ваша ячейка (он сам не заметил, как соединил в одно Машу и заводскую ячейку комсомола, и Маше это польстило). Толстой для меня — высший образец нравственности. Вот у кого учиться.

— Конечно, непротивление злу насилием...

— А что, думаешь, так нельзя добиться многого? Можно. Именно гордым непротивлением, на виду всех. Чтобы совесть заговорила у человека, чтобы ему самому стыдно стало. А силой — это что... Нет, я не вижу у вас нравственного идеала.

— Люди умирали, людей вешали, расстреливали, даже имена их в большинстве не записаны нигде, даже славы для них нет, а он не видит идеала! — сказала возмущенно Маша. — Такие, как ты, видят только себя и свою культурную привычку чистить зубы по утрам. Вы даже не замечаете, что вокруг Делается. Революция теперь продолжается в деревне, там тоже коммунисты жизнью рискуют ради наших идеалов... пока ты на своей радиостанции наслаждаешься, — подчеркнула она, ибо считала, что работать техником на радиостанции — это просто наслаждение и забава. — Ну что такое Достоевский и Толстой? Ну, хорошие писатели, и то, смотря в чем. В Достоевском я вообще ничего хорошего не вижу.

— А ты читала «Идиот»?

— Нет. Но я «Бесы» читала, это карикатура, пасквиль на революционеров.

— Ты прочитай «Идиота». Глубже книги я не видал, ей богу. Ты прочитай и вдумайся.

— Напрасно ты надеешься, что Достоевский может меня поколебать, — сказала она. — Просто ты стараешься уйти подальше от современности, спрятаться за этими писателями. Но ведь ты же молодой парень. Ну, почему, почему ты так оскорбляешь их всех, заводских комсомольцев? Ты слышал их когда-нибудь на собраниях? Ты видел, как они после работы, усталые, яму чистят? Выгоды же никакой. Только сознание, что помогут заводу, помогут государству и партии. Неужели это, по-твоему, не нравственно?

— Ты их идеализируешь. Не сознают они всего этого. Идут и идут, подумаешь, трудно поработать часика два...

— Не трудно, так почему же ты не пошел? Почему? Боялся брюки запачкать?

— Я на своем месте пользу приношу.

— А они не приносят? Они пришли после рабочего дня.

— Ты не агитируй: я убежденный толстовец и говорю это тебе, так как доверяю. Толстой дал такую красоту нравственности, что никаким комсомольцам до нее не дотянуться.

— Жизни ты боишься, Валька, жизни боишься! Не подготовлен ты к ней, вот тебя и пугает.

— Можно подумать, что ты подготовлена. Все руки в волдырях.

— Руки это да, но сама я давно уже себя воспитываю. Ты даже не знаешь, какой я была когда-то безвольной и тряпкой. Это порода наша, лозовская, — добряки! Ни богу свечка, ни чёрту кочерга.

— Однако папашу моего ценят. Честный специалист.

— Не знаю, а рассуждает он плохо. Ничего не понимает человек. И тебе не стыдно за отца?

Она задела самое сокровенное. Отец был для Валентина образцом чистоты и нравственности. Валентин старался шутить так же, как папа, и быть таким же добрым, как папа. Это отец устроил ему такую интересную работу, как работа техника на радиостанции, отец добился ассигнований на эту станцию, — она стояла заводу не мало.

— Ты сама доедешь на тот берег или перевезти? — мрачно спросил он, не отвечая на

вопрос.

— Сама.

— Спокойной ночи.

Глава восемнадцатая

Ячейка поручила Маше и Фане пойти снова в «Путь Ильича» и договориться с председателем колхоза о дне субботника и о подготовке нужного количества цапок. Предполагалось полоть и окучивать капусту.

Девушки вышли утром после завтрака. Они шли дорогой, ведущей в райцентр, по широкому лугу, мимо маленьких молодых рощ и колхозных полей.

Девушки шли, болтая о чем придется, неся в руках туфли, чтобы не замочить их в утренней росе. И вдруг на лоб, на щеки и нос упали капли дождя. Потемнело внезапно. Полил сильный дождь.

Девушки подбежали к кустам лозняка, сели на землю и скрутили над головой верхушки кустарника. Дождь проникал сквозь это укрытие, но сидеть здесь всё же было спокойней — гремел гром, луг озаряли молнии, в воздухе было тесно от дождя и ветра.

Они сидели, прижавшись друг к другу. Маша узнала, что у Фани родителей нет, живет она у тетки, на каждый кусок глядит из чужих рук. У ней ничего почти нет, кроме той одежды, что на ней. Тетка не пускает ее в ячейку и на субботники, но Фаня всё-таки ходит, потому что там она хоть не одна, а с друзьями-товарищами. Она и дома не отказывается помогать на уборке сена и на огороде.

Они шептались, а дождь колотил их по спинам с таким постоянством, что девушкам надоело. Встали и пошли дальше. Мокрая трава хлестала по голым ногам, высокие пирамиды мальв ударяли мокрыми цветами по груди и лицу, но идти всё же было веселей, чем ждать, ничего не предпринимая.

У самого холма надо было снова переправиться через Сейм — здесь он был поуже, но достаточно глубок. Девушки нашли полную воды лодку, выплескали часть воды старой консервной банкой и переплыли реку, гребя каким-то обломком дощечки.

Дождь перестал идти так же быстро, как и начался. По скользкой глинистой дорожке поднялись они в деревню; ополоснув ноги в луже, вошли в сельсовет. На всех дверях в коридоре висели замки. Девушки вышли и стали искать избу председателя.

— Вам кого? — спросила, высунувшись из окна, дивчина в розовой косынке.

— Нам председателя надо.

— А, Гончаров! Он уехал в город продавать колхозную смородину.

Из окна избы, стоявшей на другой стороне улицы, высунулась другая голова, принадлежащая женщине постарше:

— А, Гончаров! Он скоро приедет, вы сходите к нему домой.

— А он не в Тимохинском совхозе? — спросила вдруг третья женщина из избы, стоявшей наискосок, включившись в это никем не открытое собрание.

— Да нет, на базаре, скоро вернется.

Маша с Фаней прошли в избу председателя, в которой одна комната была выделена под канцелярию. Счетовод предложил им посидеть, и они выжали вдвоем на крыльце свои летние пальтишки. Потом зашли в канцелярию и сели на лавку.

В канцелярии стоял галдеж. Бригада женщин и девушек с цапками в руках оживленно обсуждала поступок члена правления Сапожкова. Сапожков подал заявление о выходе из колхоза, мотивируя тем, что поругался с бабами.

— Пушай выходит долой, что он, устава не знает! — возмущенно говорила краснолицая женщина с мокрой косынкой на голове, босая, как и все. — Земли-то не получит обратно, которая под хлебом.

— Да нет, придется ему отрезать кусок, аль у нас, аль у Шадринской коммуны.

В селе Шадрине колхоз всё еще продолжали называть коммуной, — он возник на основе коммуны, созданной вскоре после окончания гражданской войны.

— Так ему шадринцы и дали.

— Нет, он главное, зануда, из-за чего! — не унималась краснолицая. — Мы это вышли с цапками и не знаем, куда идти работать. Видим — член нашего правления Сапожков на телеге едет. Мы к нему, — а к кому же нам еще, если председателя на месте нет? А Сапожков и не слушает, завернулся и едет... Ну, бабы ругаться. Раз ты член правления, ты ответь, объясни, тебе лучше знать! Подумаешь, фуфырится.

— У него семья в восемь человек, а работает один, да и то с развалкой, — сказала быстро-быстро маленькая бабенка. — А у других двое, сам — рабочий на заводе, сама — весь день работаю. Бьюсь-бьюсь, чтобы колхоз сильнее стал, а тут такие свиньи. Пусть выходит, чище воздух будет.

— Я так думаю, бабы, — заговорила размеренно краснолицая: — надо нам в правление свою поставить. Баба лучше управится, да и какое правление без бабы!

— Вот именно, — поддержала маленькая. — Баба и спокойней, и терпеливей, и всё. Мужик и выпить не дурак...

— Мы их не будем хаять, бабы. И мужики пускай... Но свою проведем в правление, не то будем по утрам бегать, искать начальства...

Маша вспоминала Лытки, нищую грязную избу, где жила сельская учительница тетя Надя, вспомнила колдуна. Вспоминала и сравнивала: другая теперь деревня и люди другие. Женщины стали бойкими, уже не боятся громко говорить о колхозных нуждах, брать за бока начальство.

Счетовод был явно на стороне женщин, он тоже испытывал на себе пренебрежение Сапожкова к колхозным заботам. До бригадиров здесь еще не додумались, и вопрос организации и учета труда мучил счетовода больше, чем кого другого.

— Девятнадцать дворов у нас, — рассказывал он пришедшим с завода комсомолкам. — В нашем колхозе капитал собрать легко — хотя бы смородина. С трех садов собрали, продали на пятьсот рублей. У нас на каждый трудодень рубль денег приходится, не считая хлеба и овощей.

Счетовод рассказывал, девушки слушали, время шло. Часа три просидели в разговорах, пока счетовод не догадался поискать заместителя председателя. С ним и договорились о следующем субботнике, о цапках, обо всем.

Земля подсохла, потеплело. Девушки несли на руках свои дымящиеся на солнце пальто и туфли. У самого перевоза им попалась на пути сгорбленная кривая старушка. Она несла на спине небольшой мешок с чесноком и разговаривала сама с собой. Увидев девчат, она заговорила громче:

— Ох, тяжело мне, деточки, разохлась вся. И ничего на базаре не нашла! Четыре года из своей старой избушечки не выходила, а сегодня вышла — так и в дождь попала, да и купила один чеснок. Я его на полтора рубля запасла, борщ заталкивать, мне на всю зиму хватит. Хожу это я по базару, нет ничего, я с горя хлоп сороковочку! Хлебцем закусил и ладно. Ох, тяжело ходить, хоть бы бог прибрал меня, старую!

Маша всегда с ужасом слушала эту просьбу стариков: что значит — прибрал? «Разве человек — мусор? Или разве человек — предмет, который хозяин должен прибрать, положить на место, то есть в землю?»

— Бабушка, а хозяйство у тебя есть? — спросила Фаня.

— Да что там, две курочки, да картошка посажена, да хатка на бок валится. Только слово одно — хозяйство! Есть у меня два сына, ох, прости господи меня грешную, — окаянные ребята! Ни один старухе-матери не поможет, ни один не пришлет ни денег, ни посылочки. Третий сын — в Донбассе шахтером. Тот зовет — приезжайте, мама. Да боюсь я. Да мне что, скорей бы подохнуть, я свое отжила.

— А ты бы, бабушка, в колхоз вступила, там легче было бы, люди б помогли.

— Да будь он проклят! Ни за что, лучше в хате голодная подохну, а хату своим детям оставлю! Я их жалею, детей своих.

Бабка была очень говорлива, сороковка развязала ей язык, да и общество незнакомых девушек взбадривало старуху. Серый платок низко опускался на ее лицо, из-под платка угольками глядели сощуренные слезящиеся глаза. Кривой хрящеватый нос чуть не сходил с торчащим вперед худым подбородком, из-под платка по сторонам выбивались две тоненькие седые космы. Впервые видела Маша такую старуху, впервые узнала, что дети могут забыть о матери и не помогать ей, такой старой, беспомощной. А старуха, не понимая, что такое колхоз, и только услышав, что после ее смерти могут отобрать в колхоз избу (кому она была нужна, ее развалившаяся халупа!), предпочитала бедствовать, лишь бы оставить детям какое-нибудь наследство... Старый инстинкт, укоренившийся за сотни лет, сейчас уже бессмысленный, потому что вряд ли кто-либо из ее сыновей решился бы ехать сюда издалека, принимать в наследство гнилую хибару.

Пожелав девушкам хороших женихов, старуха повернула на дорогу, ведущую к Шадринской коммуне.

И снова был субботник в колхозе «Путь Ильича», снова Маша старалась не отстать от местных ребят, и это ей удавалось. Она знала, что скоро уедет отсюда, и, может, никогда не увидит больше этих юношей и девушек. И всё-таки она старалась, помнила напутствие секретаря комитета: «Оставайтесь комсомольцами всюду».

Подошел и день сбора отряда. Везде устраивались праздники в честь международного слета, отряд готовился тоже. Маша выбрала двух девочек и вместе с ними написала несколько лозунгов красной и синей тушью. Лозунги развесили в летнем театре, где назначен был вечер самодеятельности. Всё это удалось сделать только с помощью Фроси, которая, по мнению дяди Ильи, ничего не понимала в культурной революции. Работая на кухне, Фрося умудрялась всегда слушать радио, быть в курсе всех политических новостей и во-время подсказывать своей ячейке, какие дела действительно неотложны и первостепенны. Недаром выбрали Фросю секретарем ячейки.

В четверг Маша снова провела занятие кролиководческого кружка, а потом собрала своих пионеров и повела на луг за лекарственными растениями. Она взяла с собой большой крапивный мешок, и ребята горстями швыряли туда головки ромашки, пока мешок не распух. Потом Маша сама возилась с просушкой цветов на чердаке своей хаты. Высушенную ромашку сдали в аптеку.

На доске объявлений Маша прочитала, что завтра в помещении зимнего театра состоится открытое партийное собрание с повесткой дня: первое — о хлебозаготовках, второе — прием в партию, третье — о займе и четвертое — разное. Никогда, ни разу еще в жизни не была она ни на одном партийном собрании. Интересно! Открытое, значит, и ее пустят. Конечно, она пришла.

Зал зимнего театра был почти заполнен — пришло вдвое больше, чем числилось в партийной ячейке. Пришли почти все комсомольцы, несколько беспартийных. Маша поискала глазами дядю Илью и не нашла: он не пошел, конечно. Для его здоровья полезно полежать после обеда на диване и почитать о приключениях Шерлока Холмса.

Секретарь партийной ячейки долго и подробно говорил о хлебозаготовках. Маша узнала, что государству сдается одна восьмая урожая, остальное остается коллективу. Секретарь

рассказывал о подготовке машин к уборке, похвалил бригаду комсомольцев-ремонтников, которые отремонтировали колхозам жнейки и другие механизмы. Обо всем он сказал так обстоятельно, что невольно думалось: «О чем же будут говорить в прениях? Так всё ясно, только приступай и выполняй».

Однако прения развернулись горячие.

Председатель Шадринской коммуны Матвеев, плечистый, крепко сбитый человек в старой гимнастерке и галифе, сначала рассказал, не торопясь, как подготовился, к уборке его колхоз. Обе жнейки отремонтированы, убирать хлеб будут коллективно, вместе, жаль только, мало тягловой силы: в колхозе всего лишь пять лошадок, вот и весь транспорт. Но и с ними в крайнем случае можно обойтись.

— Меня интересует другое, товарищи, — продолжал Матвеев, оглядывая собрание. Смотрел он как-то необычно, и, приглядевшись, Маша поняла, что у Матвеева левый глаз не видит, и потому Матвеев всегда скашивает голову чуть-чуть влево, чтобы единственному правому глазу было видней. — Меня интересует тот бывший помещик, который появился в нашем районе. Хотя у нас в колхозе тихо, но я тоже имею причины тревожиться. В колхозе «Путь Ильича» подано два заявления о выходе из коллектива, и это — в уборочную кампанию, когда каждый человек на счету. И первым подал тот колхозник, к которому заявлялся в гости этот бывший. Когда я узнал, что за гость появился у нас, я сообщил в ГПУ, и ему пришла повестка — явиться и дать объяснения. Но он уехал за два часа до того, как принесли повестку. Я интересуюсь, что скажет Гончаров, председатель «Пути Ильича»? Как дела в его колхозе? Классовый враг начинает выпускать когти, и мы не можем, товарищи, каждый сидеть в своем кутке, благо к нам никаких гостей не заявлялось. Мы должны разобраться в этом деле и помочь Гончарову.

И тогда на трибуну поднялся бедно одетый, босой крестьянин. Прежде, чем начать говорить, он долго приглаживал рукой лежавшие в беспорядке волосы.

Гончаров был из батраков и не шибко грамотен. Он всей душой отдался своему колхозу, в колхозе он видел единственный светлый выход для таких же, как он сам, маломощных крестьян. Не было сомнения в том, что по и случаю Гончаров не пожалел бы и жизни за колхоз. Но дело у него пока не ладилось и он не мог понять, за что взяться в первую очередь.

Положение в колхозе было плохое. Сапожков, член правления, затеял бузу, поругался с бабами и сразу же — бац заявление! Второй колхозник, к которому приезжал «бывший», тоже заявил о выходе. Он начисто отказался объяснить, кто и зачем приезжал к нему. Выспросили жену, она сказала, что приезжал один знакомый, он еще когда-то у них сына крестил. Старожилы помнили хорошо, что крестил у них сына тимохинский помещик. Вот с того дня всё и заварилось. В колхозе, где, казалось, всё было хорошо налажено, дела пошли вкривь и вкось. Поле пришлось разделить, и жать каждый будет отдельно, а не коллективом. Так постановило общее собрание колхозников, и Гончаров не сумел доказать, что такое решение поведет к распаду колхоза.

Слово опять взял председатель Шадринской коммуны:

— Не туда ты смотришь, Гончаров. Стал думать о хорошем трудодне, а организационно не укрепил свой колхоз. Смотри, что у тебя получается: едешь на базар смородину продавать, а в это время бывшие помещики разлагают твоих колхозников. Бабы целое утро по деревне бегают, не знают, кто им скамандует, куда работать идти... Сначала организацию наладь, а потом — смородина. И не обязательно самому торговать.

— Зато денежки все в целости, колхозные денежки! — крикнул Гончаров из зала. Все знали, что Гончаров, мыкавший горе всю жизнь, бережет каждую колхозную копейку и не доверяет денежным дел другим.

— Не с того ты конца начинаешь! Развалили колхоз, каждый убирает хлеб в одиночку,

разрезали общее поле! — возмущенно продолжал Матвеев. — Почему не зайдешь, не посоветуешься? Умней всех стал?

Гончаров опустил голову.

— Конечно, чужую беду руками разведу, а к своей беде ума не приложу, — сказал Матвеев примирительно. — А я бы посоветовал тебе: не отмахивайся от баб. Правильно они на Сапожкова взъелись. Умелый руководитель взял бы да использовал этот случай, чтоб укрепить колхоз. А ты баб склочницами назвал. А бабы, знаешь, они тоже сила...

В зале засмеялись.

— Не смейтесь, товарищи, верно это. Если бабы за колхоз да за хороший порядок, то и колхоз не развалится. Это проверено.

Выступление Матвеева понравилось Маше больше всех. Как он про баб хорошо сказал!

Перешли к вопросу о приеме в партию. Гончарова приняли единогласно. После него принимали в кандидаты одного колхозника, который только две зимы мальчишкой бегал в школу. Он даже не смог ответить на вопрос: какой орган является руководящим партийным органом в области? Маша мысленно протестовала против приема этого неразвитого товарища, но коммунисты рассудили иначе. Предупредив, что придется ему за время кандидатского стажа познакомиться хорошенько с уставом и программой партии, что обязательно надо будет брать в сельсовете газету, коммунисты всё же приняли этого колхозника в кандидаты. Таким образом, в «Пути Ильича» стало уже два коммуниста. А если еще из женщин найдется достойная состоять в партии, то коммунистов будет трое — вот уже и организация, Гончарову подмога.

Весь следующий день Маша была дома, помогала маме по хозяйству, возилась с братьями. Она знала, что вечером вернется поздно. Так пусть уж мама будет довольна ею и разрешит задержаться на вечер.

Маша вымыла на речке и начистила мелом свои белые резиновые туфельки с голубой полоской у ранта. Такие туфельки долго были ее мечтой, их купили ей только к пятнадцати годам. Нога в этих туфельках казалась совсем маленькой, рост ничуть не прибавлялся, ходить в них было очень легко. Маша берегла их и надевала в самых торжественных случаях.

Вечерело, но солнце еще не зашло, когда она, в белом полотняном платье, в белых туфельках и с белыми лентами в косах переехала на заводский берег. В летнем театре уже собрались «артисты», уже лежали разложенные отглаженные костюмы, Мониста, украинские ленты. Не пришел еще только аккомпаниатор, техник-нормировщик. Он снимал комнату в доме одного рабочего по дороге к Шадринской коммуне.

— Может быть, заболел? — сказала Маша. — Придется сходить за ним.

Идти было недалеко. Техник вместе с хозяевами стоял на крыльце, и все тянули шеи в одном направлении, все глядели в сторону Шадринской коммуны. Маша тоже взглянула туда и ахнула: над леском поднимался высокий столб дыма, из которого вылетали языки пламени.

Горят! Как, почему? Тушат ли уже? А что, если мужчины еще в поле? Что если товарищ Матвеев отсутствует? Маша живо представила себе страшную картину.

— Давно это началось? — спросила она.

— Только что. Ужинали мы, Виктор собирался на вечер идти, а тут моя прибежала со двора, кричит: пожар! Горят шадринцы! Делать что-то надо. Вода там рядом, да есть ли кто из толковых людей?

— Дядя Ефим, я сбегаю в завод, вызову наших пожарников, а ты иди к шадринцам, помоги, коли что, — сказал техник хозяину дома.

— И я с вами, — сказала Маша дяде Ефиму, который уже шел по дороге.

— Пошли... Как же это стряслось? В такую горячую пору!

Они еще не добежали до Шадрина, когда дядя Ефим, бросив взгляд на Машу, заметил, что

она одета в белое.

— Вымажешься, мать заругает, — сказал он на ходу.

Маша быстро сняла свои белые туфельки и сунула их в придорожный бурьян. Платье — ладно, оно постирается, а туфельки надо беречь...

Пожар гудел громко. Горел двухэтажный деревянный дом, в котором внизу помещались контора и клуб, а сверху — четыре квартиры. Это был старый помещичий дом, его заслоняли от ветров тенистые липы. Холмик, на котором стоял этот дом, круто обрывался к реке, где была устроена запруда.

Первым, кого они увидели на холме, был председатель колхоза Матвеев. Он стоял с перекошенным лицом и кричал: «К воде, цепью, передавайте вёдра!» Мимо него к реке бежали мужики, девушки, мальчишки с ведрами в руках. Они не возвращались от реки, становились в ряд и передавали вёдра из рук в руки. Несколько мужчин тянуло брезентовый шланг к бочке, стоявшей на телеге. Другая тележка с бочкой стояла в реке, и женщина наливала воду в бочку. Колеса тележки наполовину были в воде, лошадь терпеливо ожидала, словно понимая, что происходит несчастье.

Лицо Матвеева было ужасно: глаз косил, губы сжимались добела. На смуглых скулах его темнели пятна сажи.

В стороне под деревьями лежали какие-то вещи, одеяла, одежда. Сидели и плакали маленькие дети и женщины. Машу поразила почему-то лежавшая на траве вместе с другим скарбом книга Ленина в красном переплете «Государство и революция». Тут же стоял самовар и несколько белых столовых тарелок, лежала кипа папок с колхозными делами.

А дом пылал, он весь светился, как будто был сделан из красного стекла. Красные стеклянные бревна, перекрытия, балки... Они еще не рушились, но уже дрожали, угрожая упасть и со звоном разбиться на мелкие куски. Огромным казался этот огненный дом, огромным, сказочным, страшным.

Страшными были и липы, заслонявшие дом от ветров. Высокие, ветвистые, они почернели, кора кое-где обуглилась от жара. Черные свившиеся листья постепенно опадали. Деревья стонали на ветру, но не могли отодвинуться, отойти в сторону, — ведь ноги их вросли в землю, в этот холм, на котором корчился раскаленный скелет дома. Маше казалось, — это друзья не хотят оставить в несчастье товарища, и сами гибнут, не умея помочь ему.

Горящие бревна стали рушиться. Колхозники баграми и шестами старались разворошить эти бревна и тушить их по одному.

Маша помчалась к реке и стала в цепь. Вёдра, плеская воду, плыли из рук в руки, двигаясь к огню. Там мужчины подхватывали их и швыряли воду на огонь, но огонь был сильнее, и только облачко пара отскакивало обратно. Маша передавала вёдра, платье ее давно промокло и запачкалось, но она не замечала. Только чьи-то руки мелькали рядом, только круглые горла вёдер гладко блестели поверхностью воды, только всплески реки да пролитой на глину воды нарушали тишину. Никто ничего не говорил, все действовали.

Дом не спасли, но ветер мог перенести огонь на коровник. Доярки уже вывели на всякий случай коров и телят через задние ворота на луг, и успокаивали их, как могли. Временами раздавалось оглушительное мычание испуганных коров. Было самое время вечерней дойки, но заниматься этим никто не мог, да и бидоны были отданы тушившим.

Скоро приехала заводская пожарная команда. Понемногу женщины стали мыть и относить на ферму бидоны, вёдра; коров развели по стойлам и стали доить. Доярка принесла ведро молока погорельцам, и женщины поили детей, укладывая их спать на траве, под деревьями.

Маша слышала, что за день до пожара на одной из лип нашли приколотую гвоздем записку. Кто-то грозил Шадринской коммуне. «За ваш донос через три дня будет у вас

землетрясение» — писалось в записке. Матвеев поддался на эту хитрую провокацию: съездив в ГПУ, он попросил подготовить охрану всего только за день до обещанного в записке срока... А надо было бы сразу, надо было бы не поверить этому «через три дня». Матвеев винил себя и не мог простить себе оплошности.

Значит, подожгли... Подожгли в такой час, когда все сильные и здоровые были в поле, когда в домах оставалась только часть женщин и дети со стариками.

Кто же мог поджечь? Какой же злодей, какой ненавистник мог пойти на такое преступление, кто? Только тот, кому были ненавистны колхозы. Классовый враг.

Усталая, грязная, Маша отыскала в лопухах свои белые туфли и пошла домой, не надевая их.

Мать встретила ее испуганная: она уже слышала о пожаре и очень боялась, что дочка сунется туда. Она сунулась, но вернулась домой целая и невредимая, и этого было достаточно для матери.

Маша рассказывала обо всем виденном, ее слушали братья, мама, хозяйка, соседка, прибежавшая под окно. На улице возле бревен собирались парни.

Федька Твердунов сегодня держался настороже, не трепался, не балагурил, — Маша заметила это, возвратись домой. Федька и говорил почему-то мало, что было непохоже на него. И только когда к ребятам подошла Фаня, Маша услышала знакомый неприятный голос:

— Эх, за хорошую бабу что хочешь отдам!

Через пять Дней после печального происшествия Маша уезжала в Ленинград. Она уже знала от Фроси, что поджигатель обнаружен. Это был тот самый «бывший», который ночевал у одного колхозника, своего кума, и пытался развалить колхоз: Нашли двух его соучастников, их допросили, и они рассказали, как было дело. Одним из них, к удивлению многих, оказался Федька Твердунов.

Перед самым отъездом Валентин пришел к Маше. Он передал Анне Васильевне какую-то просьбу тети Рины, потом сказал сестре:

— Проводи меня до переезда.

Пошли. Уже свечерело, высыпали звезды.

— Ты не поправилась за лето. Наверно, устала от своих субботников, активистка, а? — начал задираться Валентин.

— Не в том здоровье, чтобы сало наращивать.

— Ты карась-идеалист.

— Перестань, Валентин. Тебя ничему не научило жизнь, ничему не научил пожар в Шадринской коммуне. Я не знаю, что нужно таким людям, как ты. Каждый честный стремится быть не там, где спокойней и тише, а там, где жарко, где сражение идет. Конечно, ты никого не обманул, ничего чужого не взял, но...

— Еще вопрос, кто честнее: болтуны ваши, ораторы, или человек, который делает свое дело. Еще вопрос...

Валентин был несколько обижен: шадринский пожар научил его кой-чему, но рапортовать Маше об этом — значило, расписаться в своем поражении. Этого он не хотел делать.

— Я совсем не приукрашиваю наших ребят, — продолжала Маша. — В ячейке — разные ребята. Но всё равно, они все — добровольные помощники партии, а партии нужен такой народ. — Маша вспомнила партийное собрание: — До чего же ей, нашей партии, трудно сейчас приходится! Особенно, в такой год, как нынешний, тысяча девятьсот тридцатый. Колхозы народились, а коммунистов нехватает, а политической грамотности еще мало. Что же, дать им разваливаться, чтобы опять кулаки подняли головы? На это никто не пойдет. Меня лично никто не заставил бы посещать субботники, но ведь совесть не позволяет оставаться в стороне. Ну, как это тебе объяснить, не знаю! Ну, гордости во мне больше стало, что ли. Тут исторические

события происходят, про них потом в учебниках будут писать, я верю, а ты вот — ни при чем, например. А я — при чем. Я участвую. Я с партией. Я кроха, пускай, но это не проходит мимо меня. Всё переживаю и стараюсь помогать, где могу. Ну, как тебе еще объяснить! Я не умею лучше.

— Куда уж лучше! — проговорил Валентин. — «Ты ни при чем»...

— Я не хочу обидеть тебя. Мне кажется, что когда вы все дома смеетесь, говорите об охоте, о прогулках, о разных кушаньях и прочем, — мне кажется, что вы не живете, как следует, не дышите полной грудью. У вас свой мирок, он никому не интересен, кроме вас. Жизнь идет мимо вас. Мне бывает вас жаль почему-то.

— Ты меня, бедного, совсем похоронила.

— А ты всё ж-таки уйдешь от своих, вот увидишь. Мне не удалось объяснить это тебе, другие объяснят... Вон твоя лодка. До свиданья. Напиши, когда тебя примут в комсомол!

— Эй, парень, перевези сюда лодку! — послышалось в темноте с заводского берега.

— До свиданья, сестра!

Он оттолкнул лодку руками и вскочил в нее, перепрыгнув темную полосу воды. Корма звучно хлопнула в воде, посылая круги далеко во все стороны.

Глава девятнадцатая

Город, ставший родным, Маша встретила с волнением, как всегда после летней разлуки. Как всегда, он был весь перекопан, на улицах прокладывали под землей какие-то трубы, заново мостили разбитые мостовые, некоторые улицы асфальтировали.

Многие дома были в лесах, на других висели деревянные люльки, закрепленные где-то сверху на крыше. Девушки, сидевшие в люльках, красили стены, и это называлось «косметический ремонт». Сами девушки тоже всегда были в краске, в желтой, розовой, голубой. Дома теперь красились больше в светлые цвета, и город точно молодел.

Трудно было не любить его, город, к которому привыкла, в котором узнала столько нового. Он был знаменитый, этот город, и если жители его жили честно и хорошо, он наделял их частью своей славы, и тогда они говорили «мы ленинградцы». Эта гордость не соперничала с гордостью жителей других городов, — у каждого была своя история, свои заслуги, свое значение. И потому киевляне, москвичи, одесситы, севастопольцы и другие всегда тоже с гордостью говорили «ленинградцы». А если человек, приехавший из Ленинграда, вел себя недостойно, то они же называли его самозванцем: «ну, какой же это ленинградец!». И всё это было так потому, что в Ленинграде родилась Революция, потому что он носил имя Ленина.

И Маша была теперь ленинградка. Так её и называли летом на Украине, и теперь вот недавно, на сахарном заводе. Маша вспомнила слова дяди Пали: «В Ленинграде живете, в его городе»... Это Ленинград сделал ее сознательной, возбудил в ней священное желание — помогать родной стране, помогать партии.

Но многое в самой себе не нравилось ей попрежнему. Всё еще недостаточно организована. За всё хватается, всё хочет сделать, но нередко теряет попусту часы и целые дни. Маша вспоминала книжку детского писателя Ильина «Дело о растрате», о том, как некоторые бессмысленно расходуют одну из самых больших ценностей человеческой жизни — время. Писатель не пользовался восклицательными знаками и междометиями. Он деловито, даже сухо приводил данные, цифры, о которых мало кто задумывался. Маша ужаснулась, дочитав до конца: так обирать, грабить самое себя, как обирает она! Так расшвыривать направо и налево драгоценные минуты, часы, дни! Пропадает напрасно чуть ли не полжизни. И так жизнь человека коротенькая, совсем малюсенькая, каких-нибудь шестьдесят-семьдесят лет. А тут еще

по собственной глупости...

Впервые эту мысль заронила в ней мать. Если Маша или Сева спали слишком долго, мама будила их со словами: «вставай, полжизни проспидь!». Вставать иногда не хотелось, но подгонял страх: проспидь полжизни было просто обидно. Никто не предлагал ликвидировать сон начисто, а мама вечерами сама гнала детей спать. Но... проспидь полжизни?

Маленькая книжка познакомила с научной организацией труда, с понятием рационализации, рационального использования своих сил, своего времени.

И сейчас, вернувшись с летних каникул, Маша размышляла о будущем учебном годе, о рационализации своей жизни, о плане. Слишком много заседают в их школе! Можно было бы заседать вдвое меньше, зато серьезней учиться, разумней отдыхать.

Маша стала обдумывать свои маршруты, выбирать пути покороче, попрямее. Она стала ходить через проходные дворы, — так скорее. Особенно раздражали ее дорожки в скверах и садах: люди на работу спешат, а тут обходи эти зигзаги, придуманные «для красоты»! И она решительно шагала по траве, протаптывая незаконные прямые тропинки.

Вот и сейчас: до начала учебного года оставалось несколько дней. Коли в городе еще не было, других ребят тоже. За эти дни надо было хорошенько продумать и подготовить всё вперед, на полгода, не меньше. Мы не формалисты, если надо — изменим план, но без него нельзя.

План основных дел на полгода вперед составлен не очень точный в смысле дней, — откуда знать заранее, что когда именно будет? Составлен также примерный план на один день, чтоб знать, на что сколько времени можно потратить. Потом, когда будет известно расписание уроков, расписание занятий кружка деткоров и других дел, — тогда из всего этого и получится реальный план. А пока это — вроде уздечки для норовистого коня, это должно вгонять в рамки ее, Машу — натуру недостаточно дисциплинированную и разумную. Не всем это надо, но ей — очень, не то она станет растратчиком своей жизни.

Она сидит у своего рабочего стола и штопает чулок. Самое нелюбимое занятие! При коммунизме никто не будет штопать чулки. А если маленькая дырочка, петля спущена? Ну, тогда будут, в виде исключения. Жалко же бросать вещь, над которой столько народу трудилось. Свои чулки Маша перештопывает десятый раз. Горят они на ее ногах, слишком много она бегает, наверно.

Мама дома нет, она в своей школе. Мама работает, и ей трудно совмещать дела домашние с работой, а работать хочется. Не из-за денег только, денег отец приносит в дом достаточно. Но это приносит он, а не она. Нет, он никогда ни в чем не способен упрекнуть жену, и не упрекнет до самой своей смерти. Наоборот, он часто благодарит ее за то, что она столько сил уделяет тому, чтобы он лучше отдыхал, был спокоен за детей. Он благодарит и продолжает жить своей полной, интересной жизнью.

Папа любит свою семью. Когда он возвращается из командировок или из крымского санатория, он всегда привозит подарки маме и детям. С большой полочки, с гонорара за книгу он тоже любит покупать всякую всячину для них. Маша и ее братья помнят смешную сцену, когда папа пришел вечером с подарками, снял в коридоре пальто и шляпу, надел на голову купленную для мамы кожаную коричневую пилотку, натянул на себя вязаную полосатую кофту, в руки взял коробки с печеньем и конфетами и, театрально раскланиваясь, вошел в столовую, где мама накрывала на стол.

Она рассмеялась, как девочка, и дети рассмеялись, а папа всё кланялся направо и налево, а потом отдал коробки Севе и Маше, подхватил маму на руки и поцеловал. Смешной он был в женском головном уборе и кофте, с мамой на руках! Мама бормотала: «да пусти же, Боря, пусти!», а сама лежала на его руках ловко и аккуратно, чтоб ему было не тяжело...

Анне Васильевне не раз уже приходилось слышать комплименты. Ее хвалили на педсоветах,

хвалили представители всевозможных следственных комиссий. Хвалили за умение учить детей, за умение вбить даже в самые ленивые головы то, что надо знать о природе людей, начинающим жизнь. Недавно ее попросили написать несколько глав для учебника по биологии, а она так разволновалась, что даже не ответила толком представителю издательства, просила дать время подумать. А чего там думать, писать надо, и она может. Но кто же будет ходить на рынок, варить обеды, стирать и следить за тем, как дети делают уроки? Боря не будет, он очень занят.

Когда вернулись с дачи, Маше пришлось стать свидетельницей одной неприятной сцены.

Извозчик подвез их в самый двор, к парадной. Мама снимала вещи с пролетки, Маша и мальчики относили их в квартиру. Из парадной вышла соседка — пожилая тетка в фартуке и старой клетчатой косынке, тетя Поля. Она стояла, рассматривала банки с вареньем, ведро с солеными грибами, запасенными мамой на зиму. Смотрела зоркими глазами сплетницы и напевала маме, как хорошо она поправилась, как молодо выглядит.

— Мужчины, они, известно, капризные, — ворковала тетя Поля. — Чего от них ждать хорошего. Ты чуть уедешь куда, а он — шасть к какой-нибудь крале... Известно, все мужчины такие.

Мама продолжала снимать вещи.

— К вашему тоже летом одна ходила... В шляпке такой, с цветочками... Все мужчины одинаковы, — сказала тетя Поля и выжидающе умолкла.

Мама расплачивалась с извозчиком. Потом она обернулась к насторожившейся тете Поле:

— Жаль, что я не знаю, как зовут эту особу. Я поблагодарила бы ее за заботу о моем муже в мое отсутствие, — сказала она.

— С ума сошла... — растерянно пробормотала тетя Поля. — И вы... вы не сердитесь на нее нисколько?

— Не стоит сердиться на женщин, которые подбирают крохи с моего стола. — Она снова была твердой и строгой, как тогда, с кухаркой детдома.

Маша ощутила острую ненависть к этой непрошенной помощнице, «открывающей глаза» ее матери. Старая сплетница!

«Неужели так будет и со мной? — с ужасом думала Маша. — Я полюблю и выйду замуж, а он спустя несколько лет разлюбит, начнет бегать к другим (она уже слышала и запомнила это ходячее выражение)... Что ж делать? Прощать? Умолять вернуться? Нет! Неужели это обязательно — охлаждение и измена!»

Глядя на улицу в окно, она не раз наблюдала смешную сцену: двое немолодых супругов выводили гулять своих крупных псов — овчарок. Собаки были симпатичные и, вероятно, жили в дружбе. Супруги же всякий раз бранились на улице, не стесняясь посторонних.

— Вы извели меня своими скандалами, вы мелочная, ничтожная женщина! — громко говорил мужчина, переходя от своей спутницы на другую сторону улицы.

— Я не встречала более изолгавшегося, более фальшивого человека! — громко вторила ему женщина через всю улицу.

А собаки дружно сходились на середине мостовой, весело обнюхивались, играли, бегали вместе.

Маша не раз наблюдала ссоры этих двух людей, забывающих, что на них смотрят, что над ними смеются. Идут и мучают друг друга. Неужели это бывает со всеми — охлаждение, измены?

Становилось так горько на душе, так обидно и тоскливо, точно кто-то уже разлюбил и тебя, разлюбил и бросил. «Нет, я всё устрою не так».

Пришел отец с работы. Он обедал, как ни в чем не бывало. Мама подавала обед, словно ничего не случилось. «Оба молчат и лгут, — подумала Маша, — делают вид, что всё хорошо.

Подойти бы к нему и спросить прямо: «Ты любишь маму? И если да, то кто приходил к тебе летом, когда нас не было?»

Ей очень хотелось спросить об этом отца напрямик. Боялась, что может случиться взрыв, неприятность. Лучше пусть тише... Но он разговаривал за столом так спокойно, словно совесть его была абсолютна чиста. А может, она и чиста, может, это всё тети Полины сплетни?

Маша села за уроки. Дверь в кабинет отца была прикрыта неплотно. Родители разговаривали вполголоса. Им было о чем поговорить — только вчера отец делал доклад на ученом совете:

— Представляешь, с какой миной он меня поздравил? Сам руку жмет, а рожа кислая, надеялся, что разгромят меня. Ну, а я мужик, шел напрямик, всё называл своими именами.

— Конечно, сторонники твои еще молодые, их голоса не решали.

— У меня и новые появились. У нас новая сотрудница, очень способная баба, кандидат наук... Тоже присутствовала, вопрос мне подкинула выигрышный, — знала, что спрашивать. Летом она меня даже консультировала — диссертация у нее о новых сортах пшеницы.

— У нее шляпка с цветами? — спросила мама совсем тихо.

— Не помню, кажется. Да, с цветами, синенькими такими. А почему это тебя интересует?

— Так просто.

Отец рассмеялся:

— Как там у Шекспира: «ревность это чудовище с зелеными глазами»? В самом деле, эта особа премилая. Ну и отхватил себе Авдей жену! И ученое звание, и умница, и собой хороша.

— Она... жена Авдея?

Дальше слов не было слышно, а только какие-то неясные звуки, вздохи, не поймешь. Наверно, отец целовал маму, а она старалась не расплакаться от радости, что всё в порядке, что муж честен перед ней, а тетя Поля — глупая сплетница.

Поправляя растрепанную прическу, мама вышла в столовую, чтобы узнать, что там за шум. К своему удивлению она увидела свою взрослую донку кружащейся на месте, вокруг собственной оси... Маша, увидя мать, остановилась, покачиваясь от приятного головокружения, кинулась к матери и стала обнимать и целовать ее.

— Что ты, Машенька, что с тобой? — спросила мама, радостно улыбаясь.

— Так просто... Настроение хорошее!

И она, припрыгивая, побежала убирать комнату.

Почтальон принес почту. Маша с жадностью набросилась на «Ленинские искры» и прочла все четыре полосы. Из газеты она узнала нечто такое, что заставило ее бегом ринуться к телефону. Делегаты пионерского слета, происходившего в Берлине, приехали в Ленинград! На вокзале их встречали пионеры и комсомольцы города с цветами...

— Редакция? Говорит ваш деткор из Петроградского района Мария Лоза. Я хотела узнать насчет делегатов слета... Где бы на них посмотреть?

— Приезжай сегодня пораньше, получишь билет на встречу с ними, — ответили из редакции. Маша немедленно отправилась за билетом.

Вот они, делегаты слета!

В просторном зале почти все места заполнены детьми в красных галстуках. Все они — в белых рубашках или блузках, в синих или черных трусах или юбчонках. И никак не разберешь, которые свои, ленинградские, которые — иностранцы. Только маленьких монголов можно сразу отличить по разрезу глаз, а белолицые ребята — пойми, откуда они!

Волнуясь, проходит Маша между рядов, ищет свободное место. Вон в седьмом ряду третий от прохода стул не занят. А кто соседи?

Проход тесный, Маша задевает сидящих и просит извинения. Ей улыбается в ответ девочка,

чуть похожая на нее, такая же высоконькая, круглолицая, беленькая, только косичек нет — острижена коротко. С другой стороны сидит мальчик вроде Севки, чуть постарше, и вертит в руке блокнот в зеленой обложке. Не наш блокнот, у нас не такие! Этот — гость, наверное.

— Ты кто? — приветливо спрашивает Маша мальчика, — ты немец? Француз? Англичанин?

Мальчик щурится от смеха и на каждый вопрос отрицательно качает головой. Наконец, не выдерживает:

— Я свой, ленинградский... Вот он — англичанин, — мальчик показывает на соседа слева, худенького, черноглазого, в такой же рубашке с короткими рукавами, как и на нем самом. — Он мне блокнот подарил... Его зовут Хайгет Джек. Яша по-нашему.

Маша жмет Джеку руку. Пробует заговорить с ним по-немецки, но Джек не знает иностранных языков. Он застенчиво улыбается, потом достает носовой платок и вытирает нос. Он не знает, как быть, как объясниться. Переводчика поблизости нет.

Маша пытается разговаривать руками, жестами. Становится легче: этот язык Джек понимает не хуже нас. Маша просит его написать ей в блокнот свой адрес, чтобы потом послать ему письмо. Хайгет охотно пишет, очень разборчиво и понятно, хотя в адресе многовато цифр. Ну ничего, у них, значит, так принято.

Соседка справа тоже интересуется Машу, но не охота опростоволоситься второй раз. Вдруг она — тоже своя, ленинградская! Опять этот паренек слева расхохочется!

— А ты здешняя? — спрашивает Маша по-русски. Девочка улыбается ей и отвечает: «Дойчланд».

Немка! Ну, значит с ней удастся поговорить. Маша припоминает всё, чему ее выучила Елизавета Францевна, и начинается беседа. Девочка из Гамбурга, это портовый город. Ее отец работает грузчиком в порту. У нее есть еще старший брат, но он не работает, хотя очень хотел бы. Работы не найти сейчас. Брат безработный.

Девочку зовут Фрида Риттин. И хотя она разговаривает по-немецки, она не кажется Маше чужой, как и сосед слева. Девочка с готовностью тоже записывает в блокнот свой адрес, а себе просит записать Машин. Они хорошо понимают друг друга. Фрида рассказывает, как она ехала в Галле, а пришлось переезжать в Берлин, и какие были красивые демонстрации, а гости — делегаты слета все ехали на грузовиках, потому что полицейпрезидент Цергибель запретил им участвовать в демонстрациях, так как они... не знают берлинских правил уличного движения. И они ехали, а не шли, и Цергибель уже ничего не мог поделать. Потом она рассказывает, как интересно было в Москве, и что она видела Ленина в мавзолее. Ей, наверно, придется дома целую неделю рассказывать.

Звенит звонок. На трибуну выходят по очереди маленькие французы, итальянцы, американцы, немцы. Они говорят коротко. Они все передают приветы ленинградским пионерам. И немножко рассказывают о себе и о своих странах. Там живется не легко. Некоторые из них редко едят дома досыта, на слете даже прибавили в весе...

Выступления переводятся на русский, а Маша старательно переводит их своей соседке на немецкий язык. Фрида благодарно пожимает руку Маше.

Говорит немецкий делегат из Берлина. Маша жадно слушает его. И вот она замечает на себе взгляд Фриды Риттин. Фрида не слушает, она рассматривает свою русскую соседку, рассматривает с нежностью, с любовью. И вдруг ласково проводит рукой по Машиным волосам, от виска до кос, проводит мягко, с явным удовольствием. Маша слегка оборачивается к подруге и видит: у Фриды в глазах что-то блеснуло. Это не слезы, но почти, это сознание счастья, необыкновенной радости. Почему? Только потому, что она тут, в русском советском городе, в гостях у нас, потому что она сидит рядом с советской пионеркой?

«Да, поэтому» — отвечает Фрида глазами и опускает их смущенно.

«Милая, славная моя подруга!» Маше становится необыкновенно хорошо на душе. Учим географию, изучаем разные страны. А вот приехала девочка из чужой страны и смотрит на нее, как на любимую сестру. Девочка оттуда, из страны Маркса и Энгельса, Шиллера и Гёте. Почему это? Потому что она из трудовой семьи, а трудящиеся разных национальностей куда ближе друг другу, чем буржуи, свои и чужие. На шее у этой девочки пионерский галстук, такой же, как и у Маши. Он сроднил их всех, он их сделал сестрами и братьями.

На трибуне произносят речи, ораторы меняются, потом начинается концерт, а Маша всё сидит рядышком с новой подругой, чувствует ее тепло и греет ее своим теплом. Недолго сидят они рядом, часа два-три, а кажется — привыкли друг к другу так, словно жили рядом несколько лет.

Оркестр начинает играть «Интернационал». Все встают и поют стоя. Каждый поет на своем языке.

Маша знает «Интернационал» по-немецки. Первый куплет она поет по-русски, второй и третий — вместе с Фридой, по-немецки. Фрида смотрит на нее счастливыми благодарными глазами: хорошую соседку послала ей судьба на этой встрече! Жаль, что в Германии не учат русский язык, Фрида выучила бы его обязательно. И хорошо, что русская девочка знает немецкий. По крайней мере, не только улыбались друг другу, а говорили, говорили, как могли.

Они стоят, как молодой стройный лес, дети разных народов, стоят и поют «Интернационал». Гимн единства рабочих всех стран, гимн дружбы. Гимн борьбы против угнетения, против несправедливости.

Они стоят, отдавая салют правой рукой, все одинаково, стоят и поют, каждый на своем языке. Могучая музыка шумит над ними, как алые полотнища знамён на демонстрациях во всех странах мира. Могучая музыка, зовущая к светлому счастливому будущему для всех, кто трудится. Суровая, сильная музыка, зовущая к бою за свои права, к победе над сильным и жестоким врагом.

Встреча закончена. Они крепко жмут руки друг другу. Маша прикалывает Фриде свой пионерский значок, Фрида дает ей латунный значок слета с профилями белолицего пионера, негра и китайчонка. Они прощаются, чтобы больше никогда не увидеться. Только письма писать будем. А может и увидимся когда-нибудь? Чего не бывает в жизни.

Глава двадцатая

Первые школьные дни оглушили. Беготня, новые ученики почти во всех классах (везло же их школе!), новые первые классы, которые надо было сразу приучить к школьным порядкам. Новые учителя по химии и литературе, — у Анны Николаевны должен родиться ребенок, и она ушла в отпуск.

С наступлением холодов возник беспорядок на вешалке. Старшие влетали за проволочную загородку, как дикари, с криками, разбрасывали чужие пальто куда попало, кидались шапками. Нянечка кричала, выталкивала их обратно, требовала номерки. Надо было приструнить их с первого же дня, слишком много, видно, сил накопили за лето и не знали, куда их деть.

Вера Ильина срочно созвала учком. Сорокин временно взял на себя командовать дежурными. Маше поручили выпустить специальный сатирический номер стенной газеты, посвященный положению в раздевалке.

Надо было, как тогда выражались, «ударить» по непорядку внезапно, не дать противнику опомниться. Надо было сделать так, чтобы на завтра газета уже висела бы в коридоре против вешалки.

И они выпустили ее молниеносно. Назавтра она, действительно, висела в коридоре первого этажа против раздевалки.

«Специальный номер: о раздевалке!» — читали ребята подзаголовки газеты. Первым делом все смотрели на рисунки, карикатуры. Жестяной номерок с веревочкой, продетой в дырку. Подпись: «Вот из-за чего устраиваются кровопролития». Рисунок: два пальто, одно целое, обычное, другое с оторванным наполовину воротником, с болтающимся на ниточке рукавом, с надорванным карманом. Подписи: «Пальто (новое) в стиле Людовика 44-го, висит на вешалке. Оно же, наконец-то полученное хозяином».

Вот картинка без подписи. Мама чинно провожает своего отпрыска в школу, на нем всё целое и чистое. В школе кто-то хватает его на уроке за ворот пиджака, кто-то толкает, и он летит кубарем с лестницы, потом происходит живописное сражение в раздевалке, и наконец, он дома... в таком виде, что мама падает в обморок.

У стенгазеты толпились школьники, глазели, читали, смеялись. Можно было бы сделать номер и лучше, и смешнее, но зато какая быстрота! Раньше газета выходила только к праздникам — к Октябрю да к Маю, парадная и торжественная. А тут новый учебный год только начался и — нате, читайте!

В головах участников-авторов зрел следующий номер сатирического листка, посвященный переменкам. А следующий номер — посвятим буфету. А следующий — дисциплине на уроках...

Особенно увлекся Сева. На другой день он подошел к Маше и вручил ей листок, на котором было четыре картинки: на первой — учитель стоит перед рядом заполненных парт, на второй — две парты уже пустые, на третьей пустуют три парты, а на четвертой — пустые все, кроме одной, на которой тихо примостился спящий ученик. А под картинками стихи:

*Жил был педагог,
Бузы он терпеть не мог,
Делал он замечаний массу
И бузил выгонял из класса.
Прогнал с задней парты ребят,
А в классе еще бузят.
Прогнал еще трех домой
И думает: будет покой.
Но покоя всё нет, бузят.
Выгоняет еще ребят.
Измучился педагог,
Прогнал ребят, сколько мог.
Только один не бузит,
Это который спит.
Что ж, уроку не продолжаться.
Пришлось самому смываться.
Мой вывод отсюда простой:
Умей бороться с бузой.*

— Возьмешь в следующий номер? — спросил Сева.

— А учителя не обидятся?

— Ну вот... Это же критика мягкая, без фамилий, Не будь перестраховщицей.

Стихи и картинки Маша взяла.

В этом учебном году она ограничила свои общественные обязанности стенной газетой и детковским кружком. Было очень жалко бросать дела театральные. Расстаться с ТЮЗом она всё же не смогла и изредка дежурила в этом дорогом ее сердцу театре. В стенах этого дома на Моховой становилось особенно ясно, что советские люди — хозяева своей страны, а советские дети, в частности, — хозяева своего театра, этого театра.

Станным образом, став ученицей седьмого класса, Маша уже не «обожала» красавца Пурица. Она иногда даже придиралась к его игре.

Точно так же Маша всё реже вспоминала о своем Мише Майданове. У нее была его карточка, она иногда возвращалась к этой карточке, рассматривала своего друга, вглядывалась в черты его лица. Этого было достаточно. Он очень занят, он учится, получает специальность. Он тратит много времени на дорогу, некогда ему встречаться с ней, убивать время. Если бы он позвонил ей когда-нибудь и позвал погулять, она, может быть, и пошла бы. Писать самой не хотелось. Отношения были выяснены, ревность выветрилась, и Маша иногда ловила себя на том, что с удивлением смотрит на ту смешливую девочку из седьмого-бе: что в ней опасного? Потеряла самолюбие и рассудок... Соперница... Та девочка интересовалась внешними знаками внимания, — Маша их стеснялась и не ценила. Та целовалась с мальчишками в темных закоулках, — Маша боялась целоваться, хотя и не понимала, почему. Значит, им нужно было разное, разное даже от него, от этого голубоглазого паренька из Белоруссии.

Почему-то сейчас было легко рассуждать о Мише. Что-то затихало в ее сердце. Или это кончился «переходный возраст»?

Она приглядывалась к себе: не возникнет ли что-нибудь подобное к Коле Сорокину? Нет, к нему она относилась совсем, совсем иначе. Она рада была тому, что он простил ее «измену дружбе» и не напоминал никогда о периоде, тяжелом для нее и для него.

Сейчас Коля обрадовался, когда увидел Машу после лета. Она тоже была загорелая, она стала сильнее, как и он. И стала спокойней. У него было много друзей в классе, но дружба с этой девушкой давала ему что-то такое, чего не давала дружба с мальчишками. Может, это было потому, что Маша была начитанней и повидала больше интересного в жизни, чем многие в их классе, но скорей всего, дело было в другом. В дружбе с Машей, в разговорах с ней, всегда полушутливых и грубоватых, он находил отклик на какие-то более тихие, менее слышные, менее ясные для него самого зовы сердца. Чуткостью, что ли, называли это, или умением понять человека, он сам не знал. Но с другом-девчонкой он говорил и о таком, о чем не мог говорить с ребятами, — они бы не поняли и высмеяли или просто не обратили бы внимания. Летом в лагере он встретил одну девочку, приехавшую с Украины. Она понравилась ему сразу, он беседовал с ней вечерами после спуска флага, в те недолгие минуты, когда дела закончены и надо только проследить, чтобы пионеры поскорее разошлись спать по своим комнатам. Девочка — ее звали Марина — была из другой школы. Товарищи по классу были чем-то вроде сестер и братьев, а эта была из другой семьи и потому интересна. О ней хотелось рассказать близкому другу — и он рассказывал Маше Лозе.

Маша понимала его правильно. Даже тени ревности не возникло у нее, а скорее радость за товарища. Она не дразнила Колю, хотя иногда лукаво улыбалась, намекая на Украину при каком-нибудь удобном поводе. Ничем она не царапнула его, поняла. Поняла, потому что что-то похожее знала сама! И от этого чувство товарищества, дружеского тяготения к ней крепло, усиливалось. Обоим оно было приятно, оба думали: дураки некоторые взрослые, как они просто всё понимают! Или любовь, или безразличие, а дружба только с представителем такого же пола, что и ты сам. Мы покажем им, что дружба бывает и между юношей и девушкой, настоящая, крепкая.

И гордость их возрастала от сознания своей силы и чистоты и того, что они способны на

нечто такое хорошее, на что способны не все взрослые. Положим, попадались и среди взрослых понимающие люди, но большинство мам и пап покровительственно усмехалось, видя как по двору или по коридору прохаживаются, о чем-то горячо споря или просто мирно разговаривая, девочка и мальчик лет по пятнадцати. «Нет, — думала Маша, — когда я вырасту и если у меня будут дети, я не перестану понимать, что у них кроме любви может быть и чувство дружбы».

И вдруг пришло письмо. «Здесь» — значилось сверху на конверте, значит, местное. От кого же это?

Письмо было от Миши Майданова. Он спрашивал Машу, как она живет и учится, и приглашал ее пойти вместе в сад Народного дома. Он просил ее прийти ко входу в сад в субботу в 7 часов вечера. «У меня двоюродный брат на американских горах работает, накатаемся вдоволь», — писал Миша.

Это свидание... В первый раз. Как странно: молчал всё лето и вдруг написал... А впрочем, что же странного? Летом ее просто не было в городе.

Она надела беретик и пальто — вечерами становилось очень прохладно — и пришла к назначенному часу. Миша уже ожидал ее с двумя билетами в руках. Он был в сером суконном пальто и клетчатой кепке. Пусть Маша посмотрит, каков он в обновках.

Маша увидела его сквозь толпу девушек и парней, стоявших возле касс. Он тоже заметил ее и немного растерялся от волнения. Стоял и ждал, пока она пробилась к нему, и только тогда крепко сжал ей руку. Они прошли в сад. Взять Машу под руку Майданов не решался, держаться по-школьному за руки было тоже неловко.

Вот и «американские горы». Издали слышен визг и постукивание тросов, подтягивающих вагонетку на первую вершину. Дальше вагончики летят своим ходом, и все девчонки, и все тетеньки визжат истошными голосами, цепляясь за руку соседа или за спинку кресел впереди сидящих. А ведущие вагонетку парни хладнокровно поворачивают рычаг, тормозят, где надо.

Билет стоит пятьдесят копеек... Миша покупает два билета, но они не садятся на первую же подъехавшую вагонетку. «Подожди, сейчас Иван подъедет», — говорит он.

Наконец, подъезжает Иван. Ростом он повыше Миши, а чуб такой же. Он быстро оглядывает брата и девочку и сажает их на первую скамейку. «Маруся, кататься будем, сколько захочется», — говорит Миша ей на ухо. Обычно после одного рейса пассажиры выходят, а Иван свой.

И вот стучит трос, они поднялись, первый спуск... За ним — второй, самый крутой и высокий. Маша решила не визжать, — нечего унижать свое достоинство, и вообще она не трусиха. По праву старшего Миша берет ее ладонь в свою и держит, не отпуская. «Ты не бойся», — говорит он ей вполголоса. «А я и не боюсь нисколько», — отвечает Маша, с опаской поглядывая на пролетающие мимо верхушки деревьев, Неву, Петропавловскую крепость в круглых шапках столетних ив. На одном из склонов «американских гор» лежит чья-то кепка: слетела с головы, а взять ее можно только после закрытия сада. Не останавливать же из-за кепки всё движение!

С удовольствием повторяют они свое путешествие второй, третий раз. Теперь им — всё нипочем. Деревья прыгают верх и вниз, Нева играет с ними в прятки, то покажется между серых склонов, то исчезнет. Колесики вагонетки со стуком катятся по узким рельсам. Миша расхрабрился и лихо привстает во время спуска, — этого не полагается делать, но Иван свой, не замечает. Маша тоже привстает — так дальше видно вокруг, так еще интересней. За плечами визг, пассажиры то и дело меняются, и только двое юных счастливицев попрежнему остаются на первой скамейке вагонетки — Иван свой, не гонит.

— Сколько раз мы проехали? Давай считать! — говорит Миша. Они считают, потом сбиваются со счета.

Маша искоса рассматривает своего... кого? Друга? Приятеля? Возлюбленного? Нет. Она рассматривает искоса знакомого по школе паренька Мишу Майданова. Неужели она когда-нибудь действительно подставляла лестницу к школьному забору, чтобы рассмотреть в бинокль окошко, где мог показаться этот паренек? Почему это было так? Неизвестно. Сейчас бы она не полезла.

На «американских горах» уже надоело, только сказать об этом первой неловко. Но Миша догадлив. И они сходят с вагонетки, совершив веселый рейс раз двадцать, не меньше!

Они идут, болтая, в гуще шумной толпы.

— Давай руку, а то потеряешься, — говорит осмелевший Миша.

Теперь они идут, взявшись за руки. В темном осеннем небе загорается фейерверк. Огненные цветы взлетают в небо и сыплются оттуда искристым дождем на широкую площадку, где укреплено огненное колесо и другие светящиеся чудеса. А на открытой сцене женщина в ярко-зеленом платье с длинными золотыми серьгами в ушах нежно поет:

*Мы на лодочке катались, золотистый-золотой!
Не гребли, а целовались, не качай, брат, головой!*

Отшумел сад Народного дома, и вот они стоят у Машинного подъезда. Миша смотрит на нее выжидательно — следовало бы поцеловать ее. Но по ее глазам не видно, что она этого хочет. Не она ли сама бегала за ним в школе, вздыхала и злилась, когда он шутил с другими? Подменили девушку, что ли?

Он что-то говорит ей, он где-то очень близко рядом, а она слушает, нарочно чуть отвернув лицо. Он нагибается еще ближе и проводит губами по ее прохладной обветренной щеке. Но Маша не оборачивается к нему, а по-прежнему загадочно смотрит куда-то в сторону. И ободренный тем, что она не рассердилась, и подстегнутый ее нарочитым невниманием, Миша быстро протягивает руки к ее лицу, поворачивает к себе и целует в губы, раз, и два...

— Не надо, — говорит Маша. Она чувствует себя как бы виноватой перед ним, но притворяться не может. — Не надо!

Почему?! Он не спрашивает, но весь вид его говорит об этом вопросе, о недоумении. Почему? Не ты ли сама ревновала его к другим девочкам, не ты ли повсюду искала его, не ты ли...

— До свиданья! Прощай! — говорит она и бежит домой.

Долго Маша не может уснуть, и грустные мысли не дают покоя. Это был первый поцелуй в ее жизни, опоздавший поцелуй. Но ведь раньше, в школе, она сама избегала этого? А может, она бессознательно испытывала Мишину настойчивость, его постоянство? И не тот он, не тот, хотя сердце и остановилось на нем на минуту. Она была для него тем же, чем была и та девочка из параллельного класса, чем будут другие. А для Маши весь мир, вся вселенная на мгновение сосредоточились в нем.

Грустно тебе, Маша? Ничего, грусть минует, отгремевшую весеннюю грозу заслонят грядущие бури и ураганы, и она отойдет в прошлое, оставив легкий и светлый след.

Глава двадцать первая

В Машинном классе учился сын инженера завода радиоаппаратуры Олег Чернецкий. Упитанный, кудрявый подросток, ходивший в хорошо сшитых костюмах, он держался без зазнайства и не бахвалился собственными велосипедом и фотоаппаратом.

Отец следил за воспитанием Олега по-своему. В семье праздновался день рождения сына. На это торжество отец велел приглашать школьных товарищей, но всегда спрашивал заранее: а кто папа у этого товарища? Если Олег не знал, кто папа, товарища не приглашали. Если знал, то приглашали в тех случаях, когда папа товарища был под стать папе Олега, то-есть, человек интеллигентный.

Маша не дружила с Олегом, она не находила в нем ничего любопытного. Но он был добродушен, участвовал в пионерской работе, не плохо учился. Когда в начале прошлого года он пригласил ее к себе на день рождения, она несколько удивилась, но пошла. Из всего класса он позвал только двоих — ее и Гордина.

Дома у Олега оказалось просторно и уютно. Среди его сверстников-гостей Маша увидела девочку, которая ей очень понравилась. Это была двоюродная сестра Олега, Люда.

Тоненькая, коротко подстриженная, она сначала показалась Маше малышкой лет двенадцати. Когда, начался домашний концерт и каждый из детей выступил с каким-нибудь номером, Люда выступила тоже. Она прочитала свое собственное стихотворение. Бросив строгие взгляды на обе двери, за одной из которых сидел за рюмочкой отец Олега с какими-то дядями, а за другой постукивала ножом о тарелку и покрикивала на прислугу Олега мать, Люда доверчиво взглянула на ожидающих ребят и начала:

*Пускай говорят, что мы молоды,
Пускай говорят, что мы не знаем жизнь,
Но мы тоже возьмем в руки молоты
И пойдем строить социализм...*

Маша слушала ее очень серьезно. Стихи ей понравились. Когда рассаживались за столом, Маша села рядом с Людой. В свою очередь Маша читала стихи Жарова. Люда слушала ее одобрительно. За столом она спросила Машу:

— А каких еще поэтов ты читала, кроме Жарова?

— Еще Безыменского и Есенина.

— А Маяковского?

— Не читала...

Люда посмотрела на нее и спросила, почему Маша не читала Маяковского: потому, что книжка не попала или из-за каких-нибудь предрассудков? Она добавила:

— А ты почитай Маяковского. Он лучше их всех. Смелее. Не признает никаких сантиментов. Я тоже не признаю все эти нежности, вымышленную романтику.

— В какой ты школе? — робко спросила Маша.

— Я не учусь. Я окончила семилетку и теперь работаю секретарем райисполкома. Мы живем в пригороде, — в городе у нас нет квартиры. И мама у меня больная. А отца нет.

Вот как, она работает! Уважение к Люде выросло. Окончательно она завоевала сердце, когда после ужина позвала ребят в коридор и возле стены сделала на руках стойку. Она гордилась своими гимнастическими достижениями и специально надела сегодня под юбку синие сатиновые шаровары в сборочку. Она сделала стойку легко, маленькие руки оказались очень сильными и ловкими. Стриженные волосы упали с затылка вниз, стройные детские ножки в спортивных туфельках аккуратно, как сошедшиеся вместе стрелки часов, смотрели носками в потолок.

Ребята глядели сосредоточенно, с восхищением. Люда простояла долго, потом, отдохнув, сделала стойку снова. Когда Олег попробовал сделать тоже, у него не вышло. Его плотные

ноги, точно налитые свинцом, сразу потянули вниз. Кто-то рассмеялся. Олег попытался еще раз, и снова сплеховал. Другие ребята тоже не могли похвастаться успехом. Сравняться с Людой никому не удалось.

— Ты ведешь дневник? — спросила Маша Люду.

— Веду. Только не очень подробный. Я, вообще, не мелочна, — ответила Люда как-то строго. — Я пишу туда свои мысли о работе, о жизни. Ведь от наших переживаний зависит очень многое. Мы же строим такое общество, где человек должен стать Человеком с большой буквы...

Маша всё это знала, Люда напрасно взялась ее поучать. Но она говорила искренно. А уходить она собралась раньше всех потому, что ей надо было ехать на поезде.

Когда она уехала, Маша пожалела, что не спросила у нее адреса: стали бы переписываться, девочка умная, независимая.

И вот Чернецкий снова пригласил Машу к себе. «В честь чего?» — спросила Маша. — «Семейный праздник... Ты приходи, Людмилу увидишь», — сказал он коротко.

Маша пришла. К ее удивлению, детей в гостях не оказалось, были только родственники. Люды не было видно.

— А где Люда? — спросила она Олега.

— У мамы в комнате. Ей платье подкалывают. Сшили, а она в нем обтянутая, худая. Она же невеста. Ты на свадьбу пришла, — сказал Олег.

Люда — замуж? Эта тоненькая девочка, делавшая недавно стойку в коридоре? Сколько же ей лет? Семнадцать, кажется? Так рано замуж...

— А кто ее... жених? — осторожно спросила Маша.

— А один дядька. Инженер, папин сослуживец. Идем, я покажу тебе свои летние снимки.

Он повел ее в детскую, где жил вдвоем с младшим братом. Дверь в комнату его матери была приотворена, и Маша увидела Люду. Она стояла перед зеркалом в длинном шелковом платье нежноабрикосового цвета, а мать Олега, опустившись на одно колено, прикалывала к бокам ее платья какие-то оборки и говорила, вздыхая:

— Господи, хотя бы имитацию бедер... Это неприлично, совсем детская фигура.

Люда молчала.

Когда всех пригласили за стол, Люда вошла в комнату последняя, раздраженно отталкивая руку жениха, пытавшегося поддержать ее локоть. «Какой старик», — подумала Маша, с отвращением взглянув на жениха. Это был мужчина лет тридцати пяти, черноволосый, с подстриженными усиками и в пенсне. Пробор на его прическе, был сделан над самым ухом, чтобы замаскировать маленькую лысину. Глядел он хмуро, и только Людины резкие движения переносил с каким-то странным удовольствием, словно говорил: «Сердись — не сердись, а досталась ты мне, и всё будет так, как мне хочется». Он был ужасен, этот сослуживец Олегова отца. Почему Люда выходила за такого замуж?

Маше очень хотелось отвести Люду в сторону и обо всем расспросить ее по-честному. Но Люда не смотрела на нее, словно, стеснялась чего-то.

Командовал за столом Олегов отец. Он называл себя тамадой, произносил тосты, подливал мужчинам вина. Взрослые быстро опьянели и не заметили, как стали громко кричать. На Олега, его брата и Машу никто не обращал внимания.

Маша не сводила глаз с Люды. Хоть бы раз улыбнулась эта невеста, хоть бы слабый налет радости, довольства появился на ее лице! Ничуть. Вина она почти не пила, только пригубливала рюмку. Когда кричали «горько!» и жених властно и бесцеремонно поворачивал ее к себе, она не противилась и приближалась к нему, совершенно каменная: целуй, если так надо. Зачем, зачем она согласилась на это?!

Олегов отец был доволен больше всех. Он шутил с Людиным женихом, намекал, на что-то, вспоминая о каком-то заказе, и говорил, глядя ему в глаза: «Услуга за услугу, а, неправда ли?». И тот лениво отвечал: «Мы в долгу не остаемся, мы люди порядочные».

«Они ее продали замуж, — подумала Маша. — Но как же она согласилась? Уговорили? Ради больной матери, ради квартиры в Ленинграде? Добровольная жертва, что ли?» Об этом было страшно думать. Неужели Люда так мало ценит любовь, настоящую, взаимную, искреннюю, от которой у людей вырастают крылья? Как же, отчего же Люда согласилась на это?

С каждой минутой Маше становилось противней и горше. Она старалась перехватить взгляд Люды, но та упорно не смотрела в ее сторону. Она совсем была замучена, тоненькая девочка с коротко «остриженными» волосами. Она устала делать каменное лицо и готова была расплакаться. Наверно, ей надоела эта комедия.

— Скажи, почему она выходит замуж? — спросила Маша Олега шёпотом.

Он пожал плечами и улыбнулся, поглядев куда-то вбок:

— А что... он хорошо зарабатывает. И жить будет по крайней мере в городе.

Конечно, догадки оправдались. Но как же пошла на это Люда, Люда, совсем недавно читавшая в этой самой комнате свои детские стихи: «Пуускай говорят, что мы молоды...». Нет, Олег просто не знал о том, что творится в Людиной душе. Это не может быть...

Маша перебирала в уме разные случаи: влюбилась! — Этого не было наверняка... Идет замуж из благоговения перед заслугами мужа, перед его подвигами, славой? — Нет, жених не обладал такими качествами... Идет замуж из выгоды, из корысти? — Нет, Люда так не могла поступить... Значит, жертвует своей молодостью ради больной матери? — Это возможно. Но как же это ужасно! Неужели была такая крайность?

Маша знала, что невесту надо поздравлять и высказывать ей разные добрые пожелания. Теперь уже это было нетрудно сделать, часть гостей ушла из-за стола. Но разве можно было поздравлять эту несчастную девушку? Ей можно было пожелать только одно: садись на свой пригородный поезд и уезжай, пока не поздно...

Олег жил на одной улице с Машей, и она не спешила домой. Она молча сидела в кресле, думала и ничего не могла придумать. Когда почти все гости разошлись, Маша поспешила в коридор и стала натягивать свое пальто. В коридоре стояли уже одетые к выходу Люда с женихом. Они вышли на улицу — там стоял извозчик. Жених уступил ей дорогу, чтобы она первая села в пролетку, и тогда Люда обернулась. Тоскливо и беспомощно оглядела парадную, из которой только что вышла, скользнула глазами по Маше, словно сказала: «Что в тебе толку? Ты не поможешь».

— Что же ты? Садись, Людочка, — нетерпеливо сказал жених.

— Успеете, — ответила она грубо, стоя уже на подножке и не отводя лица от парадной дядинога дома.

Извозчик восседал на козлах, повернувшись к ней спиной, затянутой в синее сукно сбористого кучерского армяка. Он даже не обернулся, услышав эти слова. Он не такое видел на своем веку, он помнил дореволюционный Петроград, возил не таких дамочек и девиц... А тут что ж, всё идет нормально.

Маша застыла с какой-то кривой улыбкой на лице. Наконец, Люда уселась, жених тоже, кучер натянул вожжи, и пролетка, не спеша, покатила, разбрызгивая колесами жидкую осеннюю грязь.

После, когда Маша рассказала дома об этой странной свадьбе, отец подтвердил ее мнение:

— Дурочка, вот и вышла без любви. А жених этот подловат. В замужестве любовь — это главное, основа всего. Любят родители друг друга — и детям хорошо, и в семье лад. А так... Да

и жених уже успел, наверно, порастрепать свою молодость. Через несколько лет они разойдутся, вот увидишь.

— Как же так получается? Общество у нас новое, а такие дела...

— Бедноваты мы еще, — сказал отец, — хотя и новое общество. Люди-то у нас не заново созданы, взяты из старого мира. Вот и гнут свое, юную душу совращают, на благородстве ее сыграли.

— Значит, пока у нас в этом вопросе всё по-старому?

— Но ты же возмущена этим фактом? И другие подруги, и многие люди возмутились бы, если б узнали всё. Значит, постепенно происходит поворот в мозгах. Прежде молодостью торговали и считали — всё нормально. Сейчас это случается редко, и люди возмущаются. А придет время, когда девушки научатся ценить свое право на любовь, на взаимную сердечную радость, и ни за что не пойдут на брачный союз без любви, ни за какие тряпки и квартиры.

— Скорее бы оно приходило, это время.

— Да, люди у нас не заново созданы, — повторил отец. — Когда-то повстречался я с одним бухгалтером. Обыкновенный бухгалтер небольшого учреждения. Оказался белогвардейцем. Мне потом его физиономия часто мерещилась, да я себе не верил. А нынче — читаю в газете о процессе вредителей, глядь — знакомая фамилия. Значит, поймался, голубчик. Шпион иностранной разведки, бывший русский подданный. Так это явный враг, политический. А сколько имеется людей, которые у нас добросовестно работают, благо жить надо, а советская власть платит за труд. Работают, а сами насквозь обыватели, буржуазные пережитки из них так и прут. Они и не маскируются... пока. Пройдет время, и пережитков этих люди стыдиться будут. Поймут, что стыдно это, унизительно, ради материальных благ обманывать, подличать, да и молодостью торговать тоже. Не пропала бы твоя Люда и за городом. И дядька поддержал бы.

— Он ее и высватал. Он подлец, ее дядька.

— Всё равно, не пропала бы.

Люда, Люда! Можно понять темную неразвитую девушку, которая представления не имеет о лучшем. А ты же казалась умницей. Как же ты так сплеховала?

* * *

Подошел праздник Октября. К этим дням Маша получила ответ на письмо, посланное в Гамбург. Фрида была необыкновенно рада весточке из Советской России. Машине письмо она прочитала на сборе своего пионерского отряда, его вставили в рамку под стекло, и пионеры рассматривали его и читали. Когда Маша узнала об этом, она густо покраснела: а вдруг наделала грамматических ошибок? Кто знает, всё могло случиться. На ее письмо смотрят чуть ли не как на святыню, ведь это письмо из Страны Советов! Как страшно писать такие письма, как ответственно.

Фрида рассказывала об участии пионеров в демонстрации, о вечере, посвященном слету. На этом вечере две девочки танцевали русский танец, им хлопали больше всех. Фрида привезла с собой сборник советских песен, переведенных на немецкий, и пионеры ее отряда разучивали «Дубинушку», «Вейтесь кострами, синие ночи» и другие песни.

В конце письма Фрида рассказывала, что в семье у них беда: отца перевели на неполную рабочую неделю, и теперь его заработок уменьшился на треть. Отец да и брат Фриды охотно пошли бы на любую поденную работу, чтобы принести в дом еще несколько марок, но найти такую работу не удавалось.

«У нас на всех заборах объявления — нужна рабочая сила, — размышляла Маша. — А у

них... капитализм, ничего не поделаешь. Надо им активней бороться. Но как?» Забастовки, демонстрации, от этого они не увиваются, отец и брат Фриды. Но что это давало им? Что даст?»

Маша принесла письмо на сбор школьного пионерского отряда и прочитала его в оригинале и в переводе. В оригинале она прочитала нарочно: пусть прислушаются, пусть некоторые пожалеют, что нехотя, лениво изучают чужой язык. Они же советские люди, мало ли где может пригодиться им иностранный язык! Мало ли кто обратится к ним когда-нибудь за помощью!

В день Седьмого ноября они вышли на демонстрацию со своим комсомольским комитетом. Стоял необычно теплый солнечный день, шли в легких пальто, а некоторые ребята — в свитерах. На каждом перекрестке останавливались, пели песни, танцевали прямо на мостовой. Лучшее всех в их школе танцевала Лена Березкина: стройная, тонконогая, с черными-черными большими глазами, она летала по мостовой, как по паркету и, наплясавшись вдоволь одна, подтанцовывала к кому-нибудь из ребят, о ком знала: умеет, танцует. Она заманивала, махала рукой с платочком, мелко отбивая ногой ритм, отступая назад шагком за шагом, улыбаясь во всё лицо. Нельзя было не любоваться этой девушкой-подростком, такой радостной и подвижной.

И снова быстро строились на ходу и бежали догонять ушедших вперед, пока не прошли Дворцовый мост. Здесь движение сделалось размеренным, ровным: приближалась Дворцовая площадь.

Идут, идут, весь город плывет и движется живыми параллельными потоками, весь город, разукрашенный, как именинник — в цветах, флагах, с дорогими сердцу портретами самых лучших людей, с макетами домен, гидростанций, заводов. Чемберлен, сделанный из раскрашенного картона, с моноклем в глазу, качается над толпой, словно идет на ходулях. Какие-то буржуи вместе с папой римским сгрудились на грузовике. На борту грузовика надпись: «На свалку истории». Конечно, пора им на свалку, но пока папа римский призывает к крестовому походу против нашей страны. Под хоругвями католической церкви...

Всё поет, всё поют. Откуда-то несется тоненький, задиристый девичий голос: «Трубочиста любила, сама чисто ходила во зеленый сад гулять!». А вокруг подхватывают: «Чушки-выюшки-перевьюшки, Чан Кай-ши сидит на пушке, а мы ему по макушке бац! бац! бац!». И кто только выдумал эти песни раешники! А все их любят, все поют. Или перевернут всё вверх дном и придумывают к песне о Стеньке Разине такой припев, что слушать нельзя без смеха: «А быть может, не челны? В самом деле не челны? Да!».

Но вот приближается трибуна. Песня умолкает: все поворачивают головы к трибуне, чтобы увидеть Сергея Мироныча и гостей.

Киров стоит посреди трибуны, окруженный лучшими людьми города, ударниками заводов, передовыми бригадами, секретарями партийных комитетов. Он стоит, большеголовый, улыбаясь своей неповторимой кировской улыбкой, и поднятой вверх правой рукой приветствует сограждан. Их много прошло уже сегодня перед этой трибуной, он следил за знамёнами и надписями: «Красный путиловец», «Красный треугольник», заводы имени Карла Маркса, имени Энгельса, имени Ленина. Все лучшие имена даны заводам и фабрикам, чтобы в честь этих людей не угасал огонь в топках, не останавливались машины.

Счастливыми глазами смотрит Киров на живое колышющееся море. Всё это товарищи, помощники, люди, на которых партия может смело положиться. Сколько из них вырастет за годы пятилетки, сколько из этих вот парней и девчат выйдет мастеров, директоров предприятий! И — ученых, изобретателей, артистов, художников! Смотрит Киров на свое молодое войско, и отцовская гордость осеняет его лицо.

И они отвечают любящими взглядами, эти мужчины и женщины, юноши и девушки, старые и молодые. Наш Киров! Многие видали его в цехах своего завода, на улицах города, в институтах, школах.

А рядом, по левую руку, — гость из чужой страны. Он стоит в светлосерой форме Красного фронтовика и приветствует товарищей-ленинградцев сжатым поднятым кулаком. Голова его — в белой марлевой повязке: совсем недавно немецкие фашисты чуть не убили его во время выступления на каком-то митинге. Об этом писалось в газетах, он пролежал несколько недель в московской больнице, а сейчас почти здоров, только шрамы еще не зажили, оттого и повязка. Глаза немецкого коммуниста сияют, он впервые видит столько советских людей сразу, он не ждал такого счастливого праздника, такого шквала приветствий.

Над белой марлей выбилась черная прядь волос, она падает на лоб и немного мешает смотреть. Гость поправляет волосы и что-то говорит Сергею Миронычу. Киров смеется и легко, дружески проводит ладонью по его плечу, как бы успокаивая его. И снова подымает руку, приветствуя ленинградцев.

Маша заметила всё это. Она чуть шею не вывихнула, всё смотрела и смотрела на Кирова и на гостя, колонна двигалась, а она всё смотрела, пока трибуна не осталась совсем за спиной. Кто-то из ребят в их колонне сказал, что это немецкий коммунист Курт Райнер. Завтра он будет выступать в школе его имени в нашем же районе. В школе? Интересно послушать. Надо туда попасть.

Глава двадцать вторая

Возвращаясь домой, она обдумывает, как увидеть Райнера. Надо попросить его выступить и у них, в их школе. Что ему, не всё ли равно? А как это подымет ребят! Сразу вся интернационально-воспитательная работа станет на новые рельсы. Кто пойдет? Хорошо бы Колю Сорокина и Веру Ильину.

Маша тут же делится своим планом с товарищами. Вера не приходит в восторг, она не представляет себе, о чем он там будет говорить, да еще через переводчика. Если Маша хочет, пусть идет, а у нее, Веры, завтра в те же часы праздничный обед и надо обязательно быть дома.

А Коля Сорокин всё понял и тоже загорелся. Правда, он сказал Маше: «Тебе хорошо, ты язык знаешь, а я буду сидеть и ушами хлопать». Но Маша утешила: во-первых, будет переводчик. Во-вторых, она будет сидеть рядом и еще до переводчика кое-что перескажет ему. А в-третьих... в-третьих, она сама не так уж хорошо знает язык и, возможно, сама не всё поймет без переводчика.

Второй день Октябрьского праздника. На улицахлюдно, все выходные. По проспекту имени Карла Либкнехта гуляют целыми семьями папы и мамы с детьми и даже бабушками. Стайки девушек смеются какой-то чепухе, толпятся у кинотеатров, покупают билеты в театр или Дом культуры. Как ни старались утром и вечером дворники, но на улице снова окурки, конфетные бумажки, яблочные огрызки. На всех перекрестках говорит и поет радио, надо всеми улицами машут красными крыльями праздничные флаги. Некоторые балконы домов, выходящих на большие улицы, загорожены огромными портретами вождей и плакатами, нарисованными на полотне.

Все одеты нарядно, женщины надушены, — они сделали всё, что в их силах, чтобы похорошеть. Правда, в эпоху первой пятилетки, в этом году достаточно девушке надеть защитного цвета юнгштурмовку, а парню — чистую рубашку и целый, не штопанный и не латанный пиджачок, чтобы люди сказали: одет нарядно. Сейчас еще не во что рядиться, сейчас ещё перешивают бабушкины платья, а новых, советских хороших материй еще так мало! Сейчас еще не на многих можно увидеть шелковые чулки, они пока роскошь. Но всё это нисколько не мешает молодежи веселиться и радоваться празднику.

Спортивный зал школы имени Райнера заставлен длинными скамейками без спинок.

Впереди стол для президиума и трибуна. За столом президиума еще пусто, но зал уже переполнен. О том, что Райнер будет выступать, узнали только вчера утром, представитель райкома партии на демонстрации подошел к директору школы и сообщил эту новость. Никто не передавал никаких телефонограмм, объявления не вывесили, потому что не хотели зазывать весь город, а парадная школы выходит на людный проспект. И всё же ученики узнали, все сообщили друг другу, и вот в зале нет уже мест, хотя до начала встречи осталось минут десять. Те, кому не удалось занять места на скамейках, сидят на подоконниках, стоят, прислонясь к шведским стенкам, устроились прямо на полу перед президиумом... Ну и что же! По крайней мере, всё хорошо будет слышно.

Коля и Маша входят в зал нерешительно: всё-таки не своя школа. Оба они в юнгштурмовках защитного цвета, подпоясанные новенькими ремнями. На узеньком ремешке, пересекающем грудь наискосок, привинчен кимовский значок: Коммунистический Интернационал Молодежи.

За окном на улице гудит легковая машина, — ну и что ж, мимо всё время проезжают машины. Но это не такая. Она остановилась у парадной. Это он приехал, наверное. Конечно, он!

По узкому проходу между скамеек к столу президиума идут сначала директор школы, высокий, бритый, в очках, гроза всех озорников; за ним Райнер в светлосерой форме Красного фронтовика в белой марлевой повязке. Он улыбается во всё лицо, обнажая белые крупные зубы, правую руку он поднял вверх со сжатым кулаком, как и там, на трибуне. Когда он проходит мимо, Маша видит, что волосы его черные-черные, а сзади, где перекрещиваются марлевые бинты, — подбриты выше обычного, и только над самым лбом оставлен густой непокорный чуб. У него небольшой прямой нос с чуть раздвоенным хрящиком, широкий рот с улыбочатыми ямочками в уголках. А глаза светлокариые, веселые, мальчишечьи, глаза смеются и вызывают ответную улыбку, глаза смотрят в упор на того, к кому обращены, ждут прямого ответа.

Он идет через зал, за ним вожатая, учительница обществоведения, какой-то белокурый паренек. А зал бьет в ладоши, все встают, чтобы получше разглядеть его. Живой зарубежный коммунист, известный участник гражданской войны в Германии. Его недавно пытались убить гитлеровцы, но им не удалось, и вот он здесь, у нас.

Гостя приветствуют маленький пионер и директор школы. Белокурый парень тихо переводит Райнеру на немецкий язык всё, что слышит. Ага, это переводчик, но какой молодой! Позже выясняется, что это ученик девятого класса. Райнер им очень доволен, потому что язык парень знает отлично и переводит быстро.

Слово дают гостю.

Он приветствует учеников, учителей и служащих школы, приветствует город, в котором находится, приветствует страну, которая приютила его в трудную минуту его жизни. Потом он начинает рассказывать о том, как борются немецкие товарищи — коммунисты, комсомольцы и пионеры против гнета, бесправия, безработицы, против фашистских молодчиков, которые с каждым днем наглеют всё больше, которые хорошо вооружены и одеты в новенькую форму за счет богатых покровителей, чью волю они выполняют. Он рассказывает о разных случаях, эпизодах борьбы, о том, как сам он был ранен.

Кое-что Маша понимает и без перевода, она шёпотом пересказывает это Коле, изнывающему от нетерпеливого желания понять, что рассказывает Райнер. Перед глазами ребят встают картины, наполняющие сердце волнением и трепетом, романтика революционных будней Запада, полных риска, опасности, иногда — смертельной. Там людям приходится отстаивать права, которые здесь народ уже отстоял в девятьсот семнадцатом, там приходится доказывать истины, давно доказанные здесь. Честному, непримиримому человеку жить там опасно и рискованно, но именно эта опасность, этот риск внушают ребятам любовь и симпатию к зарубежным друзьям.

Покушению на Райнера предшествовал ряд событий. Шла предвыборная кампания, коммунисты агитировали за свой третий список кандидатов в депутаты рейхстага. На митингах часто выступал и Райнер. За восемь лет вынужденного молчания, за время тюремного заключения он не только не растерял своей революционной страсти, он накопил такие ее запасы, что чувствовал неугасающую потребность — говорить, выступать перед товарищами, агитировать, уничтожая врага сарказмом и насмешкой. Он стал популярным пропагандистом, открыв в себе дремавшие восемь лет способности оратора. Естественно, что в период предвыборной кампании Райнер выступал много, часто, всюду, где партия этого требовала.

Его особенно не взлюбили гитлеровцы, которых он беспощадно разоблачал. Накануне одного из своих выступлений Райнер получил почтовую открытку. В ней было написано:

«Эй ты, московский шпион! Советуем тебе взять веревку покрепче и повеситься самому, пока мы не добрались до тебя. Если же ты не сделаешь этого и осмелишься выступить еще раз, мы уничтожим тебя. Ну, что ты скажешь на это? — Настоящие немцы.»

Предстояло выступить в небольшом городке, в помещении рабочей пивной, которую можно было снять за недорогую плату для проведения предвыборного собрания. Другими «залами» коммунисты в этом городке не располагали. Для охраны Райнера секретарь местного комитета коммунистической партии вызвал из соседнего района отряд бывших Красных фронтовиков. Это были рабочие, сбросившие запрещенную законом форму, но сохранившие сплоченность и необходимую в таких случаях организованность.

Отряд должен был прибыть за полчаса до начала собрания, к шести вечера. Чтобы не терять времени даром, заранее наняли грузовик.

Райнер приехал на собрание за десять минут до начала, но Красных фронтовиков не встретил. А рабочие организации в этом районе были слишком слабы, чтобы организовать защиту от фашистов.

Райнер ждал полчаса. Что случилось, отчего они опаздывают? Зал наполнился рабочими. Именно, здесь, среди людей, слишком редко слышавших горячее революционное слово, слишком часто видевших марширующих под их окнами молодчиков в коричневых рубашках, именно здесь-то и надо было сказать всё, что следует, разоблачить опасного, хитрого врага, спекулировавшего на национальном, патриотическом чувстве. Может, начать до приезда Красных фронтовиков?

Коричневые рубашки мелькали и в зале. Пока они выжидали, не затеяв провокаций. Ведь он еще не выступил, еще ничего не сказал!

В первых рядах сели рабочие-коммунисты. На всякий случай, они окружили Курта — осторожность не помешает. А время шло. И Райнер решил выступить.

Трибуны не было, владелец заведения позволил составить четыре столика, сняв предварительно скатерти, и Райнер говорил с этих импровизированных подмостков. Он начал со случая, происшедшего на местном заводе. Один рабочий отравился во время работы окисью свинца и заболел. Его уволили, как негодного. Семья голодала два месяца, продала, что могла, и встала перед неразрешимым вопросом. Есть было нечего, заработать негде. Тогда больной глава семьи, ничего никому не сказав, ночью открыл в кухне газ и к утру всех их нашли в постелях мертвыми. В этом коллективном самоубийстве не было ничего необычного, но здесь хорошо знали эту семью, — рабочего, его жену и четверых детей.

Гитлеровцы зашевелились с первых же слов Райнера. Они стали пробираться поближе к выступающему. В зале по обычаю присутствовала полиция — двое молодых полицейских стояли в дверях. Полиция ожидала, когда оратор скажет что-нибудь против власти, заденет какое-нибудь официальное имя или призовет к революции. Но оратор хорошо понимал, чего ждут эти двое полицейских, и ничем их не радовал. Он говорил о самой сути дела, он хорошо объяснял,

чего хочет коммунистическая партия, но он не терял необходимой осторожности.

Коричневые рубашки знали, почему нет Красных фронтовиков. Коммунисты не получили грузовика, с владельцем которого договорились заранее. Кроме того, неподалеку от здания, где выступал сейчас Райнер, их ожидала засада — группа фашистов должна была завязать с ними драку.

— Не верьте молодцам в коричневых рубашках, — говорил между тем Райнер. — Они рвутся начать войну против Советов, им мало той немецкой крови, которую мы пролили в войне четырнадцатого года! Я сам участник той войны, я дошел до России, я видел весь ужас бессмысленной смерти тысяч наших немецких парней. Я видел людей с развороченными миной животами, людей с вырванными глазами, людей, которые, как и я сам, пошли туда только потому, что не понимали ничего, не видели настоящего врага. Этот враг — здесь, это наш классовый враг и нанятые им коричневые рубашки!

— Бей русского шпиона! — крикнул гитлеровец, подобравшийся к Райнеру. — Бей, его Москва послала!

И он швырнул в голову Райнера маленькой гирей, которую схватил с прилавка буфета.

Началась свалка. Коричневые бросились к оратору, коммунисты сдерживали их, стараясь не подпустить. Райнер продолжал говорить, как будто ничего ему не угрожало. Но фашисты приближались. Кто-то подкрался сзади и вспрыгнул Райнеру на плечи. Он упал. Завязалась жестокая драка.

Райнер отбивался. Он был невелик ростом, но все восемь лет тюрьмы он ежедневно занимался гимнастикой, на прогулках в тюремном дворе тренировался в беге. Он был силен физически, но врагов было больше, чем защитников.

— Они били меня ногами, стульями, пивными кружками из толстого стекла, — рассказывал Райнер. — Били по спине и по голове, пока не пробили голову. Я потерял сознание, но помощь всё-таки прибыла. Один мальчик лет двенадцати выскочил через окно и кричит: «Райнера убивают! На помощь!». Меня отбили. Повезли меня к ближайшему доктору, а он отказывается осмотреть мои раны. Не только мне нацисты угрожали в письмах. Они и врачей запугивали заранее, чтоб никто не помог. Везут меня дальше, к другому врачу, и тот отказывается. Наконец, нашелся порядочный человек. А вылечили меня окончательно в Москве. Тот мальчик был пионер, если б не он, меня может быть не было бы сейчас в живых.

Райнер кончил свою речь призывом — крепить дружбу пионеров и комсомольцев всех стран. Потом сказал, запинаясь, по-русски: «Да здравствует Советский Союз — отечество трудящихся всего мира! К борьбе за рабочее дело будьте готовы!». И ребята дружно откликнулись, отдавая рукой салют: «Всегда готовы!».

Потом вожатая, севшая за пианино, заиграла «Интернационал», и все встали и стоя пели. Райнер тоже пел, и лицо его стало серьезным, улыбка исчезла. Он пел знакомые слова, будто вспоминал свою жизнь и друзей, оставшихся далеко отсюда, в его родной стране, где выступать против гитлеровцев — значит, рисковать жизнью. Он пел «Интернационал» вместе с ленинградскими пионерами, а лицо его было озабоченным, беспокойным.

Когда встреча окончилась, Райнер зашел в кабинет директора отдохнуть, пока вызовут машину.

— Идем! — сказала Маша Коле Сорокину.

В директорский кабинет не пускали. Учителя опасались, что ребята в пылу восторга вздумают ворваться к Райнеру за автографами. Он говорил очень долго, а раны его еще не зажили, и врачи не разрешали ему много выступать и волноваться.

Маша и Коля, оба очень серьезные, в своих новеньких комсомольских костюмах с ремнями и портупеями были почти одинаковы, только узенький ремешок на Машиной груди был чуть

приподняты. Они внушили доверие. Их пропустили.

— Мы пришли сказать вам спасибо за ваше замечательное выступление, — начала Маша по-немецки, сбиваясь и краснея. — Мы оба из другой школы, он вожатый, — она показала на Колю. — Теперь мы просим вас приехать к нам и тоже... выступить у нас. Мы хотим наладить как следует интернационально-воспитательную работу...

Райнер разглядывал ее веселыми, чуть удивленными глазами.

— Это всё очень здорово, что вы рассказывали, — продолжала она. — Мы уважаем таких храбрых товарищей, которые не боятся полицейских и рискуют жизнью за революцию. У нас всё совсем другое. Мы просто учимся, работаем на заводах. Но вы не думайте, если пришлось бы, то и он, — она показала на Колю, — и я — мы тоже не пожалели бы жизни за революцию.

— Ты пошла бы со мной на такое собрание, о каком я рассказывал? — спросил Райнер, улыбаясь.

— Пошла бы, — ответила она спокойно.

Улыбка исчезла с его лица, как тогда, при пении «Интернационала». Он молча, внимательно посмотрел на девушку.

— Вы придете в нашу школу? — повторила свой вопрос Маша.

— Не знаю, — сказал Райнер. — Сейчас я поеду обедать, потом буду на заводе, а вечером товарищи скажут мне, что намечено на завтра. Сколько тебе лет? Кто твои отец и мать?

Маша ответила.

— Ты комсомолка?

— Кандидат комсомола.

— Запиши мне, пожалуйста, твой адрес. Сегодня вечером я сообщу, смогу ли выступить у вас.

Она записала в его широком блокноте.

Директор школы посмотрел на Машу суровыми глазами, и она поняла, что слишком заболталась.

Они попрощались и вышли.

— Согласится он выступить у нас, как ты думаешь? — спросила Маша.

— Вряд ли. Наверное, занят очень.

— А может и выступит!

Она вернулась домой, напевая какую-то песенку. А вечером принесли письмо.

Письмо было не заклеенное, без марки, конверт необычный. От кого это?

На немецком языке... Это писал Райнер. Он сообщал, что, к сожалению, не сможет выступить у них в школе, по таким-то и таким-то причинам. Он сообщал свой московский адрес и просил товарища Лозу писать ему об успехах интернационально-воспитательной работы в школе.

«СССР — это ударная бригада международного пролетариата» — сказал секретарь комсомольского комитета Сергей Малышев, делавший доклад на их комсомольском вечере. Он повторил слова вождя. Советские школьники — тоже часть этой ударной бригады, а она, Лоза, — советская школьница. Что напишет она Райнеру в своем письме? В чем отчитается?

Как и прежде, шли в классе уроки, проходили собрания, сборы. Как и прежде, Маша морщилась на уроках химии и математики, потому что пропущенные разделы мешали усваивать новое. Но с новым, неизвестным прежде усердием она терпеливо перечитывала учебники прошлого года, чтобы не оскандалиться, чтобы не задерживаться в дальнейшем там, где другие бегут бегом, чтобы выправить свои прошлогодние грехи. Сейчас она уже не допускала возможности получить неуд, да и удовлетворительная отметка уже не радовала.

Снова пришло письмо из Гамбурга. Фрида писала о походе комсомольской молодежи к

бургомистру по поводу безработицы. На улице, где она живет, недавно упал и умер от голода восемнадцатилетний безработный Эмиль Гюннель. Он родился в рабочей семье в голодные годы и в восемнадцать лет выглядел, как подросток. Долгое время он не мог устроиться на работу, наконец его взял подсобным рабочим мороженщик. Эмиль целые дни голодал, чтобы принести старухе матери хоть несколько марок. Изредка парень съедал украдкой порцию мороженого. Наконец, и эту работу он потерял. Прийдя к бургомистру, с огромным трудом добившись у него приема, Эмиль в ответ на свою просьбу услышал рассуждения о параграфах, которые мешают ему получить пособие. Спустя три дня, он упал на улице, чтоб никогда не встать.

«Бургомистр не принял безработную молодежь, — писала Фрида. — Он вызвал полицейскую охрану, он боялся, что мы разнесем дом. Кто же может питаться воздухом! Ни город, ни государство не способны дать нам работу и хлеб, и молодежь посылает к чёрту таких правителей. Мы голодаем, Маша, это точное слово. Я сейчас пишу тебе, на улице дождь, а за окном двое несчастных — мужчина и женщина — поют какую-то песенку, подняв лица к верхним этажам. Мужчина играет на маленькой гармонике. Потом он обходит с шапкой пустой двор, ожидая, что кто-нибудь кинет монету, но никто не кидает, ты понимаешь! Я с удовольствием бросила бы ему пфенниг, но у нас ничего нет, и скоро я сама пойду с протянутой рукой. Маша, моя русская подруга! Пиши, твои письма дают мне силу бороться, мне и моим товарищам. Пиши и не обижайся, если я не сразу отвечу: это значит, у меня нет денег на почтовую марку, но я их достану, мы сложимся и ответим тебе непременно. Дорогая подруга! Я никогда не забуду тот зал и ту встречу, и как мы с тобой сидели рядом, плечо к плечу... Пиши и передай всем твоим пионерам наш пламенный привет и боевой «рот фронт»! Мы боремся».

Подруга! Это теплое худенькое плечо в белой кофточке, озаренное узеньким крылом пионерского галстука... Стриженная девочка из чужой страны, но совсем не чужая, а очень близкая. Ей есть нечего. У нее нет денег на почтовую марку. В последнем ей можно помочь: послать старых и новых советских марок и пусть она продаст их филателистам или обменяет на обычные почтовые марки. Если было бы можно, Маша послала бы Фриде в письме свежую булку ситного... Маша питалась скромно, по карточкам, но всегда была сыта. Да, советские люди сейчас сознательно отказываются от многого, потому что все силы страны направлены на создание тяжелой промышленности, это знает каждый пионер. Нам надо стать независимыми от иностранного ввоза!

Маша прочитала письмо на сборе. Ответили коллективно. В ответном письме рассказали о своем детском театре, о ТЮЗе. Пускай дети трудовой Германии помогают отцам рассказывать правду о Стране Советов. Ведь там на нас столько клеветают, там пишут о нас такие небылицы, что каждое слово правды — уже дело, уже работа в защиту отечества рабочих всего мира. Райнер рассказывал, что какой-то продажный немецкий инженер, побывав в СССР и поработав на одном из наших заводов, выпустил потом целую брошюру — ядовитое клеветническое сочинение. Он назвал нашу страну страной нищих и свидетельствовал, что сам видел зверства Чека: возле Петропавловской крепости в Ленинграде на кострах стоят котлы и в них заживо варятся священники... Маша и Коля рассмеялись и сказали: «Это не опасно, кто же этому поверит?». А Райнер даже рассердился, и стал доказывать, что немецкие обыватели верят этой глупой, брехне и еще долго надо работать, чтобы прочистить людям мозги...

Вот почему пионерские письма не были пустой детской забавой.

— Выставь письмо Фриды и ответ на него на доске ячейки МОПРа, вся школа прочитает! — посоветовал Коля.

Вся школа! А если передать полученное письмо в пионерскую газету — весь Ленинград узнает, все дети Ленинграда. А это нужно. Потому что не все ребята ценят то, что имеют, не все знают, что творится в далеких капиталистических странах. Пусть знают. И она отнесла письмо в

«Ленинские искры».

— Ты знаешь язык? Так переведи, — сказали в редакции. Она перевела. Письмо напечатали.

Спустя две недели, Фрида ответила. Новое письмо оказалось еще интересней, в нем девушка рассказала о том, как комсомольцы помешали демонстрации гитлеровцев. Коричневые были все в новенькой форме, они хотели показать, что хорошо вооружены и легко задушат всякое революционное выступление рабочих. Но когда они дошли до района, где живут рабочие семьи, на каждом доме их встретили плакаты: «Долой фашизм!», «Долой коричневых разбойников!», «За свободную социалистическую Германию!».

Из верхних этажей рабочих квартир в гитлеровцев полетели комья грязи, горячие угли, выхваченные щипцами из печек. И коричневые повернули обратно, не выдержали — дальше углубляться в рабочий район было опасно.

Маша читала письмо, а где-то далеко-далеко, на самом дне памяти мелькали детские воспоминания: солдаты кайзера на железнодорожном мосту, виселицы. «Плохих народов нет, есть плохие люди», — сказал тогда отец.

Теперь она знала и хороших немцев, и плохих. В одном и том же народе — две силы, враждебные друг другу, — гитлеровцы и коммунисты.

«Ты пишешь, что в вашей школе успеваемость повысилась на десять процентов, — заканчивала Фрида. — Я отвечаю: школу мне пришлось бросить, потому что нечего есть и нет денег на учебники и тетради. Но в ответ на ваши десять процентов мы, молодые комсомольцы, участвовали в подготовке разгрома этой гитлеровской демонстрации. Итак, мы вступили с вами в социалистическое соревнование, только пункты у нас разные, потому что разная обстановка. Революционный привет всем комсомольцам, всем ударникам Советского Союза! „Рот фронт!“».

Разбирая этот почерк, ставший знакомым и милым, Маша испытывала такую радость, словно получила письмо от родной сестры. Всё ты понимаешь, Фрида, не напрасно посылали тебя на слет, а потом — в Советскую страну. Ты же еще шестнадцатилетняя девчонка, а уже стараешься тоже внести свою долю в великое дело революционной борьбы. Сколько надо таких доль, сколько терпения и выдержки надо проявить миллионам трудящихся людей мира, чтобы свалить эту явную несправедливость, чтобы отвоевать свободу и хлеб! Но комсомольцев не испугать, они учатся смелости у своих старших братьев — коммунистов.

— Не пора ли тебе подавать заявление о переводе в члены комсомола? — спросил Машу Коля Сорокин после урока обществоведения.

Она подала. Ячейка, комитет... Вот и райком комсомола, здесь решится ее судьба.

Она пришла на этот раз без Коли, он уже был комсомольцем. К ее удивлению, вопросов ей задали очень немного. Ее уже знали по пионерской газете, по работе в школьных организациях. И после того, как все проголосовали за принятие школьницы Марии Лозы в члены Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, Сергей Малышев подошел к ней в перерыве, пожал руку и сказал:

— У тебя за эти полгода даже и выражение лица изменилось. Ну, получай свой комсомольский билет. Поздравляю!

И снова она почувствовала тепло его грубой, жесткой мужской руки.

Она держала в руках маленький билет в картонной обложке с фотокарточкой внутри, с подписью секретаря райкома... Этот билет ввел ее в огромную семью, большую, чем ее седьмой класс, большую, чем школьная семья учеников-товарищей. Он ввел ее в семью комсомольцев и ей показалось, что на мгновение сила миллионов ее товарищей по комсомолу вошла в ее сердце и стала ее собственной силой. Надо было что-то сказать в ответ Сергею, она заранее обдумала всё, что скажет. Но торжественные слова вылетели из головы, горло перехватило от волнения, и

Маша сказала чуть слышно:

— Доверие оправдаю.

Она вышла из здания райкома, крепко сжимая в руке свой комсомольский билет, так и не могла положить его в портфельчик. «Коммунистом никто не рождается, коммунистом можно стать», — сказал ей когда-то дядя Паля. Путь в жизни выбран — теперь она состоит в Ленинском Коммунистическом Союзе Молодежи. В Ленинском Коммунистическом, — а что же в наш век выше и прекраснее этих двух слов — Ленин, коммунизм!

Улица Красных Зорь, прямая, обрамленная серым гранитом зданий и деревьями в снежных уборах, летела вперед и звала куда-то вдаль, к морю. Лучи невысокого зимнего солнца зажигали молодой недавно выпавший снег, озаряли лицо девушки с комсомольским билетом в руках. Встречный седоусый пешеход, несший за деревянную ручку ящик со столярным инструментом, взглянул на счастливую девушку, остановился и проводил ее долгой доброй улыбкой.

notes

Примечания

Несмотря ни на что.